Новый Журнал

201

THE NEW REVIEW

1995

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашов
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский
1978-1981 редактор Роман Гуль
1981-1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Е. Магеровский
1984-1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986-1990 Редакционная коллегия
1990-1994 редактор Юрий Кашкаров

(пятьдесят четвертый год издания)

(декабрь 1995)

Кн. 201 **НЬЮ-ЙОРК** 1996

Редактор Вадим Крейд

Редакционная коллегия:
Сергей Голлербах
Марина Ледковская
Марк Раев
Всеволод Сечкарев
Зоя Юрьева

Секретарь редакции
Екатерина А. Брейтбарт

Обложка художника Мстислава Добужинского

THE NEW REVIEW
DECEMBER 1995
© 1996 by THE NEW REVIEW

Присланные рукописи не возвращаются

Просим издательства, редакции газет и журналов СНГ всякий раз ставить нас в известность о намерении перепечатать произведения, когда-либо помещенные на страницах "Нового Журнала"
Редакционная коллегия

THE NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly by The New Review Inc., 611 Broadway, #842, New York, N. Y. 10012. Second Class postage paid at New York, N. Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: Send address changes to The New Review, 611 Broadway, #842, New York, N. Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

В. Кирпиченко — Беглецы 5
В. Лазарев — Матушка Лидия 38
С. Стратановский — Стихи 58
Г. Демидов — Художник Бацила и его шедевр 63
И. Легкая, Г. Марк, О. Кольцова, Л. Зиновьева — Стихи 89
В. Яновский — Ересь нашего времени (продолжение) 96
И. Близнецова, Я. Пробштейн, М. Гордон, А. Беляков — Стихи 143

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

А. Шварц — Заметки о Булгакове 149
А. Даманская — На экране моей памяти 177

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

М. Поповский — Привычка свыше нам дана 208
С. Тиктин — Может ли повториться Чернобыль? 217
Ю. Дружников — Няня Пушкина в венчике из роз 226
Е. Чернолуцкая — "Феникс" восстает из забвения 257

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Д. Бобышев — Райский гражданин Юрий Иваск 275
А. Хисамутдинов — Писатель в изгнании 280
Е. Филипс-Юзвигг — Л. К. Долгополов 284
А. Лурье — Артисты и грех 287

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Либерман — Юрий Дружников. Русские мифы; *В. Крейд* — Э. Боброва. Ирина Одоевцева. Поэт, прозаик, мемуарист; *О. Максимова* — Труд настоящего американца; *Д. Бобышев* — Пригвожденный к стиху; *И. Мартынов* — И. Панкеев. Николай Гумилев; О. Охапкин. Возвращение Одиссея; *М. Раев* — C. Worobec. Peasant Russia; R. Robson. Old Believers; D. Lieven. Nicholas II; *Б. Хазанов* — W. Kasack. Die Russische Schriftsteller — Emigration im XX Jahrhundert; *В. Казак* — "Встречи" 295

Виталий Кирпиченко

БЕГЛЕЦЫ

И крепок их могильный сон;
Не слышен им вечерний звон.

Пурга лютовала вторые сутки. К утру, уставши, затихала, а ночью такое творилось, что словами и выразить невозможно. Жуткий, все нарастающий вой надрывал душу, леденил кровь.

"И вьюшку законопатил, — шевелил старик губами, слушая свист ветра в трубе, — а все ж гудит проклятущая".

Единственное оконце зимовья заморожено, синюшный свет сумерек едва пробивается сквозь толстый слой льда, но и этого достаточно, чтобы разглядеть грубо сколоченные нары с нависшим над ними куржаком инея, глинобитную печку с корявыми боками, по которым давно уже соскучилась кисть белильщика; слева от двери кривобоко примостился сбитый из тесаных досок стол.

У печки, свернувшись калачиком, дремлет лайка, она изредка вздрагивает, и ее острые ушки настороженно дергаются.

— Не стриги, не стриги ушами-то, — ласково говорит старик. — В такую пургу никто носа не высунет. Иль мыши донимают, шебуршат, поди, под носом, спать не дают?

Старик не спеша подгорнул поленом угли, подбросил на жар дровишек и отрешенно уставился на полыхающий огонь. Из расщелин печки беспорядочно сновали молнии, они красными сполохами озаряли черные от копоти стены, низкий потолок, скользили по обсыхающим шкуркам соболей и белок, жарко хлестали по лицу охотника.

Лайка опять беспокойно подняла голову, поглядела на дверь, потом на хозяина, как бы удивляясь его глухоте.

— Что это сегодня с ней? — удивился старик. — Не станет она просто так ганашиться.

Послышался слабый хлопок, через мгновение еще один. Лайка вскочила, замсталась по тесному зимовью, тут и старик понял, что судьба нежданно привела кого-то к его жилищу.

— Счас, счас, — успокаивает он собаку, которая яростно скребет дверь. — Беда, поди, какая стряслась, коль стреляют раз за разом.

Не мешкая, накинул старик полушубок, пристегнул патронташ, снял с ветвистых рогов видавшую виды "переломку", с усилием отбил примерзшую дверь и сразу же оказался в снежной коловерти. Прикрыв лицо руками, он старался хоть что-то разглядеть в кромешной мгле, но и в двадцати шагах ничего, кроме белой пыли да черных могучих лиственниц, не было видно. Куда умчалась собака, ему тоже было неведомо, но только ждать ее долго не пришлось: откуда-то сбоку выкатился снежно-серый клубок и тут же превратился в его верную Найду. Найда покрутилась у ног и опять пропала среди елей натужно стонущего леса. Старик снял с плеча ружье и хотел уж было выстрелить вверх, но передумал.

Найда снова выкатилась под ноги старику и с радостным и в то же время тревожным лаем, вынуждающим поторопиться, повела его за собой. У огромной разлапистой ели она нырнула под заснеженные ветви и там залаяла. Сбив с веток снег, старик наклонился и стал всматриваться в темноту. Как только пообвыкли глаза, он увидел сидящего у дерева человека, рядом с ним валялось ружье. Уткнув голову в колени, запорошенный снегом, тот не подавал никаких признаков жизни. От осторожного, даже боязливого прикосновения старика не очнулся, не поднял головы, не застонал. Закинув ружьё за спину, старик выволок человека на чистое место, попытался взвалить его на плечо и не смог, обмякшее тело сползало с покатых плеч и валилось в глубокий рыхлый снег.

— Эй! — кричал старик, хлопая человека по щекам. — Эй, паря! Да очнись же ты! Погодь, не помирай! Тут рядом совсем... Погодь...

Но странный пришелец безмолствовал. Тогда старик подхватил его под руки и, пятясь, поволок, оставляя на снегу глубокую борозду. Собака не знала, как помочь своему хозяину, она крутилась под ногами и только мешала ему. Выбившийся из сил старик зацепился за корягу и упал навзничь. Над ним взбухало и пенилось огромное седое небо, появившиеся звезды мчались с бешеной скоростью.

Превозмогая усталость, на радость Найде, беспрестанно облизывавшей языком его лицо и руки, поднялся старик, выпрямился, посмотрел на занесенного кухтой неподвижного человека, а потом рывком, с приседом, бросил его себе на плечо, схватился за ствол лиственницы, приподнялся, отдышался и медленно, широко расставляя одеревеневшие ноги, побрел к зимовью.

В зимовье они не вошли, а вкатились кубарем. Найда тут же отметила это событие радостным лаем, а старик лежал и тоже радовался своей маленькой победе.

Несло снег в зимовье, выдувало последнее тепло, у него уже не было сил встать и закрыть жалобно стонущую на ветру дверь.

Долго возился старик с чужаком: растирал его холодное бездыханное тело колючим снегом, и накладывал на грудь горячие примочки, и хлестал ладонью по впалым небритым щекам, но привести в чувство несчастного никак не мог. Уже казалось напрасной затея оживить полумертвеца, только старик не сдавался. Нестерпимо болели кончики пальцев, похоже, кто-то сорвал с них ногти и окунал в соль. Старик, слегка согрев руки, снова принимался за свое.

"Где это его так угораздило? — отвлекся старик, заметив под ребром справа свежий, еще кровоточащий рубец. — Не легок, видать, был путь".

Труды старика не пропали даром: вдохнул Бог душу в тело, и застонал тогда человек, противясь этому вселению, и открыл глаза. О, сколько радости у старика вызвал этот стон!

— Ну, паря, долго жить будешь! С того свету, почитай, вернулся, — бодро заявил он, сгустив лучики морщин у маленьких, обесцвеченных временем и дымом зимовья глаз.

Чужак в ответ ничего не сказал и бессмысленно, как бы стремясь вспомнить что-то очень нужное и важное, уставился на старика. Тот же колдовал, готовя уже снадобья. Он налил в кружку кипятка, плеснул туда из начатой бутылки водки, всыпал мороженой брусники и добавил засахаренного меда, подавил деревянной ложкой набухшую бруснику, все тщательно перемешал, попробовал, не горячо ли, и поднес к холодным губам пришельца.

— Теперь-то уж как пить дать, жить будешь да еще и за девками побегаешь, — заключил старик, заглядывая на дно пустой кружки. — Напугал ты меня, паря, слов нету. Чего уж только я не передумал. Но теперь, слава Богу, должно быть, пронесло, вот только б руки да ноги остались целы, обувка больно уж плоха.

Пришелец молчал, но это уже мало беспокоило старика.

— С воскрешением! — сказал он, плеснув водки в кружку, и одним рывком кадыка, как затвором, заслал жгучую себе в утробу. — Вот так-то оно лучше. — Провел по усам и бороде ладонью правой руки, на которой не было указательного пальца, а средний был согнут во втором суставе и не разгибался.

За всю ночь старик так и не сомкнул глаз, и было из-за чего: пришелец метался в поту, бредил, вскакивал в горячке, безумно устремив в пустоту взгляд остекленевших глаз, чего-то ждал, прислушиваясь, и только ровный, негромкий голос старика успокаивал его, и тогда теплел взгляд, по телу пробегала судорожная волна и он затихал, затихал до следующего приступа.

Холодную мокрую тряпицу старик убрал со лба больного, когда забрезжил синий свет в промерзшем окне, и тот, безвольно раскинув руки, уснул глубоким сном. Задремал и старик, привалившись спиной к стояку полатей, седая всклокоченная его голова упала на грудь, подмяв свалявшуюся бороду; у ног примостилась и мирно посапывала Найда.

Долго ли спал старик или только мимолетная дрема застлала ему глаза, он не знал, а проснулся от какого-то непонятного чувства, ему показалось, что кто-то сильно встряхнул его за плечи. Оглянувшись, он увидел пришельца. Округлив по-совиному немигающие глаза, тот сидел и внимательно рас-

сматривал старика. И не было в этом взгляде безумства, были немые вопросы: где я? что со мной? Чтобы дать возможность больному придти в себя, хоть что-то понять, старик неспешно занялся печкой. Смолистые поленья, брошенные на тлеющие угли, схватили пламя мгновенно, и медный, обмятый со всех сторон чайник вскоре зашипел, застучал крышкой.

— Ну чо, паря, отошел? — спросил через некоторое время старик, развязывая зубами мешочек с крупой.

Пришелец хотел что-то сказать, да хрипло зашелся в душном кашле, капли пота засеребрились на его белом лбу.

— Баньку бы хорошо, — остановился старик у нар, чтобы поправить сползший тулупчик. — Веничек бы хворь в одноразвышиб... Да нет ее, баньки-то, не под силу мне одному срубить ее... А теперь уж... — Старик обреченно и безнадежно махнул рукой.

"Никак кровь? — нагнулся он, всматриваясь в лицо пришельца, заметив жирно поблескивающую темную полоску у уголка рта. — Точно, кровь. Дело-то совсем худо". Согнувшись в три погибели, старик принялся вытаскивать из-под стола покрытые пылью и паутиной бутылки, банки, туески.

— Где-то тут был, — шептал он. — Совсем недавно видел, в литровой банке с крышечкой. Вот же сволочи! — выругался, заглядывая в отыскавшуюся посудину. — И тут не обошлось без этих проходимцев. Половину, почитай, выгрызли.

Старик наскреб содержимого банки в алюминиевую миску и поставил на краешек печки. Вскоре по зимовью пополз сладковатый, приторный запах жира.

На раскаленной печке глухо похлопывал крышкой отодвинутый в сторону чайник, в чугунке ворковала каша. От тепла "заплакали" тусклые стекла единственного в зимовье оконца, ручейки с подоконника потекли на грязный щелистый пол. Старик задул лампу, и избушка тут же сузилась и присела.

— Давай, паря, подымайся, — попросил старик, приспосабливая на нарах миску с едой. — Надо подлечиться, а то будет нам с тобой тут каюк.

Пришелец ничем не показал, что слышит и понимает го-

ворившего, разве что чуть дернулась его рука и приоткрылись глаза.

Старику и этого было достаточно.

— Ну вот и хорошо, ну вот и славно, — заговорил он, зачерпывая ложкой жир. — Спробуем сперва ложечку вот этого сальца барсучьего с корешками, оно и с того свету кого хошь вернет... Вот и хорошо... А теперь заедим кашкой-малашкой и запьем чайком с медком... Вот так, вот и хорошо...

Не заметил старик, как перешел на тон ласкового врачевателя, он уж и не помнил, приходилось ли еще с кем-то ему так говорить, за кем-то ухаживать.

Так много воды утекло за его жизнь...

Младшему было бы, как вот этому... А старшему под пятьдесят... Да нет их. Старший умер от скарлатины, когда было-то ему всего-навсего четыре годочка. Узнал об этом Афанасий от Лешки Титаренки, приехал тот на лесоповал вместо заболевшего Ильи Козулина.

— Крепись, Афанасий, — сказал Лешка. — Нету твоего сына. Помер Мишка на Покрова, шкарлатина его задушила, а Федька не дал Анне коня в больницу. Теща твоя с Тургеневки приехала, за малым и Анной присматривает. Анна чуть было того...

Крепкий духом был Афанасий, а тут не выдержал, выбил плечом отсыревшую дверь барака, не чуя холода, заплетающимися ногами побрел в сторону леса, за черной мохнатой елью упал прямо в снег и заплакал.

— Сынок мой, как же так... Я же не знал... Зачем же так...

Кто-то из товарищей принес и накинул ему на плечи телогрейку, попытался надеть шапку.

Схлопотал тогда Афанасий восемь лет за угрозы председателю колхоза и самовольный выезд с государственных лесозаготовок.

Потом война, плен. Без него умер младший, такой же был бы сероглазый, как и этот приблудивший, умерла и Анна перед самым его возвращением.

Ушел от людей в тайгу Афанасий и правильно сделал, подлечила она его, спасла. И все равно, когда завьюжит за окном, запоет, застонет, то хоть в петлю лезь.

Зимний день недолог, и скоро синева обволокла вновь и лес, и пригорок, и дымящуюся в наледи речку. Старик, экономя керосин, обычно тянул до глубокой темноты, не зажигал лампы, а сегодня засветилось ее желтое пламя, когда были еще различимы в избушке даже такие предметы, как сундучок и канистра под нарами.

— О, опять начинает, — промолвил старик, прислушиваясь к завыванию ветра. — Метет и метет и никакого спасу нет. Все насторожки, поди, посрывало, все засыпало.

Ближе к ночи хуже становилось и больному. Поднимался жар, видно было, как тускнели его глаза, как метался он под одеялом, кусая вспучившиеся губы.

— Совсем плох, — горевал старик. — Что делать теперь? Куда спешил, не знал, что ли, что в тайге хана ему? Не таких губила она и богатенько устлана косточками.

Старик припомнил, как по весне наткнулся он на скелет человеческий и был тот скелет в кандалах. Захоронил он останки под раскидистым кустом боярышника, освободив напоследок от железа, поставил тяжелый крест из смолистой лиственницы и скамеечку соорудил рядом. Частенько теперь заворачивает туда, как к хорошему близкому соседу, посидит у могилки, поразмыслит и легче становится на душе.

Перед рассветом почудилось старику, что умер его постоялец, что не дышит уж он. Осторожно приподнял старик одеяло и приложил ухо к груди. Отлегло от сердца: жив, бьется кровь в жилах, да и жар, кажись, спал. Успокоился старик и не заметил, как сами по себе смежились веки и поплыли какие-то обрывки снов: как будто Анна дожидалась его у проруби, он ей: "Чего в дом-то не заходишь? Чего тут-то стоишь?", а она: "Нет нашего дома, Афанасий, и уже никогда не будет. Ты парня-то из зимовья не гони. Это же Митя наш", — повернулась и пошла. Потом приснился лагерь. Охрана, собаки с красными глазами. Кто-то побежал из заключенных, захлопали выстрелы, залаяли собаки...

"Надо же такому присниться? К чему это?" — гадал старик, глядя на синеющее окно.

Старик натянул свой тулупчик, отбил ногой успевшую

примерзнуть дверь и рывком растворил ее, впустив клубы белого, стылого воздуха.

Вьюга поутихла, а мороз, похоже, покрепчал. Он тут же склеил ноздри старику, а усы, бороду, разлетистые брови обильно посыпал инеем.

Дымилась речка, разлившая по толстому льду свои непокорные воды; могутные деревья смиренно дремали под мягкими снежными покрывалами; тропу к проруби занесло и сравняло с берегом, старик же прошел, как прошел бы он и с завязанными глазами, не свернув с ее тверди ни на шаг, ни на дюйм.

В этом закаменелом царстве безмолвия, царстве белизны и света замедлялась, а может быть, и вовсе приостанавливалась жизнь. Все было вечным и неповторимым: и неподвижные великаны-деревья, и холодная снежно-саванная земля, и бело-голубое безоблачное небо, избушка, вросшая в землю, засыпанная по самую крышу снегом, и та казалась вечной и нерукотворной.

Зачерпнув воды из проруби, старик присыпал ее снежком, чтобы не плескалась на ходу, и не удержался от любования красотой мирозданной.

"Морозно, а дышится-то как легко! — ликовала его душа. — А простору-то сколько!"

Со стороны речки избушку трудно было разглядеть, так засыпало ее белым снегом, большой сугроб да и только. Взошедшее над лесом солнце озарило багряным светом покатую крышу, заиграло лучами в стеклах проглянувшего оконца.

"Перекатать бы надо, да и венец поменять пора уж давно", — рассуждал старик, стараясь попасть в след. Лучиком мелькнула слабая надежда: авось и он тут останется, куда ему еще бежать?

Вынужденного постояльца застал он в глубокой задумчивости. Не отрываясь, глядел тот на слабенький, колеблющийся огонек в печке и думал о чем-то своем, не оторвал он своего взгляда и после того, как старик, сбивая рукавицами снег с валенок, бодренько объявил, что наконец-то отступила пурга и день обещает быть, каких не бывало давненько.

— Какое сегодня число? — спросил пришелец, не разделив восторга хозяина сих мест.

Старик молча подошел к двери, там на балке, у самого потолка, висел успевший почернеть и покоробиться отрывной численник.

— Наверно, двенадцатое. Может, и боле, — неуверенно произнес он. — Я ведь не кажный день их отрываю, когда и забудешь.

— Пятнадцатого января день рождения моей жены. Катей зовут ее, — все так же задумчиво глядя на оживший вдруг огонек, произнес пришелец. — Справляли мы его всегда при свечах и елке.

— Елок тут хватает, — молвил старик, наполняя водой чайник, — а вот свечек? Хотя погодь, кажись, была одна, коли мыши не сожрали, отбою от них нет, проклятущих.

Старик пошарил среди хлама.

— Нашлась, — послышался его радостный голос.

Пришелец молчал, и лицо его было, как у Христа, когда сидя на камне в знойной пустыне, обдумывал он, как ему быть дальше. Умолк и старик. Изредка бросая взгляды на странного своего гостя, вытирал он, по всей вероятности, с ненужной теперь никому свечи пыль своими загрубевшими ладонями.

Мело, мело по всей земле
Во все пределы,
Свеча горела на столе,

Свеча горела, — внятно и грустно зазвучали слова и исходили они, казалось, из непомерно большой и в то же время обескрыленной души. Старик присел у печки, прислушался.

— Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе, свеча горела...

Старику не верилось, что вот так, в этой продымленной

насквозь, с одним тусклым оконцем в белый мир зимовьюшке кто-то может читать стихи, складно, однако, написанные. Да и слова какие теплые, прямо-таки греют душу. Свеча горела на столе, свеча горела. Последние слова старик мысленно повторил и они еще больше ему понравились, воскресили что-то далекое, родное, забытое.

— Сам сочинил? — полюбопытствовал старик, когда понял, что чтец не собирается дальше продолжать.

— Пастернак. Его свеча угасла, не догорела до конца. Скоро холодный ветер задует и мою. Мне бы только добрести до порога.

Старик хотел сказать что-то, да тут захлопал крышкой чайник, зашипел паром из носика.

За чаем пришелец, не отрывая глаз от старика, превозмогая себя, заговорил.

— Отец, перед тобой нет смысла темнить — ты знаешь, откуда я... У меня одна просьба, помоги мне выбраться отсюда... мне необходимо... Может, когда и я пригожусь.

Старик не торопясь отодвинул чашку, долго, изучающе рассматривал пришельца.

— Как тебя звать-то? — не отводя взгляда маленьких пронзительных глаз, спросил он.

— Зови Андреем. Кольцов Андрей.

— Лет-то тебе сколько?

— Тридцать два.

— Отец-мать живы?

— Отец. Он был еще жив.

— За что сидел? За пустяк, поди?

— За пустяк сидеть — преступление вдвойне.

— Убил кого?

— Бог миловал. Хотя и следовало...

— Значит, политический?

— Он самый.

— Что натворил-то?

Кольцов улыбнулся через силу.

— Моя вина в том, что я хочу справедливости.

— А кто ж ее не хочет? — подернул плечом старик. — Только за это не прячут.

— Прячут. Все зависит от того, как хотеть. Только за себя — это одно, за всех — совсем другое.

— Пожалуй, так, — подумав, согласился старик.

— Посуди сам, отец, ты много жил и много знаешь, правильно ли мы живем?

Старик пожал плечами.

— Вот так все и пожимают плечами, потому что ничего другого не знают. Живут себе и живут, как им велят. Хомут надели — ладно, запрягли — потянем, понукают — побежим.

— Не я один такой.

— Вот, вот. Я другого и не ждал. Я — как все, все — как я. Куда? Зачем? Почему? Кому это надо? Кому выгодно? Никто не хочет задуматься и попытаться найти ответы.

Скулы Кольцова заалели, он заметно преобразился и был не похож на того Кольцова, что совсем недавно стоял на краю могилы.

"Откуда у них такое?" — подумал старик, а вслух, оправдываясь за свою беспомощность, заявил:

— Да, что я могу?

— Конечно, отец, что ты можешь, — примирительно сказал Кольцов. — Что вообще может замордованный человек? Кукиш показать в кармане? Анекдотец выкинуть и посмеяться над собой? Не более. Он и за себя постоять не может, не говоря уже о другом. И рад часто бывает, когда видит горе другого, а буде сия чаша не минет его — забывается тогда в хмельном угаре, пьет и стонет, как сотни лет бывало.

Откинувшись на подушку, выделяя каждый звук, начал читать что-то уже слышанное стариком не то в школе, не то позже, в лагере, где был у них такой чудик, наизусть мог читать сколь угодно?

За заставой, в харчевне убогой
Все пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал!

Передвинувшись к краю нар, Кольцов попросил воды. Пил долго и жадно, а напившись, продолжил свои крамольные речи.

— Так было при царе. А теперь сам рассуди, что изменилось с тех пор? Да ровным счетом ничего, если не сказать больше! Меняются власть имущие, чтобы пожить, как царям не снилось! Себе изобилие, мужику трескучие лозунги и обещания. А мужик-то у нас терпеливый и совестливый, бабу свою отлупить может, а супротив власти — ни-ни! Вот и слушает наш мужик, верит и ждет, стонет и пьет.

"Правду говорит шельмец! — задумался старик. — Приучили нас просить да низко кланяться за свое же кровное".

И тут повалил дым из чугунка с кашей.

— Холера тебя побери, — вскочил старик. — Только что мешал, совсем холодная была.

Жареное мясо с пригоревшей кашей ели с шуточками, которые отпускал Кольцов по поводу кулинарных способностей старика, а чай уж пили, как и полагается на Руси, не спеша, потея.

— Кажный год, слыхал я, убегают, — встал старик, чтобы наполнить кружку Кольцова. — Должно, не знают, что зимой не убегишь далеко, да и летом тож... Сибирь, брат, она того... Я вон тут недалече нашел скелет человеческий, на нем были кандалы, царский, стало быть... Тайга хоронит людских косточек видимо-невидимо...

— Не будь этой проклятой пурги, далеконько был бы и я.

"Не будь Найды, был бы ты сейчас под кустом боярышника", — подумал старик и сказал:

— Тебе опасно там появляться. Поди, давно уже караулят.

— Не опасней, чем здесь, — заверил беглец, он хотел еще что-то сказать, да приступ кашля, каких еще не бывало, не дал договорить. Опять заблестела струйка крови. Старик пытался попасть краем кружки в дергающийся окровавленный рот и все неудачно, отвар выплескивался на грудь больного и расходился темно-коричневыми пятнами на застиранной белой рубахе.

"Надо что-то делать, так он помрет, как пить дать, по-

мрет", — мрачнел старик, глядя на изнемогающего от кашля Кольцова.

Но странное дело, больному день ото дня становилось лучше.

Часто, возвращаясь в зимовье, старик замечал следы от валенок Кольцова все дальше и дальше, они уходили по речке аж до поворота.

"Крепчает, — радовался старик, — шаг крепчает".

Кольцов к приходу старика топил печку, ставил чайник, садился у оконца и наблюдал, как меняется день. Из яркого, белого, он постепенно превращался сначала в нежно-голубой, а к концу становился густо-фиолетовым. Потом морозец зашторивал оконце, и затворнику ничего не оставалось, как садиться у печки, глядеть на огонек и ждать. Ждать старика, ждать чего-то, что могло бы изменить его судьбу.

Однажды старик, придя в зимовье, увидел у печки Кольцова с ножом в руках, он вырезал из чурки какое-то чудовище.

— Вот, идола соорудил, — смущенно улыбнулся он. — Будет защищать наше жилище. Как он? — приподнял и повертел в руках деревяшку Кольцов.

— На Лешего смахивает, — всмотревшись, сказал старик.

— Это, Артемьич, не Леший, это Гном. Защитник жилища.

— От мышей бы нам кого завести, — высказал свою тайную мечту охотник.

Кольцов встал, отряхнулся от стружки, поставил Гнома на полочку.

— Я ему еще глаза из цветных камушков вставлю, — сказал он, явно любуясь своей работой.

— В ручье их хоть лопатой греби, — подсказал Афанасий. — Зима идет на убыль. Сегодня какое число-то у нас?

— Сегодня у нас 22 февраля. А у других не знаю какое. Так что завтра праздничный ужин.

— Ну-ну.

— Артемьич, я обещаю пирог. Как ты на это смотришь?

— Из еловых шишек?

— Пирог с мясом, пирог с брусникой, пирог...

— Шибко не размахивайся. Припасов у нас — кот наплакал, а зимы да холодов еще ого-го.

— Весна уже на дворе, а ты все пугаешь холодами. С крыши течет, сосульки до земли, толстенные, в руку.

— Сосал, поди, уже.

— Было дело. Не удержался.

Утром следующего дня старик чуть свет засобирался пройтись по дальнему путику, граничащему с путиком соседа-промысловика. Кольцов с постели напомнил:

— Артемьич, приходи пораньше, не задерживайся. Пирог не любит ждать.

— Дождется, куды ему спешить, — ответил охотник, закидывая за спину выцветший до белизны рюкзак. — Если что, садись без меня.

— Ты же знаешь, что такого не будет, поэтому поспеши. И поменьше губи зверюшек. Один черт, проку тебе от них никакого. Ходишь вон в каком старом тулупчике и такой же шапчонке. А другие в соболях. Подумай об этом, пока ходишь по своим тропам.

— А чего тут думать? Людям надо, вот я и охочусь. Другой так же хлеб сеет. Чего еще думать-то?

— Иди, иди, — заторопил старика Кольцов. — Потом, за пирогом и чаем поговорим.

Старик потянул за ручку, дверь как прибита.

— Весна хулиганит, — забубнил старик, обстукивая дверь обухом. — Подтаяло и приморозило. Сенцы бы какие.

Дверь с треском оторвалась от косяка.

— Андрюха, ты это, — остановился старик у приоткрытой двери, — шибко-то не носись по двору. Погода счас обманчивая. Ежели что надо, я приду и сам сделаю... Брусника мороженая в решете старом, где, знаешь.

Старик шел по лесу и радовался всему: и тому, что идет он по белому-белому снегу, по которому никто не ступал, что рядом с ним бежит Найда, правда, что-то она сегодня вялая какая-то, ну да это с ней бывает; что лес шумит и небо прозрачное и бездонное; что его ждут в зимовье...

"Купить бы ему, сколько ни стоит, паспорт новый, вдруг пришла мысль старику, — оформили бы пока моим сподручным, и жили бы мы как люди. Потом бы я ему все передал, а он... меня бы тут, у боярышника, потом".

Старик шел и устали не было, пройдена половина пути, а солнышко не поднялось на всю высоту.

"Чего это ему тут понадобилось? — подумал он, заметив чужой след на своем участке. На следу пригнулся, потрогал пальцем кромку снега. — Совсем свежий. Где-то тут недалеко шастает".

Старик свернул на след.

"Чего ему тут надо?" — шевелил он губами.

Вскоре вышел он на пригорок и внизу увидел человека, шел тот не спеша, часто останавливаясь и прислушиваясь. Впереди него бегала лайка.

Широко расставив ноги, старик резво скатился с горы и побежал наперерез человеку. У края лощины он остановился и стал поджидать нарушителя границы.

Первой обнаружила старика лайка, она звонко облаяла и остановилась, поджидая хозяина. Ей ответила тем же Найда и посмотрела на старика, как бы спрашивая: "Что дальше-то делать?" На полянку вышел человек. Припыленный снегом, в посеребренной бороде молодые румяные щеки, карие глаза выпуклы и нахальны.

— Привет соседу! — заговорил он издали, признав Афанасия.

— Здоров! — ответил Афанасий, выжидая, что дальше скажет сосед, как он будет оправдываться.

— А я тебя стерегу, — продолжал сосед, поняв необходимость объяснений. Он остановился, снял рукавицу и протянул старику руку, потом достал сигареты.

— Умная собачка. По глазам видать, — погладил Найду по голове сосед. — Моя, сволочь, находит белок только так, но хватает их на лету и убегает в кусты. И пока не наестся, всех уносит, а наестся, домой срывается. Я уж и кормил ее перед охотой, и лупил, ничто не помогает. Посоветуй, Артемьич, как мне с ней быть? Была бы какая еще, я бы с этой шкуру содрал.

— Ты за этим и пришел на мой участок? — старик немигающе уставился на соседа.

— Артемьич, ей-Богу, без злого умысла зашел, — приложил руки к груди сосед. — Можешь проверить рюкзак.

— Дело-то какое? — потеплел старик.

— Хотел предупредить тебя. Ко мне тут недавно прилетал вертолет с военными, ищут зеков, трое сбежали. Так они предупреждали, чтобы поосторожней были. Спрашивали, есть ли кто поблизости. Я назвал тебя, Егорыча и Василия. Они были уже у тебя?

— Кто?

— Ну эти, на вертолете?

— Бог миловал.

— Артемьич, если что, скажи мне, у меня рация. Ордена получим, — засмеялся сосед каким-то дребезжащим смехом.

— Если б даже кто и пришел ко мне, я бы ему подлости не сделал, — старик разглядывал румяное лицо соседа. — Еще что?

— Еще хотел спросить, почему у меня кулемки не всегда срабатывают? Притравки нет и зверьков нет. Почему такое?

— Они вилками научились есть.

Домой бежал старик, на удивление Найды, шустро, как молодой лось. У зимовья, скинув лыжи, прислонил их к углу и влетел, а не вошел в него. Его постоялец спокойно месил тесто. Нос и щека у него были в муке, рукава рубашки закатаны по локоть.

— Что стряслось? — спросил спокойно Кольцов, заметив необычность поведения старика. — Волки никак за вами гнались?

— Слава Богу, пока ничего, — снял тяжелую шапку с парящей головы старик и присел у порога.

— А что взъерошенный тогда? Пирог боялся прозевать?

Старик все это пропустил мимо ушей.

— Ты это, слышь-ка, Андрюха, — покашлял старик, подбирая слова, — как услышишь звук какой, вертолета иль самолета, или аэросани какие, так ты это прячься куды-нибудь. Ищут они тут.

Кольцов перестал улыбаться, вытер руки и сел у печки.

— И кого они ищут? — спросил он, соскребая тесто с рук.

— Беглых, кого еще.

— Откуда тебе известно?

— Сосед сказывал.

— И что же он сказывал?

— Прилетал, грит, к нему вертолет с конвоем, грит, спрашивали, не видали ли троих... опасных... рецидивистов. Тут, грит, где-то бегают. За укрывательство, грит, и недонос будут применять статью.

— Грит, грит, грит, — задумчиво постучал пальцем по коленке Кольцов. Посмотрел на испуганного старика, улыбнулся:

— Артемьич, а ты ведь не этого испугался?

— А чего еще?

— А того, что заберут меня и я пирог не успею выпечь.

— Да хрен с ним, с пирогом этим, — не понял шутки старик. — Надо что-то делать. Они так этого не оставят.

— Ладно, — встал Кольцов. — Бог не выдаст, свинья не съест! Раздевайся, умывайся, я вон воды согрел. Надень чистую рубаху.

За стол старик сел, пригладив ладонями волосы и бороду.

— Ну, кажись, все, — сказал он, уставившись на пирог, прикрытый полотенцем.

— Нет, не все, — заметил Кольцов. — А бокалы?

— За легендарную и несокрушимую! — поднял стакан Кольцов.

— Давай! — согласно кивнул Афанасий.

— Ты кем был в армии, Артемьич? — налил по второй Кольцов.

— Генералом, кем еще?

— Понятно. Города сдают солдаты, генералы их берут. Награды имеешь?

— Два ордена, пять медалей. Забрали по суду.

— Вот те на! — присвистнул Кольцов. — И все равно давай за тебя, за таких, как ты! На ваших плечах все государство держится, и в мирное время, и в военное особенно.

— Да что я, — застеснялся Афанасий.

— За тебя, Артемьич. За тебя. Здоровья тебе и всех благ! Жив буду — не забуду и не оставлю тебя одного!

Кольцов выпил и понюхал пирог. Старику перехватило горло, выступили слезы и стыдно было их вытирать.

— Как пирог-то? Что-то не хвалишь? Ты их что, каждый день ешь?

— Пирог, как пирог. Есть можно, коли ничего другого нет.

— Удружил!

— Я бы отварной картошечки, с сальцем, с малосольным огурчиком, с груздочками...

— Ишь чего захотел, — Кольцов встал, налил старику и себе. — А теперь, Артемьич, давай выпьем за мой удачный путь. Засиделся я тут у тебя.

— Какой еще путь? — всполошился старик. — Ты в своем ли уме? На первом же километре Богу душу отдашь. Тебе мало того, что уже было?

— Ну чего ты кипятишься? Я хорошо себя чувствую, дорогу знаю, на дворе весна. Чего еще? Да и опасно тебе со мной.

— И думать не моги! — вскочил и тут же сел старик. — Я и то не решился бы. Вон, один лежит уже под боярышником!

Кольцов покачал головой.

— Дорогой Афанасий Артемьич! Время не ждет. Надо спешить, иначе...

Спор рассудило время. Через два дня у Кольцова горлом пошла кровь...

В этот же день старик соорудил из лыж волокушу, застелил ее стеганым ватным одеялом, в изголовье бросил подушку, под подушку сунул пяток соболей и парочку норок. Собрал кое-какого провианту в мешок, приторочил его к перемычке волокуши, осмотрел все это и не нашел изъяна.

Выехали они, когда солнце стояло высоко над макушками мохнатых елей и черные, в полдерева, тени от них покоились на чистом снегу.

— Хороший день — на удачу! — молвил старик, впрягаясь в лямки волокуши.

И потянулись долгие часы и дни переходов.

Первые километры шли по льду и дались они довольно

легко. Старик уж было решил, что к исходу третьих суток они будут в селе Осинцево, и если там нет доктора, то люди все равно помогут добраться до ближайшей больницы.

Но получилось так, что путь по речке оказался не таким легким, как думалось поначалу. Местами его преграждали такие наметы, что влезать на них надо было, как на отвесную скалу. Много бед приносила наледь. Растекалась она то вольно, открыто, заполняя всю ширь, то залегала, коварно притаившись под снегом, пожелтив его у обрывистых берегов, ждала, когда сунется старик в ее прорву и увязнет по колено в тяжелом липком месиве.

На редких привалах кипятил старик крепкий чай, заправлял его топленым жиром и поил через силу больного.

В ночь на третьи сутки постучал старик в ставень крайней избы маленькой деревушки. Долго никто не отвечал, и если б не хриплый лай собаки, можно было подумать, что брошена она, как брошены и догнивают в буйных зарослях чертополоха тысячи других жилищ по великой Руси. Но вот брызнул свет в щели ставень и застучал засов сеней.

— Чего тебе? — услышал старик голос из-за высокого бревенчатого забора.

— Больного, — набравшись сил, простуженно прохрипел старик, — больного к врачу... надо.

— А тут нету никакого врача, — услышал он в ответ.

— Ну так... коня бы какого... до больницы, — терял силы и голос старик.

— Это надо к бригадиру, супротив магазину он живет, — советовал голос.

Старик изнемогал. Еще мгновение, казалось ему, и он рухнет у этого забора, как у неприступной крепостной стены, и никогда больше не встанет.

— Да только так он не даст коня-то, разве что за бутылку, — предупреждал голос из-за стены. — А сам-то откель будешь?

— Охотник я, тащу больного геолога, — выдохнул старик, держась за шершавый покосившийся столб.

— А может, и так даст, — засомневался уже мужик. — Кто его, однако, знат... Спробуй.

Скрипнула сочувственно дверь, угрожающе прогремела

щеколда и все утихло. Зевнув, скрылась в будке собака. Старик стоял не в силах оторвать свинцово-тяжелое тело от приветливого столба. А мужичок подкинул дровишек в печку, отчего искры взметнулись в черное небо, осветив измученное, обожженное морозами лицо старика, и юркнул в неуспевшую остыть постель. Почесав, как кузнечик, с каким-то остервенением сухо шелестящие ноги одна о другую, он приник к пухлой спине жены.

— Кого там нелегкая принесла? — спросила жена, отодвигаясь к стенке.

— Какой-то охотник геолога в больницу везет, — ответил мужик, поуютней укладываясь и подгибая к теплу ноги.

— Он что, сдурел? Тут отродясь ни больницы, ни доктора какого не бывало. Делать им нечего, шляются по ночам, ироды, — зевнула баба и спросила готового уже захрапеть мужика: — А что с ним-то?

— Не сказывал.

— Ну так спросил бы, догадался, дурья голова.

— Поди, пьяный куда свалился, а может, пиндицит какой от плохой питании. Ганька сказывал, кроме концервов, ничего им не дают... если стибрют у кого курицу или гуся, тогда...

Но баба уже не слыхала последних слов, мужик поскреб ребристый бок и тоже провалился в плотный, тягучий омут.

Деревня спала крепким сном, ничто не нарушало тишины, и лай собаки где-то вдали только подчеркивал холодную пустоту дикого места.

Долго старик стучал и в ставень, и в ворота дома напротив магазина, но никто не отзывался, не зажигал огня, не залаяла и собака. Старик уж подумал, что ошибся и хотел было перейти к другому дому, да вдруг послышался скрип снега.

— Яшка, ты чо ль? Ты чо в таку рань-то?

— Подойди, хозяин, сюда, — попросил старик. — Разговор есть.

— Яшка, ты чо так рано? — продолжал бубнить непроспавшийся мужик. Отворилась калитка, и перед стариком выросла фигура в вислых подштанниках и накинутой на плечи телогрейке. Держась за столб, фигура долго непонимающе

рассматривала измученного старика и его сани с жуткой на вид поклажей. Оторопел мужик.

— Слышь, хозяин, — заговорил первым старик, глядя в искаженное страхом, мертвенно-бледное при лунном свете лицо мужика, — помоги добраться до больницы, человек помирает, а он должен жить.

— До какой больницы? Какой человек? — не мог придти в себя мужик, он дрожал, как в лихорадке.

— Да вот же, — показал старик на занесенного снегом и страшного в своей неподвижности больного. — Геолог он... Помирает. Понимаешь? Он не должен помереть!

— А... больницы тут нет. Она в этом... как его... ну вот тут, за этим, как его...

— Коня дай, хозяин, я заплачу.

— Да где я тебе его возьму, коня-то? И чем это ты заплатишь? И не надо мне платить, и коня у меня нету.

— Соболя дам, — уговаривал старик вставшего вдруг в позу, вдруг заупрямившегося начальничка. — Понимаешь, человек помирает не чета нам!

Мужик такому сравнению не обиделся, оно даже краем не задело его.

— Какого еще соболя? — сплюнул он на снег. — На хрена мне твой соболь... Бутылка есть?

— Где я тебе ее возьму? Я ж с тайги, с зимовья... а он геолог, понимаешь? Помирает он, а ты тут рядишься. Его быстро к доктору надо, а ты...

— Разговору нет. У меня тут не такси, — развел руками бригадир и повернулся, чтобы скрыться за глухой калиткой. Но он не успел этого сделать.

— Ну ты, сволочь! — услышал он и прирос к земле не в силах оторвать отяжелевшие вдруг ноги. — Ты найдешь коня сейчас же! Ты понял, падла? Не то...

В просветлевшей враз голове бригадира пронеслись все варианты возможных бед.

— Ну чо ты тут расходился? Чо раскричался, заугрожал тут? — застрекотал он. — Так и забоялись, думашь, до смерти. Как же! Не вишь, что ли, — на улице ночь, где я тебе счас коня

возьму? Вот к семи подъедет Яшка, может, он согласится. А то раскричался, заугрожал. Думашь, не видали тут таких. Всяких разных тут видали.

— До семи он не выдюжит, как ты не поймешь! — снова пустился на уговоры старик. — Ты ж тут хозяин, в этой деревне главнее тебя никого нет, вот и заставь кого-нибудь сбегать за конем... Расплачусь я с вами, сволотой.

Почувствовав опять свое превосходство и поняв безвыходность положения просителя, пуще прежнего заупрямился человечишка:

— Да кому это надо, в полночь куда бежать, — развел он руками, сплюнув под ноги. — Потом ехать незнамо с кем, незнамо куды...

Старик просунул руку под полушубок.

— Ты чо? Ты чо? — попятился мужик.

— То, что надо, — протянул руку с соболем старик. — Клячи твоей стоит.

Потоптавшись на скрипучем снегу, мужик вдруг заговорил человеческим голосом:

— Идите в избу, там хоть тепло. Чо тут мерзнуть-то? — сказал он. — А я счас сбегаю к Яшке, скажу, чтоб запрягал "монгола".

В избе было тепло и пахло кислым. Тусклый свет керосиновой лампы освещал прихожую, она же была и кухней, и столовой. За цветастой занавеской на печи кто-то старчески кряхтел:

— Кого там еще лихоманка принесла? Ни днем, ни ночью нет покою. Ох ты, мнеченьки... Одне прощелыги цельный день, двери не закрываются, и ноченькой им не спится. Ох те.

Старик раскутал больного, на бледном лице того ни кровинки, ни теплинки.

— Помер-таки, — прошептал старик, прикладывая ладонь то к лицу, то к шее страдальца. — Нет, кажись, живой. И то правда, зачем бы ему помирать, когда столько позади.

Вернулся хозяин. Оббив у порога валенки от снега, он заявил:

— Счас Яшка подъедет, насилу уговорил. Разболтался на-

род при таком правительстве, никакого порядку не признает. Раньше бы за такое... а теперя что бригадир, что хрен моржовый, им все одно.

Терпеливо выслушав жалобы, старик попросил хозяина, пока суд да дело, вскипятить чайку.

— Мочи нет, — сказал он, — все пересохло внутри. И ему, — кивнул старик в сторону больного, — чего-нибудь жиденького.

Хозяин молча прошел за перегородку и долго там шарил среди глухо гремящей алюминиевой посуды, а когда что-то повалилось и рассыпалось, он матюгнулся и прошел в горницу. Оттуда послышался шепот и раздраженный женский голос заявил?

— Скажи им: нету никакого чаю, не богадельня тут.

Хозяин, так же не глядя на старика, молча прошаркал обратно к столу с посудой и принялся упрямо ворошить ее. Опять что-то упало и покатилось, посыпались какие-то зерна.

— Да дай ты этим иродам, — послышалось с печи. — Нехристи окаянные!

Тут же затопали босые толстопятые ноги, пронесли они мимо старика крепкое патлатое тело в мятой рубахе, молча шмякнула баба начатую пачку чая на стол и так же шумно протопала за занавески, обдав старика запахом молока и пота.

Когда забрезжил рассвет, звякнула щеколда в сенях, застонали мерзлые половицы, с треском распахнулась дверь и в избе объявился краснорожий детина в огромной лисьей шапке, собачьих унтах и белом армейском полушубке. Высморкав у порога нос, окинув любопытным взглядом старика и неподвижного Кольцова, он пробасил:

— Леха, я их не повезу, мне не до них. Я на сегодня договорился с Ганькой пилить дрова, сам понимаешь... Заставь кого другого, хошь Кешку. А эдак весь день пропадет. А Ганьку, сам знаешь, какой он, в другой раз и не проси.

— Эдак любой откажется, — развел руками бригадир, — не одно, дак друго найдет кажный...

— Скажи Кешке, ему чо, он отдежурил и спит трое суток. Проспал сутки на ферме и обратно спит, ему чо.

— В чужих руках оно, сам понимашь...

Старик, склонив голову, с болью в душе слушал торг над умирающим человеком. "Откуда это, люди, у вас? — сокрушался он. — Ведь вы же не родились такими, ведь вы же плакали когда-то!" Он положил молча на темный сундук у перегородки шкурку еще одного соболя.

— Кто отвезет, — сказал он, не глядя на мужиков.

Мужики умолкли, они смикитили, что стоит овчинка выделки. Но как теперь сказать о своем согласии, если твой проклятый язык успел брякнуть не то. Да и этот хрыч хорош, не мог сразу выказать козыри. Кто отвезет, кто отвезет... Купец сыскался.

— Ну дак... — замычал Яков, не сводя глаз с искрящейся сединой, развращающей его окончательно шкурки. — Только еслиф...

— Ладно уж, иди пили свои дрова. Попрошу Кешку, еслиф и он откажет — самому придется. А что делать, не помирать ему тут.

Видать, Кешка "отказал", поэтому вез на скрипучих обледенелых санях старика с больным сам бригадир Леха. Натужно и упрямо тянул свой воз "монгол", маленькая, косматая и невозможно упрямая лошаденка. Ехали молча. Только при подъезде к селу заговорил Леха, решивший, что дальше молчать не резон.

— Слышь-ка, дед, — откашлявшись, начал он, — у тебя этих шкур много?

Старик не ответил.

— А то бы я их купил... по сотне.

Старик и на сей раз отмолчался.

— Предлагал мне как-то пьяный промысловик по семьдесят пять или три бутылки за штуку... А я возьми да и скажи ему, на кой черт, мол, они мне сдались, твои соболя, баба, дескать, и в платке проходит, не барыня какая, а дочке рано еще, ей еще надо учиться нос вытирать. Н-да. И тут, слышь, как на грех, через день получаем письмо от Зинаиды, сестра моя, в Ростове она замужем, мужик у ей военный, майор, вот она и просит в этом письме прислать сколько можно соболей

там разных, норок, можно и лис даже, да... Богато они там живут, арбузов всяких завались, ешь от пуза, есть даже эти, как их, ну такие маленькие... с зернышками в середине, кислые еще такие...

Старик, как воды в рот набрал.

— Эй, дед! Ты живой там? — повернулся к старику Леха. — А то я говорю тут, а ты все молчишь.

— Не трать слов, — услышал он на это.

"Шлепнуть бы их обоих, — обиделся возница. — Этот, что лежит, не сегодня, так завтра сыграет в ящик, и дед, поди, свое оттопал, отмаялся бы заодно".

Больница была закрыта изнутри. Старик постучал в дверь, соблюдая осторожность, граничащую с боязнью кого-либо с той стороны двери побеспокоить. Дверь приоткрылась, показалась женщина в теплом больничном халате.

— Чего тебе? Чего стучишь? Не видишь, что тут написано? — набросилась она на старика. — Прием с девяти до двух. И не стучи тут! Вон кнопка на двери, если что срочное!

— Помирает он, милая, — виновато заговорил старик, поправляя в смущении шапку.

— Кто помирает? — спросила женщина, поутихнув.

— Да вон в санях, — махнул старик в сторону саней.

— Что с ним? Травма? Отравление?

— Чахотка. Без памяти он... По холоду на лыжах волок три дня... кабы знать...

Женщина окинула старика недоверчивым взглядом.

— Заносите пока в коридор, — распорядилась она, — а я побегу за Владиславом Арнольдовичем.

От яркого света затрепетали покрытые инеем ресницы больного, приоткрылись веки.

— Где мы, отец? — тихо, почти не разжимая губ, спросил он нагнувшегося над ним старика.

— Теперь все хорошо, теперь они тебя вылечат, — старик ласково поглаживал лицо больного жесткой своей ладонью. — Я буду тут, рядом.

— Ну, ладно, дед, — услышал старик и почувствовал ос-

торожное прикосновение к плечу, — мне пора. Время только угробил с тобой, а там работа стоит, люди ждут.

— Спасибо тебе, — повернул голову старик и задержал на мужике тяжелый взгляд, как бы лишний раз убеждаясь в печальном своем выводе.

— Ну, дак как? Не продашь мне этих... шкурок? — неудобно помялся тот. — Еслиф не счас, то можно и потом. Мне-то они, как зайцу стоп-сигнал, это Зинке. Неудобно, сестра ведь просит.

— Нет их у меня, — солгал охотник, — и в этом сезоне уже не будет. А что потом — одному Богу известно.

Леха вышел, через несколько минут проскрипели за окнами сани и послышался матерный окрик.

Старик забылся у теплой печки и не заметил, как вернулась сестра с врачом.

— Иди, — сказала сестра, — тебя Владислав Арнольдович вызывает. Документы возьми.

Старик приподнялся и тут же плюхнулся обратно на жесткий табурет.

— Ну чего ты тут распрыгался? — улыбнулась сестра. — Давай, давай, козлик серенький. Там ждать не любят, особенно таких, как мы с тобой.

— Это вы его привезли? — глядя поверх тоненьких очков, спросил врач.

Старик, покашляв, утвердительно кивнул головой.

— Кто он? Что с ним?

— Геолог он, этот... Чахотка у него, — сбивчиво отвечал разомлевший от тепла и дремы старик.

— Давно? — откинул одеяло врач.

— Должно быть, давно, — неуверенно ответил старик.

Врач уставился блестящими стеклышками на старика.

— А, собственно, кем он вам приходится?

— Ну... это... мы вот... вместе были... это... в лесу, там, — помогая жестами непослушных рук, вырывал из горла нужные застрявшие слова старик.

— Хорошо, — прикрыл одеяло врач, — давайте документы, будем оформлять.

— Дак нет у меня документов, — выпалил старик.

— Как нет?

— А вот так и нет, — развел руками старик, — должно быть, в дороге, когда опрокинулась волокуша, и потеряли... вместе с термосом, китайским, с цветами такими...

Термос приплел старик не просто так, он бредил им, бредил с того момента, как увидел это чудо у соседа по участку, он даже ему снился несколько ночей подряд.

— Мы не имеем права принимать без документов, — хлопнул мягкой ладонью по спинке кровати врач. — Придется сообщать в милицию. Это мы обязаны сделать, — врач пожал покатыми плечами, обстоятельства, дескать, заставляют, ничего тут не сделаешь.

— Доктор, тут вот у меня, — вырвал старик из-под кожушка шкурки соболей. — Возьмите, только спасите, я потом еще принесу. Только поставьте на ноги, потом мы сами уйдем. Молодой совсем... И в милицию не надо... доктор.

— Прекратите, слышите! Спрячьте сейчас же! — возмутился врач.

— В милицию не надо. Доктор, а? — умолял старик со слезами на глазах, держа в повисших плетями руках шкурки.

— Хорошо, — оглянулся доктор. — Я постараюсь. А за это я вам заплачу. У меня нет с собой денег, но я с вами обязательно рассчитаюсь.

— Да ради Бога! — обрадовался старик. — Какие деньги? Берите так! Только поставьте на ноги, а там... по гроб обязан буду!

Кольцова отнесли в палату, и старик решил пройтись по селу, поискать ночлег, да и голод давал о себе знать.

Шкурки норок продал он краснощекой разодетой молодухе, небрежно, даже как-то брезгливо сунувшей ему три сторублевки. На эти деньги старик решил снять угол у какой-нибудь сердобольной старушки да подкормить больного, знамо, на больничных харчах не заяруешь.

Шел старик с Найдой вдоль улицы не спеша, заглядывал в магазины. Зашли даже в магазин детских игрушек, и старик

был поражен, чего там только не было: и машины тут, и танки, и самолеты, а ружья совсем как настоящие, двуствольные, с курочками... Его дети обходились машинами из чурбачков, свистульками из глины.

Посидел в маленьком зале станции. Две лавки занимали цыгане. К молодому цыгану подходили местные парни и мужики, шептали что-то, он кивал головой, окидывая зал взглядом черных выпуклых глаз, и шел за ними, предварительно порывшись в узлах. Цыганята развлекались как могли, они гонялись друг за дружкой по лавкам, катались по затоптанному полу, визжа от восторга, а когда им надоедало это занятие, они шли по рядам с протянутой рукой. Отдельно от всех на узлах лежали юные цыган с цыганочкой. Цыганочка была такой привлекательной красоты, что редко кто проходил, не обернувшись. Она нежно перебирала тонкими пальцами густые волосы дружка и что-то шептала ему. Он снисходительно, с полуулыбкой говорил ей тоже какие-то слова, отчего красавица тихо смеялась.

Пожилой цыган сидел молча и, казалось, его ничто не интересует, он сам в себе, сам с собой, а окружающие — безликие тени. Понаблюдав за ним, старик понял, что цыган, как сторожевой гусь в стае: все видит, все слышит, его врасплох не застать.

Проходя мимо милиции, старик увидел на деревянном щите, прямо у дороги, объявление о розыске особо опасных преступников. Старика, как магнитом, притянуло к этой доске. Глянул и схватился за голову.

— Господи! Что я наделал! — в ужасе зашептал он. — Я же, старый дурак, погубил его. Так и есть, это он! "Кольцов Андрей Захарович. 32 года, рост 182, лицо овальное, продолговатое, лоб высокий, чистый, глаза серые, брови дугообразные. Особые приметы: при разговоре поджимает нижнюю губу..." Вот тебе и поджимает. Доподжимал. Теперь его каждая собака в этой запупеновке опознает и продаст за червонец...

Понимая свое безвыходное положение, старик впал в отчаяние, приуныла и Найда, чувствуя горе хозяина.

Обшарпанная столовка, куда для обдумывания плана

спасения беглеца направился старик, была полупуста. Есть не хотелось, но взял он, что все брали, да другого там ничего и не было, щи из квашеной капусты и два гуляша со слипшимися макаронами, оба для Найды.

Время тянулось медленно, а план не созревал, в любом его варианте просматривался плохой исход: или смерть, или тюрьма.

Тупо уставившись в замызганное окно, старик различал уныло бредущие серые фигуры прохожих, лица у всех были какие-то общие, как печати, безразличные ко всему. Ну хоть бы кто из них засмеялся, запел, улыбнулся хотя бы, иль, рванув по-русски на груди рубаху, заплакал бы пьяно, навзрыд.

В закутке столовой, спасаясь от стужи, стояла старуха-нищенка. В ее сухой, по-крестьянски крупной узловатой руке зажато несколько медяков.

Старуха, устав, робко присела на краешек стула, поближе к батарее, огляделась и потянулась к кусочку недоеденного кем-то хлеба. Тут же коршуном на нее налетела уборщица.

— А ну, убирайся отсюдова! — закричала она на старуху, размахивая грязной тряпкой. — Расселась тут, попрошайка!

Старуха не спешила уходить, но и отвечать на крик вздорной бабы тоже не стала.

— Встань со стула, тварь ты этакая! — задергала уборщица за спинку стула.

Старик через весь зал направился к уборщице, Найда, навострив уши, двинулась за ним.

— Ты чего тут разбушевалась, как море в умывальнике? — наклонился он к маленькой, толстой уборщице. — Она что, тебе мешает? Она что, место просидит? Или она в твой дом пришла? Смотри, не оказаться бы тебе на ее месте.

Уборщица, опешив от неожиданности, долго молчала, она не могла понять, почему это заступаются за какое-то ничтожество. Но хамство как всегда возобладало.

— А ты, хрыч, помолчи, не то и тебя с твоей псиной попру! — перекинулась уборщица на старика. Найда заурчала, угрожающе оскалив клыки.

— Дура ты безголовая, — сказал беззлобно старик, взял за

ошейник Найду, и они вместе вышли на морозный свежий воздух. Следом вышла и старуха.

— Не надо было тебе встревать, — плачущим голосом заклекотала она. — Я к этому привыкла, а тебе лишнее... Пускай их...

После обеда старик побрел в больницу, в руках он бережно держал грубый бумажный кулек с самым дорогим, какое было в магазине, печеньем. Какое-то гнетущее беспокойство охватило его, как только переступил он порог. Найда, взвизгнув и потоптавшись, присела у крыльца, с тревогой заглядывая всем выходящим в глаза, как бы спрашивая: ну, как там мои? Проходя коридором мимо палат, старик прислушивался к звукам и вздрогнул, когда перед ним внезапно распахнулась дверь.

— О, хорошо, что вы пришли, — сказал врач, — а то уже хотели идти искать.

По голосу можно было догадаться, что врач не собирается пока отдавать деньги и что надежды на хорошее можно оставить. Так оно и оказалось. У кровати Кольцова стоял милиционер, другой, у окна, подложив папку, что-то писал.

— Вот тот гражданин, что привез больного, — заявил врач, придерживая старика за рукав тулупчика, и весь его вид говорил при этом: смотрите, и я заодно с вами. У нас тут все строго по закону. Беседа была недолгой. Взяв нужные показания, офицер, что писал у окна, дал расписаться старику, сложил бумаги в папку и, не попрошавшись, вышел, оставив в палате сержанта.

Старик с болью посмотрел на вновь арестованного Кольцова, так и не успевшего ко дню рождения со свечами, не прячась смахнул набежавшие слезы. Его попросили выйти. Оставив на тумбочке пакетик с печеньем, старик глянул на Кольцова, опутанного трубками от капельниц и кислородных подушек и, мысленно простясь с ним, зашаркал ослабевшими ногами к выходу.

В полночь старик проснулся оттого, что завыла Найда в выстывшей прихожей. Укрыв ее тулупчиком, старик сел на скрипучую кровать и уставился на холодно-голубую луну.

Спать не хотелось, лезли разные мысли. С каких сторон ни рассматривал он свою жизнь, все получалось не в его пользу. Выходило, что ему и таким, как он, не светило ничего, кроме изнурительной работы, болезней, грязной робы, пьяных драк, тюрем, презрения...

Утром, чуть свет, не попив и чаю, старик заспешил к больнице, в трех шагах. Принюхиваясь к плывущим из печных труб запахам, брела Найда. На долгий звонок вышла дежурная сестра, не та, что была вчера, другая, молодая и красивая.

— Как там в пятой палате... мой? — задыхаясь от волнения, забыв поздороваться, спросил старик.

— А вы какое отношение имеете к нему? — как-то странно посмотрела на него сестра.

— Я, я привез его сюда, к вам, — заглядывал старик в глаза сестре, еще надеясь на утешительную весть.

— Умер на рассвете, — услышал он. — Перед смертью говорил о каких-то свечах и спрашивал Афанасьевича или Артемьевича. Это вы, наверное?

Пришедшие утром в больницу видели на порожках крыльца сгорбленного, в ветхом тулупчике старика. Он беззвучно плакал, спрятав лицо в большие ладони, рядом сидела и беспокойно заглядывала ему в глаза лайка.

Запасшись кое-какими продуктами, с рассвета старик покинул село. Брел медленно, подолгу не делал привалов, на коротком отдыхе съедал кусочек хлеба с мясом и брел дальше, вверх по дымящей наледью речке.

Зимовье встретило его родным запахом. Тепло жаркой печки вернуло его к прежним заботам. Захотелось сейчас же пройтись хотя бы ближним путиком, проверить и наладить плашки, кулемки, собрать добычу. Найда крутилась у ног, ей тоже не терпелось броситься в лес. Но вышли они только утром, когда солнце висело над лесом.

— Заленились мы с тобой, — попрекнул старик себя, а заодно и Найду. — Вона где солнышко-то!

Трофеи, как и думал старик, были не обильные. Долгая непогода сделала свое дело. Все позанесло снегом, посрывало

насторожки, а тушки зверьков были попорчены птицами и грызунами. Около наполовину склеванной норки остановился охотник, долго глядел на бедное животное, и тут же перед его глазами возникла полнотелая брезгливая женщина, купившая у него, не торгуясь, шкурки. И стало ему невыносимо жаль и загубленных сытым на потребу безобидных зверьков, и себя, волею судьбы ставшего губителем, и беглеца-арестанта Кольцова, ясно видевшего цель своей жизни, но так и не достигшего ее, и того неизвестного кандальника, путь которого оборвался в этих диких местах...

Старик повернул обратно по следу, поснимал насторожки, а наживку развесил по кустам — пусть подкормятся малость пичуги. Не заходя в зимовье, завернул к могиле у боярышника, смахнул снег с сиротливо притулившейся к кресту лавочки. Куст алел кровавыми капельками ягод, на снегу под кустом чернели соринки коры и семян. На перекладине креста неподвижно висело железо кандалов, а сам крест успел потемнеть и потрескаться.

— И ты стареешь, — кивнул старик. — А когда совсем дряхлым будешь, кто тебя заменит? Кому ты будешь нужен? Никому ты не будешь нужен. И меня здесь не будет. Такие, брат, пироги. Покидаю я вас, так уж получается, не корите меня.

Где-то рядом настойчиво долбил дятел. Изредка с веток сползал и мягко шлепался на землю подтаявший снег.

— Вот, кажись, и все, — старик глянул на Найду. — Что дальше-то делать будем? — спросил он ее. — Молчишь? Тебе что, тебе бы по лесу шастать. А мне-то как быть? Кому мы с тобой нужны? Может, того, а? Сосед зароет, ты к нему сбегаешь, а? Если б он сразу пришел, а то ведь и не догадается. Как тогда быть? Гнить-то незарытым — не по-христиански.

Дятел подлетел совсем близко, уселся на здоровое с виду дерево и давай его долбить. Дробь звуков понеслась по холодному лесу.

— Пойдем к людям, как Андрюха советовал. Может, они и не так плохие, как нам с тобой показалось.

Два дня собирался старик: то складывал свой скарб в рюкзаки и сумки, то опять раскладывал. Прозрачно-яркая светила луна. Тишина смертельная обволокла все вокруг. Только под утро на речке глухо, раскатисто рвануло и опять, как в могиле. Поднялся он затемно. Не торопясь растопил печку, поставил чайник и чугунок с водой. Пока закипала вода, собирал сумки и рюкзаки в который уже раз. Плотно позавтракали они с Найдой, и старик принялся начищать золой посуду. Всю посуду, кроме старого медного чайника, оставил он на прибранном столе, припасы же подвесил к балке, подальше от прожорливых грызунов. Чайник с подвязанной к ручке крышкой приторочил к рюкзаку.

Загружена волокуша, крепко увязано добро, заколочена жердью дверь. Посмотрел старик долгим, невидящим взглядом на зимовье, на лес, на дымящую речку, провел шершавой ладонью по глазам и бороде, проглотил ком, застрявший в горле, присел на поклажу. По обычаю.

Прибежала Найда, и старик усадил ее рядом.

— Ну, куда лыжи навострим? На Юг? На Север?

Найда не понимала старика. Вдруг она вскочила и развернулась в сторону речки. Повернулся, не подымаясь, и старик. Яркое солнце било в глаза, старик приложил козырьком ладонь и увидел, как вдоль круто нависшего берега, по льду, сильно хромая и опираясь на палку, брел человек.

Дойдя до тропы, человек остановился в нерешительности...

1995, Минск

Владимир Лазарев

МАТУШКА ЛИДИЯ

(*Невыдуманный рассказ*)

С матушкой Лидией я познакомился в 1992 году, хотя видел ее многажды: монахиню в черном одеянии, в черном платке до бровей, с белеющим припухлым лицом и как бы отсутствующим взглядом продающей иконы и свечи в Храме Преображения Господня в Переделкине.

Тяжелокаменный древний храм дониконовской поры, с многоцветием башенок, с золочеными куполами, поставлен в XV веке боярами Колычевыми. Под низкими, угрюмоватыми могучими сводами его трепещут свечи, и кажется, прочно хранится давняя-давняя жизнь. Тесноватый каменный покой храма оконтурен многими дугами. Под одной из них, сразу как войдешь слева — церковная лавка: в ней "за ящиком" — матушка Лидия.

Светлым теплым осенним вечером, войдя в храм и бросив взгляд в сторону открытой лавки, я неожиданно для самого себя впервые подумал: "Вполне возможно эта монахиня помнит Пастернака..."

Я поклонился ей и представился. Она неожиданно легко и приветливо отозвалась:

— Как же, Пастернак!.. знаю... в церкви его не помню... Нет, не помню.

— А как отпевали его, случаем не помните?

— Мы и отпевали, только не в церкви, а тайно, на дому, отец Иосиф, тоже теперь покойный, царствие ему небесное... И мы с матушкой Ксенией...

Тут к монахине стали обращаться прихожане, кто свечи просил, кто иконку, кто календарь на следующий год. И мы

условились встретиться в другой раз, специально поговорить, а матушка Лидия к тому разу приготовит, напишет все, что помнит о тех далеких днях.

Потом несколько раз я звонил из Москвы в храм, справлялся, написала ли? "Еще никак не соберусь, времени все недостает", — звучал в телефонной трубке далекий, гулкий, как бы с холоду, голос матушки Лидии. В следующий раз точно такой же разговор. Наконец, порадовала, что заканчивает писать и готовится уехать куда-то на неделю, а листки для меня оставит у казначея Валентины Николаевны, у нее и спросить... Однако через две недели выяснилось, что у казначея эти листки куда-то запропастились и мне надо непременно приехать и все со слов матушки Лидии самому записать.

Еще недели две прошло, пока я собрался. В это самое время в Москву на несколько дней прилетела Лена Даниельсон, сотрудница архива Гуверовского института при Стэнфордском университете. Я обещал ей показать Переделкино (о котором она много слышала, но ни разу не была), сводить в Дом-музей Пастернака и на могилу поэта. Лена была занята с утра до вечера на открывшейся в московском Белом Доме на высоком правительственном уровне — и потому труднодоступной — выставке документов по истории русско-американских деловых связей. Выставку посещали депутаты, ответственные чиновники правительственных учреждений и крупные новоявленные бизнесмены для расширения кругозора... Лена договорилась со своими коллегами и с радостью вырвалась на полдня из этих плотных слоев казенной деловой атмосферы — хлебнуть свежего подмосковного воздуха. Пригласил я с нами в поездку и давнюю мою знакомую Римму Павловну, библиографа и краеведа из Книжной Палаты, певшую многие годы и сейчас поющую в разных церковных хорах. Мне показалось, что именно в таком соединении и Лена будет словоохотливее.

День нашей поездки — четырнадцатое ноября — был в Москве на редкость сырым. У Киевского вокзала мокрая толчея, грязь, хлюпает вода под ногами. Но это был один из тех дней осени-зимы, когда в городе дождь моросит и все серо-

коричневое, а в Подмосковье, даже близком, лепит снег. Талый, но снег. И вокруг бело: хоть и подтаивают, оплывают, но снега лежат.

День в эту пору узок, быстро смеркается. И мы, поспешая, втиснулись в битком набитую народом отходящую на Калугу электричку. Лишь за две остановки до Переделкина моим спутницам удалось присесть в разных местах душного вагона. А когда надо было вставать и протискиваться к выходу, Лена, доставая платок, рассыпала деньги, металлические и бумажные. Сидевшие рядом с ней диковатого вида парни неожиданно бросились помогать ей поднимать с полу доллары и засовывать их ей в руки, в расстегнутую сумку. Она растерянно моргала блестящими черными глазами и, протискиваясь к выходу, повторяла: "О'кэй... О'кэй... Спасибо". Толпа выдавила нас на скользкую платформу, в летящий снег, и было приятно вдохнуть талой свежести.

Когда уже показались купола храма и мы узким проходом меж каменных и деревянных построек проходили к нему, Римма Павловна неожиданно сказала приглушенным певческим голосом, с трудом снимая врожденное полнозвучие: "Подумать только, ведь совсем недавно ходить в церковь боялись, стыдились... я и дочь свою Анюту тайно крестила за тридевять земель от Москвы и скрывала, что пою в церковных хорах... Да и с именем моим комедия вышла: одна высокопоставленная дама — царствие ей небесное, когда я родилась, говорят, спасла меня от смерти. Роддом не отапливался, я сразу же заболела крупозным двухсторонним воспалением легких, и эта дама помогла перевезти маму в лучшую правительственную больницу. Меня там и выходили. Несмотря на жестокие годы, голодные, я явилась на свет крупным младенцем и, сказывают, очень нравилась этой даме. Все приезжала смотреть на меня. Она и просила Риммой назвать, просьбу ее уважили, назвали. В метрику вписали. А бабушка тайком меня Варварой окрестила, по ближайшей к моему дню рождения святой великомученице, — и она хохотнула округлым стесняющимся смешком. — Вот и ношу имя Римма, а за ним, точно фреска зарисованная, мое первоначальное имечко

Варя... и, знаете, откликаюсь на Римму, а в глубине своей чувствую то, другое имя, не расчищенное, сокровенное..."

Мы подошли к храму. Он был закрыт. Я нажал кнопку дверного звонка. Девичий голос из-за тяжелой двери, узнав, кого нам надобно, велел идти к воротам церковного двора. Они тоже оказались запертыми. Мы некоторое время постояли возле них, немного левее храма. И его мощное, витое, несколько варварское многоцветное великолепие, напоминающее Храм Василия Блаженного в Москве, косой громадой поднималось над нами. Гулкие, холодные вороньи крики, старые черные деревья и сырой летящий снег обступали эту громаду.

Минут через пять девушка в легком халатике, выйдя из храма и пробежав по двору, открыла нам ворота. А слева от каменного одноэтажного дома уже шла нам навстречу, торопилась, улыбалась матушка Лидия, вся в черном. Она провела нас через холодные подсобные помещения, где плотничали два мужика и пахло свежей стружкой, — вовнутрь храма, в пустынную, тихую, полуосвещенную гулкую обитель. Две женщины проводили легкую, влажную уборку помещения перед вечерней службой; половые щетки бесшумно скользили по древним каменным плитам, стирая следы сиюминутного праха, упавшего с подошв. Приятно было это прочно отгороженное, защищенное толстенными стенами прохладное затишье, с церковной утварью, смутно поблескивающей, с темнеющими в полуосвещении иконами.

— Давно ли служите в этом храме? – спросил я монахиню.

— Пятьдесят лет, батюшка.

— С военных лет, значит?

— Да, да, с того лихолетья... Я не здешняя, ярославская. Даниловского района де-ревня наша Мельниково. Я еще с довоенных лет сирота. Лишний рот, да еще в худое время! Голод был лютый, чтобы не пропасть, пришла сюда. От знакомых, дальних родственников своих узнала, что здесь служки нужны. Они и присоветовали...

Мы решили разместиться в правом углу храма, на длинной деревянной лавке. Матушка Лидия принесла малый столик

для записи. Я бросился помогать ей, перехватил столик, но он оказался неожиданно легким, как перышко. В это время подошла казначейша церкви, а по-советскому, бухгалтер, Валентина Николаевна, миловидная, еще далеко не старая женщина в очках, с мягким приятным голосом. Глаза за стеклами очков не без лукавой приглядки.

— Вы часом не поете? — поинтересовался я.

— Неужели заметно?

— У вас голос такой, певческий.

Тут они с Риммой-Варей просияли друг другу: обе певчие. Стали говорить, кто в каком хоре и когда пел. Нашли общих знакомых. И кончилось это все тем, что спели несколько молитв, первую: "Богородице Дево, радуйся, Благодатна Марие, Господь с тобою, благословенна ты и в Женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родили еси душ наших..." Матушка Лидия присоединилась к ним, стесняясь заморгала глазками-щелками на белом припухлом лице, сказала как бы извиняясь: " Я не певчая, но с вами спою". И чувствовалось, что ей приятно разделить с ними пение, точно разделить трапезу. Словно черная непевчая птица, потянувшаяся к двум певчим. Пели они в каком-то особом согласии чувств, но не голосов. Пели негромко, тепля пространство. И Римме-Варе приходилось смирять свой сильный звучный голос. У нее действительно замечательный голос; когда она пела в церкви Ильи Обыденного, ее всегда отмечал и любил ее голос Патриарх Пимен (в миру Сергей Извеков, который тоже когда-то в молодости хорошо пел), часто служивший в этом московском храме по пятницам акафист иконе Божьей Матери Нечаянной Радости. Молодое лицо Риммы-Вари (приглядываюсь к ней и начинаю понимать, насколько больше, чем Римма, подходит ей имя Варвара) одновременно веет и древней Русью. Правильной крупной лепки лицо, с большими светло-серыми глазами очень уж соответствует каменному древнерусскому многоцветному храму. Вокруг темных зрачков поющий радужный ореол, словно бы излучающий пение. Даже если Римма-Варя молчит, глаза ее продолжают петь, придавая необъяснимую странность ее лицу.

Безыскусно, даже как-то по-домашнему, звучало под каменными сводами это неожиданное, без предварительных наметок пение. И тоненький, простоватый голосок матушки Лидии, точно перебивающийся ручеек, текущий из голодного бедного ее детства, присоединялся к голосам казначейши и Риммы-Вари. Когда кончилось пение, монахиня опять виновато проговорила: "Я не певчая. Вы уж простите... Это так с вами заодно."

И смутясь, тотчас передо мной повинилась: "Я ненароком вам записи не торопила, на Валентину перекладывала. Грех на душу взяла... я это не очень могу, то есть совсем даже не могу... рассказать могу, как сейчас все помню, а другой кто-нибудь чтобы записал".

Я скорее не увидел, а почувствовал восторг и сияние глаз американки. Поняла ли она, к какой затаенной жизни другой страны случайно прикоснулась, что перед ней раскрылось? Из-за какого-то верного схода людей в подмосковном храме высеклась драгоценная искра древней жизни, которая не всегда высекается, поняла ли это Лена?

В теплоте взаимного добра, рожденного пением, естественно было и речи начаться, раскрыться створам души, давно, должно быть, не раскрывавшимся.

Я раскрыл тетрадь, положил ее на тот самый легонький, как перышко, но весьма устойчивый столик, и стал записывать за матушкой Лидией.

РАССКАЗ МАТУШКИ ЛИДИИ

"Я, монахиня Лидия, в миру Любовь Алексеевна Костина, родом из деревни Мельниково, Даниловского района, Ярославской области. В Храме Преображения Господня, что в Переделкине, служу пятьдесят лет.

Лет тридцать назад, а то и более, весной, помню, май уже за середину зашел, ночью постучал кто-то. Я готовила на кухне. Пошла открывать дверь. Смотрю, молодой человек стоит, просит, если можно, поехать с ним его отца причастить. Я заторопилась, к батюшке Иосифу, он у себя в сторожке от-

дыхал уже. Сказала ему. Он собрался быстро, и отправились мы на требу, на машине, к умирающему. Быстро приехали. В доме мы прошли через большую комнату к нему. Постель его сразу слева была. Голова седая. Сам без движения лежит, а рука движется. Говорил шепотом, слабо. Взглядом осмысленно повел, посмотрел на меня. Батюшка попросил меня выйти. Исповедал его, причастил. Сказал громко, войди. Мы пропели "Отче Наш" и несколько других молитв. "Вечери Твоея тайные днесь, Сыне Божий, причастника мя прими" и "Во всю Землю изыди вещание Твое, яко приемшего Слово Твое".

Все были напуганы в доме. На улице темнота, шевеления какие-то. Даже на нас напало чувство страха и угнетения. Тогда нас, церковных, снова не жаловали, поветрие какое-то недоброе пошло, по-пустяшному придирались... А умирающего отступником и великим ворогом советской власти называли, на каждом углу поруганию предавали. А мы, значит, тоже преступили, коли к нему пришли. Вроде бы тоже контры тайные. К тому же наш священник, отец Иосиф, семнадцать лет в ссылке в Сибири отбыл.

Через неделю приехал к нам тот же молодой человек и повез нас отпевать страдальца. Но опять ночью, тайно. В церкви родные не стали отпевать. Боялись что ли, или церкви сторонились? Такого огромадного страху сверху накатили... Причащали мы его, значит, и отпевали. А соборовать в последнюю дорогу не соборовали. Сил у него на это, видать, не было.

Отпевать его поехали втроем: отец Иосиф, я, и на этот раз была с нами матушка Ксения. А она на десять лет раньше меня в храм пришла.

Ночь... Машин, помню, возле ихнего дома много было. Посмотрела, людей нигде не видно. А чувствуется, что где-то есть люди. Жутко. Поздно ночью отпевали в гостиной. Помню шепот, тихо говорили... Свечечки горели на столе. Высоко лежал. Лицо успокоенное, беленькое-беленькое, как тряпочка, как белье белое. Лицо приятное, хорошее. А волосы лица белее: белые-белые. Потому что, наверно, вкусил издевательства. Сколько людей честных мучают!

Минут сорок отпевали. Мы с Ксенией пели потихонечку, отцу Иосифу подпевали.

Повезли нас обратно домой. А мы между собой говорим: "Батюшка, а за что такие на него гонения?" Отец Иосиф и объяснил нам: "Написал он книгу "Земная жизнь Спасителя". И эта книга пошла за границей и по всей Земле-матушке. И через это на него пошли гонения".

Неделя миновала, и в храм к нам пришла милиция. Меня и еще одну монахиню Нонну позвали и давай нас стращать, мол, вышлем вас отсюда, вы здесь не прописаны. Матушка Ксения местная. А мы с Нонной пришлые, вот они в отместку за тайные службы у страдальца тиранить стали, хоть Нонна в этих службах участия не принимала... Без конца вызывали в милицию, сюда приходили, издевались: "Уезжайте, и все тут". А куда ехать-то, у меня в родной деревне жилья нет. "В Ярославль, — говорят, — езжайте, там пристроят". Я потерялась было. А Нонна, она бойкая: придем в милицию, она "Жития Святых" положит на колени и читает. "Вы, — говорит, — работаете, и мы работаем... Вы — для народа, и мы для народа!" Бойкая, молодчина такая. Отвязались они, наконец, от нас.

Когда же на требы с отцом Иосифом ходили, встречные, незнакомые иной раз полоснут темным взглядом и жестоко так: "Ходите все?.. Вас еще не расстреляли?"

Вот все, что помню про те дни."

Она вздохнула и поставила корявую, плохо разборчивую подпись под текстом, мною записанным, "Костина". Я добавил, что записано со слов монахини Лидии 14 ноября 1992 года в Переделкине, в присутствии Лены Даниельсон, сотрудницы архива Гуверовского института (США); Р. П. Власовой из Российской книжной палаты; В. Н. Огуреевой, казначея Храма Преображения Господня.

— Матушка, кто-нибудь кроме меня записывал этот ваш рассказ?

— Никто и никогда, – ответила она. — Да и что в нашем рассказе выищешь. Простое.

Мы еще поговорили обо всем этом все вместе. Не всуе, а как бы обсудили сердечно треклятую нашу жизнь с ее ухабами и поворотами. Лена просила говорить медленнее и отчетливее. Она изучает русский язык и, если так говорить, многое схватывает, понимает. А когда смысл ускользает, так мило, растерянно сияет карими глазами, улыбается широко... И понятно, что надо повторить. Она благодарно, быстро: "Спасибо, спасибо! .. О'кэй". Ладонь у нее маленькая, аккуратная, крепкая. Жест экономен, точен. Вся она — как-то разумно-энергична. Предметы, листки бумаги, когда берет их, держит приятно, легко, но и надежно, Правда вот, и деньги при случае, в мгновенном ослеплении рассыпать может, как в электричке... У Риммы-Вари, напротив, жест широкий, вспыльчивый, неосторожный, поющий какой-то; она, бывает, рукой поводит точно крылом помавает. Это в нашей скудной, корявой жизни иной раз и раздражает. Но очень подлинна, натуральна. И приветлива. Обе они вместе, в сочетании, непроизвольно возбуждают в душе некоторое чувство юмора, живостью своей как бы присаливая происходящее.

— Во всей жизни ни одного лоскута радостного, — вздыхает матушка Лидия. Разве что свет Божий. Хотелось бы пожить спокойно, да нет возможности. Прогнать меня хотят с моего места.

Мотив этот возник неожиданно и резко, сразу же, как только казначейша Валентина Николаевна ушла.

— Не нужна я стала, — продолжает монахиня. — Вот матушка Ксения дольше меня в храме, шестьдесят лет, почитай, а и ту отставили. Службу хорошо знает, да характер у нее, у нас говорят, тяжелый... неугодливый, значит, неподатливый. Теперь она сюда как прихожанка только и приходит, и то редко... Все больше в Федосьино ездит, хотя туда ей дальше добираться, в тамошнюю церковь, недавно открыли... Она-то хоть здешняя, а мне куда деваться?.. Прости Господи...

Лицо ее вдруг приходит в движение, морщится. И она начинает плакать, бесслезно, неутешно, коротко.

— Ну что вы, что вы, матушка?!.. Как же так?! Не сделают они этого, — говорю, растерявшись.

— Сделают, — уверенно кивает она головой. Обязательно сделают.

— Нет-нет, матушка, помолитесь крепче, а мы заступиться попробуем... постараемся, — вспыльчиво и с большой энергией говорит Римма-Варя. И такая правда в ее голосе, убедительность, что чувство неприятности от всей этой истории отпускает сердце. А матушка Лидия по-детски, с детской надеждой, проясненными сразу глазами смотрит на нее.

Перед тем как нам уйти, Римма-Варя ведет американку в глубину затемненного храма, к иконам, к алтарю, что-то объясняет ей. Нам с матушкой Лидией не слышно.

— Отец Иосиф чуткий ко всякой душе был, — говорит матушка, — потому, как сам страдалец...

Мы не простились с ней, сказали, что после Дома-музея поэта еще зайдем на обратном пути. Как раз служба будет идти.

На улице по-прежнему беспорядочно шел неприятный мокрый снег, лепил. Вдруг резко прекратился, и ветер утих. Дорога была скользкой.

Лена по указанному направлению идет первой. И хотя никогда здесь раньше не бывала, идет отважно, весело. Маленькая, ладная. Левый сапожок чуть скособочен, каблук слегка стоптан.

Свернули на аллею, ведущую к дому. Воздух вокруг черных стволов и ветвей, вдали и над ними, стал ощутимо подсиниваться. Синеющим стал, несколько лихорадочным, сырым, пылающим, струящимся вверх, нестеровским, чреватым видениями.

Обширнейшее пространство двора, с несколько отчужденным, темно-коричневым, высоким двухэтажным домом, как бы незамысловатым зáмком, с уходящими в глубину готическими елями за ним, очаровывает своей графической определенностью. Резко отличается от соседних глухих, запущенных, с неубранным валежником участков, принадлежащих ныне здравствующим литераторам. Совершенно иное пространство.

Перед глазами возникла не видимая моим спутницам и

хорошо знакомая мне живая проработанная почва пастернаковского двора; сада-огорода, сохраняемого постоянными усилиями ландшафтного архитектора Ольги Николаевны, часто приезжающей сюда из Москвы. Золотисто-светящиеся тыквы, огурцы, брюква, ботвистая свекла... Яблони, обсыпанные яблоками. Вся эта языческая чувственная плоть флоры, проросшая в поэзии Пастернака, и по-своему воплощенная во внешнем облике храма, в котором мы только что были.

Внутренние объемы дома строги, простолинейны, полны воздуха. На первом этаже синеватость пастелей Л. О. Пастернака, отца поэта, созвучна с заоконной, еще светлой, вечереющей синевой. Кабинет наверху еще более воздушен, аскетично пустоват. Простая одежда: плащ, кепка, сапоги, свидетели полевых прогулок и огородных работ. Небольшое количество книг. Неожиданно открытое, без единого предмета, свободное пространство стола. На закрытом секретере — фотография Дж. Неру с дарственной надписью поэту. Великий индиец протянул руку помощи Пастернаку во время громокипящей травли поэта в СССР.

Нигде, ни внизу, ни наверху, — ни одной иконы, что очень удивило Римму-Варю. Старинная массивная Библия стоит на полке среди книг, а икон нету. Всегда чтили православные праздники — Рождества, Крещения, Пасхи, соблюдали посты и т. д. в семье Пастернака неукоснительно, но образов, говорят, не держали ни здесь, ни на городской квартире. Усеченная жизнь христианина. Были годы, когда за иконы и расстрелять могли. Тогда у многих верующих, принадлежащих высокому слою советской интеллигенции, икон в доме не увидеть было: боялись, таились от своего же брата интеллигента-атеиста, законодателя молвы: увидит образ, покривится... Сейчас, напротив, охотно держат дома иконы, даже зачастую неосвященные, даже купленные в табачных киосках. А тогда иконы только у самых простых людей открыто висели, то есть в самых низах церковного народа, у чернушников, как говаривают, в деревенских избах; поблизости от почвы сберегались, жили.

В переделкинском доме поэта ощущается культ его отца-художника: всюду его работы, зарисовки, автопортреты... Дух Леонида Осиповича витает облаком смягченной радующей синевы и устойчивости жизни... Сочувствующая страданию жизнь, которая сама находится за пределами страдания, омытая теплой воздушной волной.

Никого из экскурсоводов уже не было, и сопровождала нас по дому Марья Григорьевна, пожилая женщина, обычно сидящая у входа и продающая билеты, книжки, буклеты. Ее несколько наивный, полный взволнованной влюбленности в Пастернака рассказ был по-своему прекрасен. "Борис Леонидович, — сказала она, — отсюда, из окна своего кабинета всегда мог видеть Храм Преображения Господня, так же, как из своей городской квартиры Храм Всех Скорбящих Радости".

Лена обожающе смотрела на нее, и по лениному вниманию к предметам обихода, по некоторым ее вопросам, я понял, что она, наверное, рукодельница и любит жизнь в доме, бытование. Потом уж услышал от хорошо знающих ее, что она ровно, прочно ведет хозяйство, играет на пианино, и в ее доме, неподалеку от океана, много личностного, "нестандартного" — вышитые ею скатерти, салфетки дышат свежестью и чистотой...

Римма-Варя слушала рассказ нашего добровольного экскурсовода молча. Долго стояла в комнате, где Борис Леонидович скончался, у изображения поэта на смертном одре, сделанного Иваном Львовичем Бруни, с которым она хорошо знакома. Когда-то они оба увлеченно занимались историей древнего Козельска, знаменитой его обороной 1288 года, восстановлением тамошних памятников старины, часто ездили туда... У Ивана Львовича такой же портрет дома, — негромко заметила она. — И, кажется, тот сильнее...

Меня на этот раз более всего зацепили клавиры в комнате, где стоит рояль. Молча звучащие нотные знаки. Я подумал, что несмотря на все воздушное многоугольное многообразие пастернаковских объемов-жанров (какое-то воздушное косноязычие, воздушная неуклюжесть, что ли?) ему, наверное, ближе всего была сонатная форма, сонатность даже — в

романе!.. И, быть может, свойственна слишком большая чувственность переживания мгновения. (Это и в себе замечаю с отвращением. О, эта страшная болезнь духа! Да, да, самолюбие мгновения, столь любезное для слабодушия и столь несвойственное для мужественных натур.)

Странно, но в это короткое посещение дома я ощущал присутствие милой сердцу, добрейшей, легкомысленно-отважной Ольги Всеволодовны Ивинской и основательной, многотерпимой хозяйки дома Зинаиды Николаевны, и — вовсе далекой от всего этого мира интеллектуальных пиров, духовных и жизненных драм матушки Лидии, которая в ближнем храме продает сейчас свечи и которая ничего не знает про "Доктора Живаго", а думает, что Пастернак написал "Земную Жизнь Спасителя" и пострадал за это.

Обратно мы шли путем, которым когда-то несли из дома Бориса Леонидовича, то есть краем поля, дорогой.

Снег. Сырость. Синеющая влажность. Слева открытое пространство. Открытое небо.

...И в "Докторе Живаго", и в "Мастере и Маргарите" Михаила Булгакова, кажется, есть одно похожее, находящее отклик во многих душах: порыв к Христу, еще до-церковному, вне храмовых стен, еще не покрытому каменным куполом, а свободно творящему, идущему под открытым небом. Да, да, и вера в Воскресение, и исповедь, и покаяние, и причащение, и страстная молитва, но и неутолимая жажда сочувственно-ощутимой благодати Божьего существа, еще до-Воскресного, потянула миллионы людей смутного, искаженного, траченого безверием века к этим русским романам, в которых, пусть не сам Он, но обжигающий намек на это живое, животворящее. Тяга к первоначальной христианской истине, к ее свежести возникла задолго еще до этих романов у Бердяева и у других, ощутивших мыслью порабощение церковью нашей "миру сему" и прошедшей потом невиданный крестный путь. И весь церковный народ прошел, а может, и не прошел еще до конца великой гибельности искушения: воздав, воздавая "Божье" — "кесарю". Как бы всем миром нарушили Христову заповедь. И вот, открылись в этих романах, — подумал я, — оскорб-

ленным, зачумленным, диким, несчастным умам — пусть не сами изумительной чистоты заповедные источники, но хоть слабое их отражение, привлекательное незахватанной, запретной радостью и надеждой.

Возле автобусной остановки с мерзостно ободранной будкой, торжественно именуемой павильоном, два пьяных мужика колобродили, желая выяснить у всех проходивших мимо что-то невыяснимое. Сухой, козловидного вида интеллигент, с бородкой и в каракулевом пирожке, бросил неукоснительно-праведным тоном: "Эх, мужички, мужички! всю страну пропили, а все куражитесь!" Тут Римму-Варю, как всегда, задело, обожгло, обидело:

— Знали бы вы русского мужика!.. Наши русские мужики и бабы... ого-го! Дайте им только волю... — прокричала она и даже как бы запела каким-то страшноватым смешком.

— Ну-ну, — не поворачиваясь, отозвался сардонической струной Козлобородов. — Дали волю и свободу, и что?!.. Дали!

— Не дали, — прокричала-пропела Римма-Варя, — обобрали и провели! Снова и как всегда.

И тут она превратилась в синеющих сумерках подлинно в деву-обиду и восплескала гордые слова во славу русских людей и поруганной России, не стесняясь ни американки, ни прохожих, ни своего строгого, несколько державного обличья.

Когда в ней начинало звучать свое, невоспитуемое, неоконтуренное никакой логикой, сдерживать ее, как мне показалось, не следует. Сдерживать — распалять. Но гнев на милость быстро сменяется. Громы небесные враз стихают: как не бывало. И вообще характер у нее живописный, с какой-то ненормальной страстью забираться в самые запропащие, глухие углы Средней полосы, Подстепья, Русского Севера. Рассказывают, что в шестидесятые годы Римме-Варе предложили в какой-то деревеньке киот старинной работы под иконы, глянула она на киот и ахнула. И стала старикам объяснять, какой он чудной, редкой работы и стала уговаивать, чтобы никому не продавали, что вера вернется... И все вернется, и семейные реликвии надо хранить в доме. Хотелось купить, а уговорила не продавать. Есть в ней нечто, что

располагает к доверительной, долгой, возможно, не без тайной влюбленности, крепкой дружбе с ней разного рода московских чудаков, юношей, тронутых чудинкой, болезненных, ясноглазых, на грани юродства. И дружба эта что ни на есть серьезная, неподдельная, сродная. Но она не только их сродник, но и толмач их и защитник перед грубым народом, потому что у них вторая, жизненная, струна слабая, а то и вовсе оборванная, а у нее сильная, играющая.

Свернули мы через лужок на кладбище и вошли в его пределы. Пошел снег мягкий, белый-белый, утишный, доброго нрава, преукрасный. Первый раз такой — за всю прогулку. И от всех могил, оград, крестов родным повеяло, доброжелательным, совершенно нестрашным в сумерках. И вся кладбищенская непролазность сразу куда-то подевалась, спряталась, стушевалась. Утишный этот снег быстро кончился. Я повел своих спутниц по знакомым мне приметам к могиле Пастернака, протискиваясь по угору снизу вверх между оградами, прутьями, сквозь корявую ржавую дремучесть переделкинского кладбища, припорошенную сейчас милым снежком. Лена-американка так ладно, акробатически точно, ни разу ни за что не зацепившись, поднималась вслед за мной. А Римма-Варя как бы расталкивала эту тесноту, как бы отстраняла эту преступную неухоженность, похожую на неухоженность всей нашей жизни. По левую руку от нас, по всему угору, шла высокая мрачная сетка, отделяющая от общего кладбища довольно обширное пространство, принадлежащее Дому ветеранов партии. На этом участке хоронили исключительно старых большевиков и их жен. И если на общем кладбище теснилось какое-то прыгающее нагромождение жестяных, каменных, железобетонных столбиков, глыб, досок с фотографиями, бумажных цветов и увядших венков, деревянных крестов, голубых и зеленых оградок, то на отсеченном большевистском кладбище лежали ровными рядами низкие мышино-серо-бетонного цвета, совершенно одинаковые доски, одна к одной. И ни одного цветка не было видно на этой странной плантации смерти. Одно пепельное пространство. Нечеловеческим, жестким веяло от этого пантеона. Че-

рез сетку я заметил на двух-трех досках лишь даты смерти; даты рождения отсутствовали. Хоть что-то нарушало чудовищное однообразие! Было безумно жаль этих людей, отсеченных от всех прочих, своих же единородных — охранительной сеткой. Кладбищенское подобие спецхрана.

Большевистские захоронения подкатывали под самую площадку, где покоился поэт, его жена, младший сын... то есть располагалось фамильное захоронение. Площадка была просторной. Надгробный камень на могиле поэта — работы Сары Лебедевой — скорее вписывался в римский или парижский некрополь. Изящной простотой, избранностью дышит камень. Легкий абрис лица Бориса Пастернака, его лик в течение дня меняется от освещения. Лена, застыв, во все глаза смотрела на этот камень, на этот тонкий, кажущийся прерывистым абрис.

На верхней плоскости камня лежали несколько небольших яблок, одно свежее розовое, другое светящееся красновато-желтым закатным цветом, схваченное тонкой ледяной пеленой; третье поменьше — уже стекловидное, сморщенное, давнее. Почему-то ни одно из них не клевано птицами. А бывает, что лежат и клеванные; и просфорка лежит, тронутая птицей, и дешевые конфетки... Камешком прижата записка, на ней лиловые каракули: "Великому русскому поэту от учеников..." И — подписи тоже каракулями, полуразмытыми.

— Видите надпись: "Леонид Борисович", — указываю я Лене. — Это тот самый Леня, который приезжал тогда ночью в храм за отцом Иосифом и матушкой Лидией... Он умер от сердечного приступа совсем молодым. Вряд ли матушка Лидия знает, что он умер и лежит здесь. Жена его, вдова то есть, Наталья Анисимовна, теперь — директор Дома-музея Пастернака.

Мы постояли некоторое время молча.

— А я, будь моя воля, я бы не камень, а дубовый крест с иконой внутри поставила бы Борису Леонидовичу, какой мы недавно Володе Ларину ставили, — тихо заметила Римма-Варя.

Володя Ларин — это тоже русский поэт? — спросила Лена.

— Нет, архитектор, — отозвался я. — Правдоискатель... Его убили, фактически...

В храме начинали звонить. Шла служба. Мы пошли верхами, оставляя кладбищенские двери правее и ниже, и вышли на заснеженный, свободный еще участок, огороженный длинными лилово-серыми жердями и с задними кладбищенскими, закрытыми примитивными воротами. Такое место странноватое, еще без новопреставленных, – не большое и не малое, неправильной формы, вернее всего его пространком по-народному назвать можно. Такой снежный, нетоптанный пространок. За лилово-серыми жердями в отдалении — два широких воздушных сумеречных скоса: заовражный, белеющий, поднимающийся к поселку. И небесный, чуть темнее земного. Между ними огонек зеленый уже блестит, гуляет. Направляемся мы к воротам. И заокеанский человечек выхаживает рядом с нами, так по-свойски, запросто. И не зябко ему, и не боязно. Какой-то свой невидимый воз тянет, другое пространство чувствует, свое, заокеанское.

Но живет в этом пространке какая-то странноватая атмосфера, я ее ноздрями чую, беспокоиться начинаю. Рваные вороньи крики режут ближние сумерки там, за оградой, где белеет церковная стена. И собаки там лают, как тысячу лет назад, наверное, лаяли, как в древней жизни. Человеческих голосов не слыхать. Запах дыма тоже древний. Густой колокольный звон — невидимого храма. Будто белый камень сам по себе в сумерках звонит. Посеред пространка одна береза ветвями и веточками всеми вверх тянется. А там, наверху, такая бездонная серо-влажная муть завивается! Вот-вот снег оттуда и повалит. И так вдруг крутануло ни с того ни с сего снежную пыль, легкий прах закружился, но снизу — вверх: казалось, березу туда утягивает. Холодок меж лопаток пошел. Тут эта самая шальная искра и высеклась. Римма-Варя мимоходного Козлобородова вспомнила, ее как волной поддало, и с этим своим хохотком давай его костерить почем зря: "Надо же, нашелся... певец сумерек! И без него рана горит открытая... А он всем видимое как великую правду-откровение на раны сыплет и поворачивает, и поворачивает... Гордый такой, думает, глаза миру открывает. Самовосхищенец прокля-

тый. Сейчас Россию все унижают. Такое унижение идет!.. Не-е-ет, русские не нужны в России..." При этом она не жестикулирует. А все выражается в экспрессии ее голоса, в интонации. И отзывается на все, даже на то, мимо чего пройти можно, не услышать, равнодушно отвернуться.

Голос ее в снежно-гулком пространстве, красиво-глубокий, тоже был частью древней природной жизни, связан с птичьим граем, с колокольным звоном, завораживал и заводил и ее.

— А с экранов телевизоров что хлещет ежедневно? Развращение и совращение малолеток. В русских тоже болезнь сидит, ой-ей-ей, какая! Но уж развращение, это точно не от русских идет! Я это до боли сердечной чувствую. Вы думаете что? — звучал ее голос между двумя частями кладбища и оврагом, в окосах поля и неба с блуждающим огоньком, с одинокой березой, затягиваемой в темный небесный омут. — Вы думаете что, золотого тельца по полям пустили, и все себя до последней кишки в одночасье продавать станут, и родных своих, и близких, и тело свое, и душу?! Не-е-ет, многие смертные горюют. Невидимая Россия живет, вся кровью исходит... Мы не нужны здесь. Помню, Генрих Иванович Лаврентьев, царство ему небесное... бас, Константина Розова обожал, всю жизнь по церковным хорам пел... Я его в больнице навещала, а он и признался однажды: "Никому, Римма, не говорил, а тебе скажу, потому что знаю, ты поймешь... У меня инфаркт случился, думаешь, отчего?! За Россию сердце болит, все время болит, каждый Божий день, день и ночь болит... Скажешь кому, смеяться будут..."

Подошли мы к воротам, а они грубой ржавой проволокой, протянутой сквозь петли и перекрученной надвое, замкнуты. Я глазом пристрелился, чтобы ловче ухватить и раскрутить побыстрее, перед своими спутницами не осрамиться. Смотрю, сходу может и не поддаться. А уж Римма-Варя, долго не раздумывая, крупными своими белыми руками с легкой натугой враз расплела, развеяла концы, распахнула ворота. И уж словно не дева-обида, а дева-заступница стоит, смеется. "О'кэй, о'кэй!" — восхищенно вскрикнула Лена. И вышли мы из пустого кладбищенского пространка. У-ух!.. Сильна Варя!

Ну, да, да, я вспомнил: это по отцовской линии она — Обольянинова, а по материнской казацкого рода Бурцевых, приписавшихся к тульским оружейникам, зареченским казакам. Из казаков — в казюки проросли. Но казацкую вольную память берегли, и даже — одежду берегли, и утварь кой-какую. Крепкий двор в Заречье держали и дом свой промеж себя куренем называли, отличались от других.

Шел я со своими спутницами и думал, что Лене Даниельсон, наверное, в самую пору нынешняя американская жизнь. Трудно, свободно, по плечу. Римма-Варя, как и все мы, неудобной жизнью живет, тесной. Ей что-то другое под силу. И забавы ей, должно быть, другие по нутру; старые московские катанья с ледяных гор, например... Подхватит волна ее сани, до звездного неба дошвырнуть может, небесной свежестью окатить... Ей как бы все время не хватает воздуха, пространства: и она летит, вдыхает, вдыхает и, кажется, может вдохнуть столько, сколько и освоить не сможет. Искра в ней шальная, не дай Бог, и гибельной может оказаться. Она и преступить может, чувства ради. Лена не преступит: есть у нее в зрачках что-то такое. А Римма -Варя?.. Может, и преступила уже? И когда-нибудь обязательно на колени упадет. И много добра страстно сотворит, и в монастырь уйдет, и там не успокоится...

В храме шла служба. Потрескивали свечи. Теплилась жизнь. Матушка Лидия была при исполнении служебных обязанностей. Ее лицо с припушками век излучало радушие ко всем. Мы купили у нее свечи. И один образок Серафима Саровского.

Она, прощаясь, не всплакнула, как раньше в пустом храме. А у Лены при расставании — ей улетать через несколько дней — набежала было чувствительная влага в сияющих глазах, но она сдержала себя.

— Молитесь за нас, грешных, матушка Лидия, — сказала Римма-Варя.

— Господь храни вас, — отозвалась монахиня и наскоро перекрестила каждого.

По дороге на станцию Римма-Варя сказала, что на следующей неделе пойдет на прием к владыке Арсению, епи-

скопу Истринскому и викарию Московской епархии, просить за матушку Лидию, чтоб не вытолкнули ее в конце жизни на улицу.

— Но зачем? Кому она мешает, матушка Лидия? Стоит себе у ящика, в церковной лавке, велика должность?

— Эх, Владимир Яковлевич, Владимир Яковлевич! — вздохнула по поводу моей бестолковости Римма-Варя и прихохотнула. — О-о! Церковная лавка, ого-го! в ней свой человек казначею нужен. А матушка Лидия, она простодушная, старого закала, вон еще с каких лет служит, отсюда не видать!.. Вот ведь и матушку Ксению за тяжелый характер отстранили, хотя она службу, говорят, хорошо знает.

На станции под навесом мужик торговал картошкой из мешка. Картошка была чистая, гладкая. — Дороговато, отец, просишь. Так к весне до ста "рублев" дойдет, а то и больше. Как в войну будет, — заметил я.

— А что, сейчас не война разве? — без всякого выражения отрезал он.

Сергей Стратановский

* * *

Мокрый снег в достоевских дворах
Мокрый снег облипающий крыши
Наступит ночь,
в груди заноет страх
Мы навсегда испуганные души

1995

* * *

За рекою фабрика-Арахна
Паучекаменна
и ткет мою судьбу
Может выживу,
а может скоро сдохну
Через Лету в дряхлой лодке погребу
Но не райский сад
увижу там воочью
Не лубочный ад,
а ту же тьму паучью
Что и здесь,
и обморочный цех

1995

* * *

В декорациях имперских,
в ложноримских колоннадах
Долго ль мучиться, ответь

Ничего-то мне не надо
Только чуточку покоя,
папирос, стакана чаю
И еще — деревьев сада
и тебя, Господня твердь

1996

* * *

Красиво о себе:
Мол жгуче-ледяной
На холм волочишь крест

Красиво о судьбе:
Мол суждено
Хлеб со слезами есть
как Гёте говорил
Когда-то о себе,
но ведь нельзя иначе
И лишь в стихе,
не просто в плаче
Мы горе выплачем,
избудем до конца

1996

* * *

Что суждено? Одна тоска
На много-много лет
Морозы, тундра и тайга
Тайшет, а не Тайгет

И не поверишь никогда
Что не везде метет пурга
Что есть иные берега
Иные, райские луга
И радостный рассвет

1996

* * *

А что у нас: скопцы и капитоны
От жизни бегство к сырости могил
И бабьих песен тягостные стоны
О том как муж бесчинствовал и бил

Как шли дожди и серо было лето
И беспросветна долгая зима
И лучше смерть, чем медленная эта
Пустая жизнь — подобие ярма

1996

СМЕРТЬ ПОЭТА

Смерть поэта Ахматовой.
Необходима бумага
О кончине бумага
с заключеньем врача о причине

Смерть гражданки Ахматовой
От санинспекции транспортной
Не получено санкции
на перевоз, переброс
Тела — к волнам балтийским
тени — к водам последним, летейским

Смерть Горенко-Ахматовой
Самолет в Ленинграде. Сошла
С трапа пьяная кодла
хохоча и бренча на гитаре

После выдали гроб.
("Где у вас накладная на труп?")

Смерть какой-то Ахматовой.
Запретил исполком сестрорецкий
Волей власти советской
захоранивать лиц непрописанных
В Сестрорецком районе
на кладбищах местных, районных
В том числе в Комарове,
где гражданка Горенко была
Не жилицей, а дачницей...
Ах, писала стихи... Ну и что?
Эдак каждый кто пишет, захочет...

Час прощанья с Ахматовой
за поселком, на хвойном погосте
Снег последний, прощальный
и лыжник какой-то случайный
За оградой глазеющий
в двух шагах от разверстого зева
Ямы только что вырытой

1996

* * *

Окрестных деревень
зачистка от людей
От мужиков и баб
и от грязнуль-детей
Расстрел для тех кто слаб,
для остальных — угон
Чтоб духу не было,
чтоб только волки, волки
И стаи злых ворон

1996

* * *

Мол сам язык — твой дом
И в дальней стороне
Ты будешь в нем,
родном, кленовом
Жить припеваючи...
Но есть еще судьба
Соль соловецкая,
погосты и гроба
И что-то есть еще,
о чем не скажешь даже
Ни на чужом,
ни на своем наречьи

1996

АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

Я так один
Р.-М. Рильке,
Из русских стихов

Какие тягостные дни
Как бесконечна ночь
Спаси меня и сохрани
Мне тяжело. Я так один
Коснись живым крылом
И сохрани, чтоб в эти дни
Жизнь не пошла на слом

1996

Петербург

Георгий Демидов

ХУДОЖНИК БАЦИЛА И ЕГО ШЕДЕВР

Имя Георгия Демидова в мартирологе писателей, замученных советским режимом, практически ничего не говорит читателям. А между тем, по силе эмоционального воздействия его можно сравнить с Шаламовым, с которым жизненные пути Демидова периодически пересекались. Шаламов сделал его героем нескольких рассказов, в том числе "Житие инженера Кипреева". Демидов чтил талант и профессионализм Шаламова, но шел в литературе своим путем. Шаламов описывал жизнь в лагерях резко и беспощадно, не оставляя своим героям проблеска надежды. Демидов же показывал эту жизнь как бы под другим углом зрения, сумев увидеть солнечные блики в кромешной мгле зоны.

Их творческие судьбы тоже различны. Изданные на Западе в семидесятые годы "Колымские рассказы" принесли Шаламову всемирную известность. Демидов отправить свои рукописи на Запад отказался. И не потому, что был трусом (вся его жизнь говорит об обратном) — он полагал, что до тех пор, пока он ничего не печатает, его не тронут.

Строго говоря, он не был писателем: он был физик, ученик Ландау, который взял его к себе в лабораторию с третьего курса университета. Демидова репрессировали в 1938 году, и 10 из своих 14 колымских лет он провел на общих работах. Когда, будучи талантливым инженером-изобретателем, он построил в зоне завод по регенерации перегоревших электроламп и ему вместо обещанной свободы дали лэндлизовский костюм, он заявил, что чужие обноски носить не будет. За что и получил дополнительную "десятку".

Писать Демидов начал уже после реабилитации, поселившись в городе Ухта. Он работал без отдыха, без выходных и праздников,

выкраивая каждую свободную от основной работы минуту, чтобы успеть рассказать о пережитом. Довольствовался тем, что его рукописи ходили в самиздате, и охотно давал их читать. В том числе и специально приехавшему из Москвы "специалисту в штатском". Он стоически отверг соблазнительное членство в Союзе писателей и многотысячные тиражи в обмен на обещание бросить лагерную тему. В результате летом 1980 года у Демидова изъяли все написанное им за 18 лет подвижнического труда. Пять тысяч печатных страниц: роман-эпопею, повести, рассказы. Изъяли все три пишущие машинки, чтобы неповадно было продолжать, и охотничье ружье, чтобы не вздумал застрелиться. Одновременно дубликаты рукописей изъяли у дочери писателя и у нескольких верных друзей — обыски проводились сразу в пяти городах.

Демидов пережил эту экзекуцию, но не написал больше ни строчки и умер семь лет спустя. В 1988 году дочери Демидова Валентине удалось вырвать отцовский архив из лап КГБ. Но интерес к лагерной теме к этому времени упал, и выходу подготовленного однотомника всякий раз что-то препятствовало. Разоблачение сталинских преступлений не имеет срока давности. Оно не может быть модным или немодным, прибыльным или убыточным. Как неотмщенное преступление, эта тема всегда будет взывать к совести и чести человечества.

Предлагаемый читателям "Нового Журнала" рассказ Демидова "Художник Бацила и его шедевр" подготовила к публикации Валентина Демидова.

Белла Езерская

Искусство — это действительность, отображенная через восприятие художника.

Делакруа

Прозвище "Бацила" было одним из самых распространенных в лагерях заключения сталинских времен. Обычно его получали те члены блатного общества, которые отличались особой хлипкостью сложения или совсем уж исключительной худобой. Вряд ли и теперь среди мелких уголовников можно встретить упитанных людей особенно часто. Их профессия

никому не обеспечивает благополучной, а тем более спокойной жизни. А в те времена, кроме того, большинство профессиональных воров проходило еще в детстве через школу беспризорщины и безнадзорщины, накладывавших на многих из них печать физической недоразвитости. У некоторых эта недоразвитость подчеркивалась и усиливалась так же их психической надорванностью. Поэтому популярное прозвище носило столько заключенных, что нередко в одном лагере скапливалось по нескольку Бацил. И чтобы различить их, к основному прозвищу добавляли вспомогательное, почти всегда подчеркивающее какую-нибудь особо отличительную черту его обладателя: Бацила Гундосый, Бацила Культяпый. Тот, о котором пойдет речь в этом рассказе, именовался Бацилой Художником.

Зря в блатном мире такого прозвища не дадут. Горев, такой была настоящая фамилия щуплого, просвечивающего от худобы паренька, действительно обладал, и немалыми, профессиональными навыками живописца и несомненным талантом художника. Несмотря на молодость, ко времени когда я его увидел впервые, Горев мотался по лагерям и колониям уже около десяти лет. За попытку подделывать денежные знаки, он угодил в заключение почти еще в отрочестве, да так на свободу более не выходил. Но и до этого вольность его житья была более чем относительной. С раннего детства Горев воспитывался в детдоме, помещенный туда после того, как его фактически бросила мать, пьянчужка и забулдыга. Отца Горев не знал вовсе.

В детстве рисованием увлекаются почти все. По-видимому, мы проходим через такую стадию развития, когда графическое отображение увиденного является своего рода потребностью. У большинства людей эта потребность вскоре становится рудиментарной, как потребность воинственно орать и размахивать деревянной саблей. У других она сохраняется, становясь первой и необходимейшей предпосылкой развития художественного таланта. Таким образом этот талант является как бы проявлением в человеке некоторого атавизма. Обижаться на это не приходится. Все в нас, в том числе и самое лучшее, так или иначе восходит к нашему первобытному прошлому.

В детдоме взъерошенного и диковатого мальчонку стали сразу же дразнить "Мазилкой" за его необычайное даже для пятилетнего пристрастие к рисованию. Других ребят он сторонился, в общих играх и беготне участвовал мало. Уединившись где-нибудь, Мазилка рисовал, тупя карандаши и изводя огромное количество бумаги, иногда газетной, если не было лучшей. Уже тогда было видно, что рисование для этого ребенка является чем-то большим, чем просто забава. В рисунках Мазилки почти не было изображений домиков, деревьев, просто мам и просто детей, как у большинства его сверстников. Почти все рисунки маленького художника были сознательно сюжетными и не по-детски хмурыми, как и он сам. Если он изображал кошечку, то испуганно таращившую глаза на собаку, загнавшую ее на забор. Если собаку, то в момент, когда большой мальчишка ударил ее палкой. Впечатления безрадостного детства пали, видимо, на очень чувствительную почву. Вышло так, что они не были нейтрализованы и в дальнейшем и навсегда определили угрюмый и мизантропический характер как самого художника, так и его произведений, которые отличались выразительностью, а нередко и портретным сходством. Мог Мазилка нарисовать на кого угодно и злую карикатуру. Впрочем, теперь его прозвище было "Суслик", данное ему за раздражающее сочетание физической слабости с неробким, нелюдимым и ершистым нравом. Однако, дразнить Суслика решались не часто, у него было оружие посильнее кулаков. Кому охота быть нарисованным в виде бульдога с тупой и злой рожей или лающей шавки?

В те годы было не в моде отбирать и выпестовывать таланты, особенно такие, которые не могли служить непосредственно делу индустриализации страны. Но художественный талант Горева был слишком очевиден, чтобы остаться незамеченным. По окончании им четвертого класса его перевели в художественную школу, благо детдом находился в большом и достаточно культурном городе.

Это было крупной удачей в безрадостной жизни мальчика, изменившей к лучшему даже его мизантропический характер. Ведь тут рисование и живопись были не блажью, за которую Суслика шпыняли в обычной школе, а основными предметами. Вскоре Горев стал самым многообещающим учеником в своем

классе, хотя школьные задания выполнял без особого воодушевления. Зато исключительной выразительностью и экспрессией отличались его работы на вольные темы. Но вот эти темы он выбирал с такого рода тенденцией, которая удручала некоторых его учителей. Негоже ученику, готовящемуся стать художником социалистического реализма, останавливать свое внимание почти исключительно на таких сюжетах, как валяющийся на улице пьяный; ломовик, избивающий свою клячу; пойманный карманный воришка, которого вытаскивает из трамвая возбужденная толпа! Впрочем, времени, чтобы направить недюжинный талант хмурого юнца в более светлую сторону, оставалось еще много.

Так думали воспитатели Горева, но жизнь распорядилась иначе. Оказалось, что некоторое ослабление нелюдимости пошло ему во вред. У Суслика появились приятели среди товарищей по детдому, чего прежде никогда не бывало. Само по себе это было бы отлично, если бы первые в жизни угрюмого мальчика друзья не оказались друзьями больше по расчету. Им нужен был не он, а его удивительный талант к рисованию. Сами эти ребята учились не в художественной, а в обычной школе и оба были немного старше Горева. Однажды один из них показал Суслику листок из старого отрывного календаря двадцатых годов. На его оборотной стороне было помещено уменьшенное изображение банкноты достоинством в тридцать рублей, самой крупной из тогдашних купюр. Она чаше других привлекала к себе подделывателей еще и тем, что была выполнена в одну, темносинюю, краску, если не считать напечатанного красным номера. Рядом со штриховым рисунком сеятеля с лукошком было выведено красивым курсивом "Три червонца". Ниже, тоже курсивом, была напечатана справка, что банкнота подлежит размену на золото в любом отделении государственного банка СССР из расчета столько-то граммов, и столько-то десятитысячных долей грамма за червонец. Дальше шли подписи наркомфина и директора банка.

Спрошенный, может ли он воспроизвести этот рисунок и, притом, так, чтобы его не могли отличить от рисунка на настоящей купюре, Горев самоуверенно ответил, что это нетрудно, но нужно знать его настоящий масштаб. Но вот где взять трехчервонную банкноту, когда никто из них и рубля-то сроду в руках не держал?

Оказалось, что это хитроумными организаторами многообещающей затеи предусмотрено и продумано. Такому замечательному рисовальщику, как Горев, достаточно, небось, пару раз взглянуть на настоящую купюру, чтобы запомнить ее тональность и размер. А увидеть такие купюры он может хоть сто раз, если постоит в часы толкучки у магазинных касс. В руках покупателей побогаче они нет-нет, да и появляются.

Суслик замялся было, но его взяли на "слабо". Кроме того, художника уверили, что он ничем не рискует, всю черную работу по сбыту и размену поддельных денег ребята берут на себя. А понимает ли он, какая жизнь начнется у предприимчивой троицы, если он освоит самое доходное изо всех ремесел в мире, производство денег? Не будет ничего на свете, что было бы недоступно для людей с неограниченной покупательной способностью. Даже щегольские кепки "шестиклинки" и велосипед! На каждого свой.

Сказать, что Горев принимал это особенно хорошо, было нельзя. Вечно занятый либо рисованием, либо обдумыванием новых сюжетов, он как-то об этом не думал. Не было у него особой охоты ни учиться ездить на велосипеде, ни щеголять в новой кепке. А вот нарисовать тонким пером на прямоугольнике тонкой плотной бумаги сеятеля и остальную часть рисунка дензнака, да так, чтобы его приняли за настоящий, было интересно. Что касается этической стороны предприятия, то мальчишкам оно представлялось не более чем одним эпизодом в их постоянной войне с запретами и ограничениями взрослых. Поэтому, когда один из компаньонов сдавал первую, нарисованную Горевым фальшивку в кассе большого магазина, тот, стоя в отдалении с другим членом компании, волновался не столько как жулик, опасающийся за исход операции, сколько как молодой мастер, ожидающий компетентной оценки своей первой работы. Оценка оказалась неважной. Предъявившего нарисованную купюру паренька схватили тут же. Остальных двоих членов шайки — на другой день. Вера юнцов в свою способность противостоять нажиму при допросах была такой же наивной, как и их подделка.

На беду доморощенных фальшивомонетчиков только что был издан указ, уравнивающий уголовную ответственность подростков, начиная с двенадцатилетнего возраста, с ответственностью взрослых. Гореву же было уже почти четырнадцать, а

самому старшему из членов компании и все пятнадцать. Кроме того, новизна правительственного постановления обязывала суд к особой суровости. Судьи должны были показать, что они правильно поняли внутренний смысл этого законодательного акта государства пролетарской диктатуры. Он заключался в полном отречении от мягкотелого гуманизма буржуазной юрисдикции. Никаких скидок преступникам даже на их возрастную незрелость и отсутствие жизненного опыта. Особенно в случаях, когда дело идет о нарушении одной из основных прерогатив государства. За попытку изготовления поддельных червонцев — по "червонцу" срока каждому из участников преступной шайки! Правда, до наступления совершеннолетия их предписывалось содержать в колонии для малолетних преступников при городской тюрьме.

Начавшая было покидать Горева его психическая депрессивность вернулась к нему снова. Причин для этого было достаточно. Было тут, наверное, и сознание нравственной неправомерности совершенной над ним судебной расправы, и горечь потери возможности обучаться любимому делу, и утрата мечты стать когда-нибудь великим художником.

Но если в начале своего заключения Горев был только угрюмым меланхоликом, то с годами в нем начали проявляться сознательные озлобленность и ожесточенность. Он дерзил воспитателям и начальству, все чаще отказывался от работы, рисовал карикатуры тем более злые, чем выше был чин изображаемого на них человека. Конечно, его за это наказывали, от чего парень ожесточался еще более. Начался тот процесс взаимодействия причины и следствия, который в конечном счете, как в физическом, так и в психическом мире, приводит к взрывам и разрушениям. Так мелкие преступники превращаются в крупных, фрондеры в революционеров, мизантропы в озлобленных нигилистов. Ко времени, когда Горева перевели в лесорубный лагерь где-то на Урале, он был уже законченным "отказчиком" и принципиальным "филоном", вечным завсегдатаем карцеров и штрафных камер. Свою характеристику "трудного", помещенную в его дело, он быстро и вполне оправдал и в настоящем ИТЛ, где уже не приходилось рассчитывать даже на ту небольшую скидку, которая допускалась в колониях для несовершеннолетних. Здесь за отказ от работы полагался неотапливаемый даже зимой карцер без нар, в котором заключенным выдавалась только трехсотка

хлеба и кружка воды в день. Иногда случалось, что усиление репрессий разрывает процесс состязания лагерного режима с упрямством неподчиняющегося ему человека. В случае Горева этого не произошло. Возможно, что его принципиальное отказничество поддерживало также страстное желание юнца стать полноправным членом блатной хевры. Как почти у всех заключенных колонии малолетних, она вставала в его воображении как некий орден рыцарей уголовного "закона". Горев знал, что неподчинение лагерному уставу является одной из главных доблестей настоящего "законника".

Прошло, однако, немало времени, прежде чем хевра признала его своим. С ее точки зрения, такие как Горев, были скорее фрайерами, чем настоящими блатными. Он не воровал, не играл в "буру". Да и статья у него была совсем не блатняцкая, ниже фальшивомонетчиков в хевре котировались разве только конокрады. Но парень оказался на редкость стойким. За отказ от работы он сидел в карцере до тех пар, пока лагерный лекпом не сказал, что дело у этого отказчика идет уже к необратимой дистрофии. Если не перевести его в разряд временно освобожденных от работы из-за крайнего истощения, то малый, чего доброго, врежет в карцере дуба. Такие явления считались нежелательными, и Горева поместили в барак, где жили блатные. Вот тут-то хевра и убедилась, что шатающийся от слабости паренек не только стойкий законник, но и настоящий художник, умеющий здорово рисовать портреты и сцены лагерной жизни. Портреты, правда, у него получались какие-то чудные, схожие и в то же время смахивающие на карикатуру, хотя карикатурами они не были. Сквозь эти портреты проглядывало что-то, часто совсем не лестное для оригинала, но действительно ему свойственное. Но так как художник делал эти портреты не на заказ, а только так, хочешь бери, хочешь нет, то протестовать не приходилось. Обычно он рисовал их на фанерке от посылочного ящика заостренным куском графита от щетки автомобильного динамо. Иногда покрывал еще красками, которые для него добывали в лагерной КВЧ. Но если подходящих материалов не было, то Горев мог рисовать чем угодно и на чем угодно: углем на стенке кирпичной печки, обломком кирпича на боку печки железной, нацарапывать рисунки гвоздем или осколком стекла

на нарах. И все это получалось у него удивительно здорово и выразительно.

Окончательно авторитет Горева утвердился в хевре после того, как он не клюнул на приманку одной из самых блатных должностей в лагере — должности художника КВЧ. Начальник этого КВЧ, прослышав о таланте молодого доходяги, попросил его нарисовать плакат по образцу, присланному из Гулага. Дело в том, что прежний художник освободился, а плакат было приказано обязательно выставить на самом видном месте лагерной зоны. Начальник сказал, что в случае, если эта работа будет выполнена хорошо, Горев будет назначен на завидную должность дневального КВЧ с исполнением обязанностей художника, которые сводились к рисованию время от времени таких вот плакатов и иногда карикатур на филонов и отказчиков.

Для осужденных по уголовным статьям тогда еще существовали зачеты рабочих дней, вскоре отмененные. При постоянном перевыполнении рабочих норм, срок заключения значительно сокращался. Этой теме и был посвящен типовой плакат Гулага. На его утвержденном образце обнаженный по пояс работяга крушил кайлом массивную скалу, на которой было написано "твой срок". Подпись под плакатом гласила: "Только ударный труд может приблизить день твоего освобождения, заключенный!"

Блатные были разочарованы, узнав, что их художник согласился рисовать плакат. Все-таки он фрайер. Настоящий блатной не стал бы помогать лагерным прохиндеям охмурять заключенных. Но через два дня Горев опять очутился в карцере. На этот раз за едва ли не контрреволюционный выпад против пропаганды за ударный труд в лагере. Воспользовавшись бесконтрольностью — плакат он писал в клетушке художника при лагерном КВЧ — живописец злостно извратил картину. Вместо плечистого ударника он нарисовал на ней скелетообразного доходягу, выбивающего себе в скалистом грунте могилу. И только надпись на плакате сохранил прежней. Вот тогда-то строптивый художник и получил блатное прозвище, означающее, что хевра признала его окончательно. По настоящей фамилии Горева окликали теперь одни только начальники, надзиратели да подрядчики. Нечего и говорить, что карьера лагерного придурка была закрыта для него навсегда.

Бацила принадлежал к числу тех натур, у которых репрессии только усиливают их сопротивление насилию. Среди таких натур и находятся мученики по призванию. Высокая идея мученичества "за веру", дело революции или научную истину для таких не всегда обязательна. У лагерных отказчиков, например, ее заменил блатной принцип, помноженный на демонстративное упрямство. Некоторые из особо "принципиальных" умирали в холодном карцере на голодном пайке, но так и не брали в руки кайла или лопаты. Следует помнить, что у них не было ни религиозной веры, облегчающей страдания надеждой на их возмещение в загробной жизни, ни сознания своей причастности к великому делу. Нельзя объяснить подвижничества отказчиков и рационалистическим расчетом, что их трехсотка все же выгодней полной пайки "рогатиков", на которой те загибались даже чаще, чем они. Если это и так, то часто только потому, что многие карцерные страстотерпцы научились сводить свой энергетический баланс к почти анабиотическому уровню. Тут было что-то от йогов, хотя не было и намека ни на школу йогов, ни на их систему. Но оледенелый карцер-бокс не так уж сильно отличался от зарытого в землю ящика, а многочасовая "выстойка" на пятидесятиградусном морозе без бушлата и рукавиц — от хождения босыми ногами по раскаленным углям. Отсутствие обморожений при таких выстойках вряд ли менее удивительно, чем отсутствие ожогов при соприкосновении с огнем. Выставленные на жестокий мороз отказчики обмораживались поразительно редко.

Бацила был одним из тех, кто в таком вот состязании с лагерным начальством — кто кого переупрямит? — провел бóльшую половину своего срока. Но тут вспыхнула война и прежнее "паньканье" с отказчиками сменилось пришиванием им дела о "контрреволюционном саботаже", предусмотренном пунктом четырнадцатым грозной пятьдесят восьмой статьи. Горев одним из первых был осужден по новому указу на новый десятилетний срок.

Казалось бы, он и до этого находился на самом дне угрюмой безнадежности. Но, видимо, это было не так. После второго осуждения Бацила совершенно ушел в себя и почти перестал разговаривать с окружающими. Работать "на начальника" он по-прежнему отказывался, а в промежутках между многонедельными сидениями в карцере по-прежнему продолжал рисовать.

Но только его рисунки сделались теперь еще угрюмее. Возможно, в это время у него и зародилась идея создать первое художественное произведение. в котором нашли бы свое отражение все муки лагеря и вся несправедливость мира. Вряд ли, конечно, Бацила понимал, что его возможности для написания такого шедевра ограничены недостаточной образованностью и почти полным незнанием жизни. Что касается недостатка специального образования, то тут Бацила мог с полным основанием надеяться на возмещение его силой своего чувства. Дети и художники-примитивы нередко достигают в своих рисунках выразительности, недоступной живописцам с академическим образованием.

О том, что щуплый, казалось, насквозь просвечивающий от страшной худобы парень, похожий в свои двадцать два года на физически недоразвитого подростка, вынашивает свою страстную идею, я узнал, когда он попал в наш приисковый лагерь где-то в бассейне Неры. И как всякий интеллигент, отнесся к ней с насмешливым недоверием. Было в ней что-то общее с изобретательством вечного двигателя, которым занимался в том же лагере другой полусумасшедший невежда. Крайне заурядной была и внешность художника. Обыкновенный лагерный "фитиль". Из широкого ворота драного бушлата, свисающего с его узеньких плеч, как с вешалки, торчала длинная, по-детски тонкая шея. Она казалась слишком слабой для непомерно большой, лобастой головы, все время клонившейся на грудь, как будто ее обладатель засыпал даже на ходу. Руки Бацила держал обычно засунутыми в рукава и сложенными на груди. Правда, на улице это было необходимо, так как у него не было ни рукавиц, ни пуговиц на бушлате. Когда однажды я его о чем-то спросил, Бацила с трудом поднял свою тяжелую голову, посмотрел на меня отсутствующим взглядом и ничего не ответил. Это обычное поведение доходят на грани последней стадии дистрофии. Конечно же, обыкновенный "фитиль", которых в каждом бараке по десятку!

Но когда я увидел Бацилу работающим в своей "мастерской", закуте за вешалками для онуч и промокшей одежды в барачной сушилке, я его почти не узнал. Он сидел на низком чурбаке за неким подобием пюпитра, на котором стоял кусок фанеры, и обломком электрографита наносил на него уверенные штрихи

вполне твердой рукой. Глаза художника на лице, обтянутом сухой кожей так плотно, что на нем вырисовывались почти все детали черепа, горели фанатическим воодушевлением. За его работой наблюдали поклонники таланта Бацилы из числа местных блатных. Эти люди были единственными в лагере, кто сочувствовал его идее написать обличительную картину. Правда, никто из них не знал, что это будет за картина, как не знал еще, наверное, и сам художник. Сцена сильно напоминала чью-то картину, изображавшую работу живописца-неандертальца в доисторической пещере.

Хевра опекала и охраняла своего художника. Без этого в лагере тех лет ему было бы еще труднее выжить. Изнуренным от голода или непосильной работы людям тут никто не сочувствовал. Наоборот, они вызывали к себе злобное презрение, особенно в тех случаях, когда еще и впадали в обычное при дистрофии голодное слабоумие. Плетущегося позади всей бригады, еле передвигающего ноги человека, с особой злобой пинали прикладами конвоиры. В забое его непрерывно награждали толчками и ударами бригадиры и десятники; в бараке — дневальный, а то и просто те, кто был хоть немного посильнее. Доходяги раздражали своей неспособностью поднять иногда совсем небольшую тяжесть, переступить без падения низенький порог, сразу ответить на вопрос "Как твоя фамилия?" и сообразить, который талон у них на хлеб, а который на баланду. Особенно часто получали колотушки и синяки те, кто, уже падая от ветра, продолжал еще огрызаться и гундеть. И если такого в ответ на его претензию, что черпак не полон, раздатчик баланды огревал этим черпаком по голове, никто ему не сочувствовал. А чего с ним валандаться? Начал подыхать, так и пусть подыхает, а не путается тут под ногами. То, что такое же состояние было почти неизбежным будущим почти каждого лагерного работяги, не только не уменьшало их злобы к "фитилям", а скорее ее усиливало. Многое из того, что кажется в людях навсегда исчезнувшим, оказывается только прикрытым косметикой цивилизации. И когда при тяжелых жизненных встрясках этот непрочный слой осыпается, под ним обнажаются древние инстинкты хищной стаи, один из которых выражается принципом: смерть ослабевшему! Он не так уж рудиментарен, если вдуматься в те ощущения, которые вызывает у нас вид дряхлых, зажив-

шихся на свете стариков, уродцев и психически неполноценных людей. Еще не так давно человеческое общество не скрывало своей неприязни к прокаженным и другим неизлечимо больным. И объяснялось это не столько страхом перед заражением, сколько инстинктивным отвращением ко всему, что может отрицательно повлиять на существование вида. Если олени не уничтожают, подобно волкам, ослабевших или больных особей своего стада, то только потому, что за них это делают волки. В человеческом стаде инстинкт враждебности к беспомощному ближнему проявляется с особой силой там, где это стадо состоит из людей, насильно согнанных в какой-нибудь общий загон, которым является, например, концентрационный лагерь.

Впоследствии я познакомился с некоторыми работами Бацилы. Это было не так просто, так как их хранили не только от начальственных, но и от посторонних глаз. Не то чтобы рисование считалось в лагере запрещенным делом, но слишком уж очевидной была нездоровая тенденция, проявляющаяся в рисунках художника-блатного. Поэтому их разрознивали, маскировали и прятали. Все они были сделаны все на тех же небольших кусках фанеры, которые легко засунуть в щель пола, в матрац, набитый стружкой или опилками, а то и просто в сугроб.

Бацила работал в своеобразной манере, которую никак нельзя было объяснить недостатком у него живописной техники. То вытягивая фигуры, как на картинах Эль Греко, то слегка сплющивая их по вертикали, как Гойя в некоторых из своих "Капричос", он усиливал этим их выразительность. Изображения были как бы срисованными с отображений в зеркалах "комнаты смеха", но они отнюдь не были смешными. Вот некоторые из них: чуть в стороне от оконца хлеборезки — отойти дальше у него, видимо, не хватало терпения — доходяга впился зубами в только что полученную "горбушку". В его глазах жадность и голодная тоска одновременно, как у собаки, грызущей найденную на помойке кость. Через ворота лагеря выволакивают, "выставляют на работу" отказчика, привязав его за ноги к задку саней. С головы волочащегося по снегу человека свалилась шапка, его бушлат задрался до самых плеч. Было тут еще изображение "саморуба", только что отсекшего себе топором на высоком пне кисть руки; похожего на скелет покойника, с пальцев которого снимают отпечатки, необходимые для "архива-

три", и многое другое в том же роде. Некоторые из картинок были покрыты красками, неизменно темными и глухими от обильной добавки в них сажи и сепии. Световые переходы на рисунках Бацилы были резкими, почти без полутеней. Даже выполненные в красках, они напоминали скорее графику, чем живопись. Работы странного художника были так же необычны, как и он сам, и их можно было бы отличить от всяких других с первого взгляда.

И все же лагерная тематика была у него не единственной. Среди работ Бацилы были также изображения "воли". Причем, неизменно только благополучных ее сторон. Однако, почти все такие сценки получались у него какими-то беспомощными и невыразительными. Целующаяся в окне пара была, скорее всего, срисована Бацилой по памяти с виденной когда-то открытки. Сцена пирушки получилась мертвой и главными в ней оказались не лица, а горы наваленной на столе жратвы. Взращенный за оградой тюрем и лагерей художник почти не знал жизни. Живее других он изобразил лицо усатого дядьки, пьющего пиво у станционного киоска. Лицо усача выражало блаженство, вряд ли совместимое с полученным им рядовым удовольствием. Скорее, его вообразил изнывающий от жажды художник, наблюдавший сцену из оконца этапного вагона.

Говорили, что все это, как и целая галерея лиц, эскизы к будущей картине Бацилы. Я уже не сомневался в его таланте — наружность на этот раз оказалась особо обманчивой. Однако, не мог себе представить, как он сумеет объединить свои эскизы в одну общую композицию, да еще включающую в себя картины довольно пошлого благополучия. Судя по этим картинам, представления художника о счастье не выходили за пределы, характерные для самого обычного блатного. Такой не сможет осветить своего будущего произведения достаточно глубокой мыслью, без которой никакое мастерство, даже помноженное на самое сильное чувство, не может оказать существенного влияния на умы людей. В это могли верить только лагерные блатные, такие же наивные в вопросах искусства, как и их художник, и еще более темные, чем он.

Прошло уже немало времени, тусклого и тягостно-монотонного, как всегда в лагере. "Горячая" война победоносно закончилась и почти сразу же сменилась войной "холодной".

Колыма была районом, который, возможно, первым почувствовал ее ледяное дыхание. В бухту Ногаева больше не приходили корабли из калифорнийских и аляскинских портов. Наступила пора куда более голодная для дальстроевских каторжников, чем последние годы войны. Мысль о хлебе насущном заслонила все остальные. Даже я, ставший к тому времени лагерным "придурком" — я работал электриком в зоне — почти перестал интересоваться делами Бацилы, по-прежнему большую часть времени сидевшего в кондее. Говорили, что в промежутках между сидками он уже дописывает свою картину. Но ее содержание блатные хранили в тайне, только намеками давая понять, что это будет великое произведение искусства. Тоже еще знатоки!

В последний раз я видел Бацилу на утреннем разводе, на который его вывели из карцера, чтобы в тысячу первый раз спросить: не одумался ли неисправимый отказчик и не согласен ли он выйти на работу? И в тысячу первый раз он, не поднимая склоненной на грудь головы, надменно повел ею из стороны в сторону. Ворота закрылись, и обвешанный рваньем, сквозь которое во многих местах просвечивало голое тело, невероятно худой — в чем только душа держится? — упрямый "фитиль" остался на площадке. Утро было морозное, за сорок. Светило мартовское солнце, под которым понурая фигурка отказчика с большой головой и голой шеей, ставшей, если это возможно, как будто еще тоньше, выглядела особенно жалко. Наш новый начлаг, недавно вернувшийся с фронта и человек, по-видимому, не злой, долго смотрел на Бацилу, укоризненно покачивая головой. Вероятно, он и в самом деле жалел этого мальца, потому что сказал: — Ну, и дурак же ты, Горев! Сам себя губишь! Ну на что ты надеешься, чего ты ждешь?

И тут произошло редчайшее событие — Бацила ответил на обращенный к нему вопрос. Правда, не сразу. Для этого, после того как он приподнял голову и как-то по-гусиному вытянул шею, молчальнику пришлось сделать несколько судорожных движений кадыком. Возможно, что перед этим в последний раз он произносил какое-нибудь слово или звук неделю, а то и две назад. Наконец, несколько раз глотнув воздух, он довольно отчетливо произнес: — Т-т-трумэна жду!

"Ожидание Трумэна", т. е. прихода американцев, было в те годы политической ориентацией большинства блатных, сменив-

ших прежнюю показательную преданность "нашей" советской власти и "нашему" Сталину. Теперь Генералиссимуса и Вождя Народов они именовали не иначе, как "ус", а бериевское МВД величали "советским гестапо". Произошла эта метаморфоза в результате резкого усиления репрессий за уголовные преступления. Если во времена Ежова и в первые годы наркомства Берии уголовники числились "социально близким элементом", противопоставляемым в лагерях подлинным "врагам народа", то за годы войны они почти утратили эту привилегию. Скокари и домушники получали сроки, вплоть до "сталинских четвертаков" наравне со шпионами и террористами. Поэтому "друзья народа" во время войны почти не скрывали своих пораженческих настроений, а после нее так же откровенно возлагали свои надежды на "Белый дом", противопоставляемый ими "Красному дому", т. е. Кремлю. Нередко можно было услышать, как с этапной машины или сквозь решетку кондея какой-нибудь блатной кричал надзирателю, конвоиру или даже начальнику: — Погоди, падло! Скоро наш Белый дом вашему Красному дому "секир-башка" сделает! — Имелась в виду атомная бомба, о которой шло тогда много разговоров и которой еще не было у Советского Союза. Все эти выпады сходили блатным безнаказанно. Видимо, в какой-то степени они все еще оставались "социально близким" элементом, несмотря на изменение знака их убогой политической философии на обратный.

Бацила вряд ли был на уровне даже этой философии и вряд ли он чего-нибудь ждал. Скорее, его политическое "заявление" было продиктовано принципом все той же блатняцкой солидарности.

Начальник сначала опешил, а потом побагровел, топнул ногой и высоким, бабьим голосом крикнул: — Не дождешься! — Д-д-дождусь! — упрямо повторил Бацила.

Я видел его тогда в последний раз. Вскоре меня по "спецнаряду" перевели в другой лагерь того же управления. Тут тоже добывалось золото, но не приисковым способом, как почти повсюду тогда на Колыме, а шахтным. Довольно сложное хозяйство рудника требовало много электрической энергии, которую давала дизельная электростанция. Вот на нее-то и привезли меня работать в качестве линейного монтера, благо я имел специальное высшее образование и даже ученую степень.

Работа дежурного по электросети была нехитрая и не очень тяжелая, если только не происходило особенно крупных аварий. Что же касается мелких, то они были даже желательны, так как давали нам право хождения в поселок вольных. Монтер-заключенный, вернувший в дом электрический свет, всегда мог рассчитывать, что хозяева этого дома вынесут ему завернутый в газету кусок хлеба. Хочет или не хочет он есть, "мужика" из лагеря тогда не спрашивали. Особенно дежурного электромонтера, работа которого оценивается повременно, а значит и пайка ему идет второразрядная.

Чем монотоннее текут дни, тем быстрее пролетают годы. Я и не заметил, как их на новом месте прошло уже целых два. И почти уже забыл о чудно́м художнике из блатных, надумавшем удивить мир каким-то своим произведением.

Однажды в монтерскую дежурку на электростанции явился пожилой дневальный общежития мужчин-холостяков на поселке и заявил, что в этом общежитии "перегорел свет". Очередь отправляться по вызову была моя и, захватив с собой крючья для лазания по столбам, я пошел со стариком в поселок.

Заменить перегоревшую предохранительную перемычку на столбе, врытом возле длинного приземистого строения, было делом одной минуты. Когда в подслеповатых, незанавешенных оконцах барака вновь вспыхнул свет, из него донесся радостный галдеж. Несмотря на позднее время, шел уже первый час, многие из его обитателей еще не спали. Это одна из характерных особенностей общежитий лагерников, которые как бы утверждали таким способом, что они теперь люди вольные. К популярному тогдашнему афоризму, что свобода есть право на бритву, водку и женщин, следовало бы добавить еще и право ложиться спать когда хочешь и даже не ложиться совсем. Во многих отношениях бараки вольняшек были даже хуже иных лагерных. Зато в них можно было хоть до утра резаться в карты, стучать костяшками домино или просто горланить, особенно когда на поселке "дают" спирт. Ни тебе отбоя, ни тебе надзирателя! Находились тут, конечно, и такие жильцы, которые ложились вовремя и хотели бы, чтобы в общежитии хотя бы ночью стояла тишина. Но это были всегда старые штымпы, считаться с которыми тут никто и не думал.

Когда я вошел в барак, чтобы проверить электропроводку —

это предписывалось правилами, а более того надеждой на "горбушку", — те, кто еще не спал, возобновили прерванные темнотой занятия. За одним из двух щелястых столов, занимавших почти весь проход между двухэтажными нарами, забивали "козла". За тем, который стоял в глубине барака играли в самодельные карты. Судя по азартным выкрикам картежников, это была "бура", та самая, в которую в тюрьмах и лагерях играли обычно под нарами. Тут такой необходимости не было — воля!

Играли, как почти всегда в таких местах, не на деньги — в кои веки у кого они тут бывают? — а на "шмутки". Поставленные "на кон" вещи, лежали на скамейках рядом с игроками — вылинявшие телогрейки, кирзовые "прохоря", шапки. У большинства это было единственное, чем они обладали.

Две запыленных тусклых лампочки под потолком освещали обычную картину прилагерного, вольняшеского "дна". На пыльных, набитых сенной трухой матрацах, не раздевшись и укрывшись лагерными бушлатами, спали люди. Простынь и одеял тут не то чтобы не полагалось, но выдавать их жильцам таких вот общежитий было бы совершенно бесполезным делом. Одни пропьют или проиграют казенные вещи сами, у других их украдут для той же цели пропившиеся и проигравшиеся.

Дневальный вынес мне из своей клетушки у входа в барак небольшой кусок хлеба и кружку с кипятком. С ними я и уселся на конце стола, на другом конце которого играли в карты.

"Бура" — игра быстрая. Я не доел свой хлеб еще и до половины, как один из игроков продулся в прах. Он проиграл все свои носильные вещи, кроме оставшихся на нем штанов и рубахи. Рубаху, впрочем, он тоже с себя сорвал и с блатняцкими ругательствами, божбой и матерщиной предлагал ее партнерам в качестве последней ставки. Что они, падлы, не понимают что ли, что ему совершенно необходимо отыграться. На работу-то идти завтра не в чем! Прогул пришьют, а это новые восемь лет лагеря... А рубаха еще хоть куда, только в одном месте и залатанная!

Но "падлы" ставки не принимали, уж очень убого выглядела ветхая, отроду не стиранная рубаха. А что касается жалких слов про новый срок и прочее, то они старому каторжанину вроде и не к лицу, трусы в карты не играют...

Некоторое время проигравший сидел за столом в позе глубокого отчаяния, подперев руками голову, и не то ругался сквозь

зубы, не то стонал. А потом, видимо, решившись на что-то, вскочил и побежал к своему месту на нарах. Над ним висело, намалеванное на довольно большом куске фанеры, вероятно, крышке от макаронного ящика, изображение русалки. Девица с голой грудью и распущенными волосами высунулась из воды до основания массивного, покрытого чешуей, рыбьего хвоста. Это была обыкновенная лагерная поделка. Набивший себе руку на таких "картинах" опытный живописец справлялся с ней за один-два вечера и больше одной буханки хлеба она не стоила.

Было странно, что владелец картины только с явным усилием заставил себя поставить ее на кон. Еще удивительнее, что он поставил ее "ва-банк" под все проигранные им ранее вещи. И уж совсем непостижимым показалось мне то, что его прижимистые партнеры приняли эту ставку не торгуясь.

Пока игроки перешвыривались картами и отрывистыми, похожими на команды, отдаваемые дрессированным собакам, картежническими терминами, картина стояла под столом, прислоненная лицевой стороной к его ножке. Там было темно и украдкой скашивая глаза на ее обратную сторону, я сумел разглядеть только, что на этой стороне сделано изображение какого-то распятия. В нем, возможно, и заключалась разгадка ценности картины, замаскированной изображением русалки на другой стороне фанерки. Но почему? Сектанты в карты не играют, а эти за столом, если и поминали имя бога довольно часто, то не иначе как в сочетании с особо затейливым и злобным матом.

Именно таким матом, истово, как будто читал молитву, и выругался банкомет, швырнув на стол остаток карт. Это значило, что поставивший ва-банк, выиграл. Теперь ему везло в таком же несоответствии с законами теории вероятностей, с каким прежде не везло. Вернув свои вещи, он выиграл сверх того еще засаленный полушубок и самодельный эбонитовый мундштук. При таком везении и менее азартные люди согласны обычно играть хоть до утра. Но его партнеры решили, что на сегодня хватит, пора спать.

Я давно съел свой хлеб, до дна выпил большую кружку мутной, тепловатой воды и теперь делал вид, что с большим интересом слежу за игрой. На самом же деле я ждал ее конца, чтобы взглянуть на заинтриговавшую меня картину. И когда ее

владелец достал ее из-под стола, чтобы водворить на прежнее место на стене, я попросил его показать мне эту картину. После выигрыша парень находился в хорошем настроении, но оказался неожиданно нелюбезным: — Вот повешу ее на стену, тогда и гляди! — Я сказал, что меня интересует не русалка, а то, что на другой стороне фанеры. Он посмотрел на меня подозрительно: — А ты не стукач, часом? Коменданту не накапаешь? — Я заверил его, что сроду стукачом не был, свободы не видать!

Я не ошибся. На другой стороне картины с русалкой было действительно изображено распятие. Но к кресту, грубо сколоченному из неотесанных, довольно тонких жердей, был пригвожден не Христос, а человек в лагерном бушлате. Бушлат был распахнут и под ним на распятом ничего не было, кроме спустившихся на самые бедра, изодранных штанов, сквозь прорехи которых просвечивали похожие на палки ноги. Над впалым, почти притянувшимся к спине животом выпирали тонкие ребра недоразвитой груди. Большая, стриженая голова казненного бессильно свесилась на грудь на тоненькой, почти детской, шее. Но крест был высокий и вообще изображение было сделано по-витийски удлиненным и в ракурсе снизу. Поэтому лицо человека на кресте было видно почти полностью. Оно не было еще лицом мертвеца. Глаза распятого смотрели из-под полузакрытых век с выражением привычного страдания и безответного вопроса: за что?, хотя кровь, скупо вытекшую из его ран, художник изобразил уже совсем запекшейся, одной только бурой, без малейшего блеска, краской. Но даже сквозь маску наступающей смерти лицо человека на кресте выражало знакомую мне смесь неодолимого упрямства и внутренней непокорности. Это было лицо Бацилы, его несомненный автопортрет, сделанный им в своей характерной манере, но с неожиданно жестокой даже для него выдумкой.

Фоном для необычной Голгофы послужил, как и следовало ожидать, довольно обычный на Колыме, безжизненный пейзаж, написанный как будто смесью сажи и ржавчины, настолько он был угрюм. За распятием на первом плане виднелось множество других таких же распятий, разбросанных по склонам почти черных сопок и исчезающих в мрачной дали. Бесконечные числом, кресты далеко отстояли друг от друга, что, вероятно, символизировало внутреннее одиночество распятых на них

страдальцев. Каждый умирал на своем кресте, и распятие на переднем плане было лишь одним из множества.

Картина была окаймлена как бы рамкой, составленной из большой серии небольших картинок, заключенных в правильные прямоугольники. Очевидно, они служили иллюстрацией к главной картине и пояснением заложенной в ней мысли художника. Подобное сочетание главного и вспомогательного сюжетов нередко можно встретить в произведениях религиозной живописи средневекового Запада и на старинных русских иконах. При всей своей примитивности, этот прием полностью решал задачу композиционного объединения самых разных картин Бацилы под знаком найденной им мрачной аллегории. Поясняющие ее сюжеты были представлены каждый в двух картинках, расположенных попарно на одной горизонтали. Невидимая ось симметрии делила всю композицию на две половины. Картинки справа иллюстрировали аллегорию, слева — наводили зрителя на мысль о несправедливом устройстве мира.

Со многими из этих картинок я был уже знаком по давним эскизам Бацилы, другие видел впервые. Все им нарисованное, сюда, конечно, не вошло. Но я узнал широкоротого доходягу, жадно вгрызающегося в свою пайку. Ему противопоставлялся усач с пивной кружкой. Играющему на "рояле" дубарю, соответствовало изображение приличных похорон; благостный покойник возлежал на высоком белом катафалке. На одних горизонталях были нарисованы изнемогший у своей тачки каторжник и мордастые футболисты, гоняющие мяч по черно-зеленому полю; скрючившийся в тесном деревянном "мешке" узник "бокса" и изображение южного пляжа. Оно было особенно мертвенно и беспомощно в исполнении Бацилы. Полуголые, скорее похожие на мертвецов, чем на отдыхающих, фигуры валялись на темно-коричневом песке под холодно-синим небом, на котором вырисовывались метелки пальм. На среднем плане катились тяжелые волны оливково-черного моря.

Конечно, за время, в течение которого я его не видел, ни общий кругозор художника, ни его умение рисовать картины благополучия не могли существенно измениться. А вот сюжетное и композиционное решение для своей картины он сумел найти с неожиданной для него глубиной мысли. Лишнее доказательство того, что предельная целеустремленность может мобилизовать в

человека качества, которые не только его окружающие, но подчас и сам он в себе не подозревал.

Я сказал владельцу картины, что знал написавшего ее художника. Я назвал его прозвище и лагерь, в котором содержался Бацила. Иначе мой интерес к нему и к путям, которыми эта картина попала сюда, мог бы показаться праздным.

Парень ответил, что, точно, художника звали Бацилой. Лично с ним, правда, он знаком не был, отбывал срок в другом лагере. Но знает, что это был настоящий законник, верный своему слову. Сказал, что не покорится легавым, и не покорился. Он и умер почти сразу, как только закончил зту картину.

Бацила умер! При других обстоятельствах это известие вряд ли бы меня поразило. Удивляться приходилось скорее тому, как долго этот "фитиль" протянул. Но сейчас сообщение о смерти художника я получил в тот момент, когда держал в руках доказательство, что задуманный шедевр он все-таки создал. И почти не приходилось сомневаться, что эти два события взаимосвязаны. Главная пружина внутри этого человека, выполнив свое назначение, распустилась.

Мой собеседник рассказал мне, что картину Бацилы, чтобы скрыть ее от глаз легавых, приколотили лицом вниз к донышку маленького чемодана. С этим чемоданом ее и вынес за зону первый же из освободившихся членов хевры. Бацила к тому времени уже лежал на лагерном кладбище под совсем еще свежей фанерной эпитафией. На воле первый хозяин картины из первого же выигрыша в буру заказал на другой ее стороне вот эту бабу. Так, скрытая дозволенным изображением, она и провисела некоторое время в такой же вот общаге. Без стукачей, конечно, ни одна общага не обходится, но, как и здесь, пока начальству про картину они ничего не накапали — как видно, она даже стукачей пронимает. Но потом владелец шедевра "подзащел" на каком-то деле и снова загремел в лагерь. Срок он получил небольшой — дело шло о краже у какого-то фрайера старых валенок — и из тюрьмы прислал своему приятелю, нынешнему хозяину картины, ксиву, с наказом беречь ее до его освобождения. С тех пор тот, выполняя этот наказ, и таскает с собой произведение покойного блатного...

— А как же ты его картину на кон сегодня поставил? — задал я резонный вопрос. Парень смущенно поскреб затылок. Тут он,

конечно, малость ссучился. Крайность вынудила. Но больше этого не повторится, свободы не видать!

Возвращаясь на свою электростанцию я думал, конечно, об удивительном художнике и главном творении его мученической жизни. По привычке философствовать, когда это позволяло время и относительная сытость, я пытался сделать обобщающие выводы и из этого редкого феномена. Толстой в своем "Воскресении" утверждает, что арестантами становятся большей частью люди, которые по своим моральным качествам либо ниже, либо выше обычного уровня. Разумеется, распространение выводов, сделанных на материале царской тюрьмы девятнадцатого века, на заключенных сталинско-бериевских лагерей — дело опасное. Оно усложняется еще и тем, что в одном и том же человеке могут быть смешаны качества уголовника и одержимого высокой идеей страстотерпца. Кроме того, автор "Воскресения" вывел свое заключение, изучая, с одной стороны, воров и мошенников, а с другой — политических и религиозных сектантов. Но и в современном уголовном мире я знал не одного такого, как Бацила.

Конечно, надо быть темным блатным, чтобы верить, что этот самоучка создал произведение, имеющее самостоятельную художественную или хотя бы публицистическую ценность. Но тем, что принято называть "человеческим документом", аллегория Бацилы безусловно является. Только вряд ли этот документ на фанере сохранится сколько-нибудь долго. Нет никакой гарантии, что о картине со столь неприемлемой тенденцией не дознается местный опер или поселковый комендант и тогда она будет немедленно уничтожена. Еще вероятнее, что ненадежный хранитель творения Бацилы проиграет его в "буру" или тоже "подзайдет" на попытке стащить что-нибудь после очередного проигрыша. А попав в равнодушные руки, картина-символ превратится просто в хорошо прогрунтованную фанерку, годящуюся и как крышка для бадейки с водой и как подложка для новой картины на более веселый сюжет. Теперь в повальную моду входили копии всех масштабов с шишкинских "Медведей на лесозаготовке" и перовских "Охотников на привале". Лазурные же озера с лебедями и замками никогда из моды выходить и не думали.

Я брел медленно, резонно полагая, что если в мое отсутствие

и случился какой-нибудь вызов на линию, то по этому вызову уже отправился мой напарник. Идти было довольно далеко. Рудничный поселок, как и большинство рабочих поселков на Колыме, вытянулся вдоль длинного, неширокого распадка. За ним, через небольшой интервал, расположился лагерь. А в самом конце распадка, у подножья замыкающей его сопки, притулилась наша дизельная электростанция — длинное строение с грибами вытяжных труб на крыше. Ровное, наводящее сон гудение машин, днем слышное только вблизи от них, сейчас разносилось на целые километры вокруг.

Стояло обычное для этих мест холодное полярное лето. Время белых ночей уже прошло, но светало еще очень рано. Даже в такие вот утра, как сегодня, когда небо было затянуто довольно плотными и низкими облаками. Когда я подошел к электростанции, сопки, придвинувшиеся к ней совсем вплотную, были видны уже вполне явственно, хотя и в совсем иной цветности, чем при дневном свете. Их серовато-бурые, совершенно лишенные растительности склоны казались сейчас почти черными. Только местами, где проходили широкие, ржавые полосы промоин, эти склоны отсвечивали красным. Но только чуть-чуть и то на ближних сопках. Дальние терялись еще в мглистой тьме — в этой стороне был север.

Я ежедневно видел этот угрюмый ландшафт, очень часто даже в такое время суток и давно к нему привык. Тут такие виды повсюду. Но сегодня меня неожиданно поразило его сходство с тем, который покойный художник взял фоном для своей жестокой картины. Я остановился, вглядываясь в горный пейзаж впереди, знакомо реальный и в то же время почти призрачный в утреннем тумане. Заработало навеянное впечатлением от этой картины воображение, расставившее на окрестных склонах множество крестов с распятыми на них людьми. К тому же под многими из этих склонов протянулись бесчисленные лагерные кладбища. Только тех мертвецов, что лежат на кладбище вон под той сопкой, хватило бы, наверное, чтобы уставить крестами распятий, символизирующих их судьбу, все ближние горы до самого горизонта. А там новые кладбища и новые рощи крестов. И так во все стороны необъятного Колымо-Индигирского района "особого назначения". Действие мрачной аллегории Бацилы, полупризрачного пейзажа впереди и усталости, особенно

сильной в такие вот предутренние часы, было причиной того, что реальное и воображаемое оказались почти неразделимыми в моем представлении. Я почти физически видел бесконечный лес распятий, теряющихся в мрачной дали.

Нельзя сказать, чтобы я был не в состоянии прогнать видение. Но человеку свойственно играть в переплетение действительного и воображаемого. Я подправлял и видоизменял возникшую передо мной картину, благо для этого требовалось так же мало усилий, как это часто представляется во сне.

— Ты что, падло, уснул на ходу, что ли? — Ко мне с монтерскими крючками за спиной приближался мой напарник по дежурству, вышедший из двери монтерской, небольшой пристройки к полусарайному строению электростанции. Это был хороший линейный монтер и неплохой товарищ, но человек, страдающий избытком того, что принято называть ответственностью. Он вечно боялся недостаточно быстро поспеть на вызов или устранить повреждение недостаточно надежно и хорошо. Как будто за это он получал Бог весть какое вознаграждение, а не полуголодную "птюху". Вот и сейчас занудливый мужик накинулся на меня с бранью: — Ты шакалил на поселке или припух? Целый час жду... — В чем дело? — спросил я, проводя по глазам рукой, как будто и в самом деле спал. Оказалось, вызов с рудника, обрыв на линии к террикону. На руднике есть свой монтер, но один он с аварией справиться не может. — Айда, пошли быстрей! — И усердный ревнитель начальниковых интересов энергично зашагал в том направлении, откуда я сейчас пришел. Рудник расположился на склоне сопки, замыкавшей распадок с другой стороны. Я с трудом поспевал за добросовестным работягой, все еще не вполне освободившись от охватившего меня наваждения. Но теперь оно ничем более не поддерживалось и вскоре совсем исчезло. По мере того как становилось светлей, проходила и сонливость. Сопки в этой стороне не громоздились так хаотично и высоко, как за электростанцией, и казались просто скорее унылыми, чем мрачными. Такими же унылыми были и тянувшиеся вдоль дороги невысокие горные увалы. Местность принимала свой обычный прозаический вид. Обыденными становились и мысли.

Обрыв проводов на линии к террикону — авария довольно неприятная. Опоры для них там не врыты в грунт, как следовало

бы, — пожалели взрывчатки для ям, — а просто поставлены "на попа" и привалены невысокими кучами камней. Поэтому они часто падают и от ветра, и под тяжестью взобравшегося на них человека. Линейщикам нередко приходится проявлять почти циркаческую сноровку, чтобы не оказаться под упавшим столбом. Хорошо еще, что опоры обычно падают не очень быстро, мешают натянутые на них провода.

Постепенно обычные лагерные мысли вытеснили из головы все остальное. А дадут ли сегодня на завтрак в лагере обещанные вчера полселедки? Дизелисты, те получают эти полселедки почти каждый день. И хлеба на целых двести грамм больше, чем монтеры. Жаль, что я не могу быть машинистом дизеля, как один из заключенных инженеров здешнего лагеря. Тот, впрочем, в прошлом был конструктором двигателей именно этого типа...

Пока человек жив, проза жизни неизменно берет верх в его сознании над самыми убедительными выводами пессимистической философии. В том числе и теми, которые выражены изобразительными средствами мрачного искусства, И это, наверно, справедливо. Пусть мертвые думают о мертвом.

1972

РОМАН ГУЛЬ

"РОССИЯ ВО ФРАНЦИИ", "РОССИЯ В АМЕРИКЕ"

($15.00 и $18.50 плюс пересылка).

Заказы посылать в редакцию "Нового Журнала".

Ираида Легкая

* * *

Белые церкви Севера
Тонут в сырой земле
Белые церкви Севера
Стонут под гнетом лет
Святые светлые камни
Вопиют к небесам
О поруганных православящих
Об истерзанных телесах
О живыми в землю закопанных
О прибитых живыми к кресту
О расстрелянных об утопленных
О святых которых не чтут
О народе морившем в крысятниках
Своих пастырей и отцов
Почитавшем вместо Распятия
Палачей лжецов подлецов
Белые церкви Севера
Вопиют к небесам
Об ославленных
Уничтоженных
Не сломившимися под ношею
Имена их Ты знаешь сам

Вознесение
23/10 мая 1996

Григорий Марк

Июль 1995

Чужая изба под Москвою.
На бревнах узоры из влаги.
Я сплю за столом, с головою
зарывшись в листочки бумаги.

В окошке под облаком белым
луна сторожит мое тело.

К утру, перед самым рассветом,
стук двери, как выстрел над ухом
игрушечного пистолета.
Взлетают багровые мухи,
и сон появляется сразу
в тельняшке, забрызганной грязью.

Сияя пустыми зрачками,
ко мне он подходит вплотную,
заносит топор над стихами...
И буквы бегут врассыпную.

Так чуткое стадо животных
от тени бежит самолетной.

Чернильная струйка живая
течет из виска по листочкам,
бесшумно в стихах расплываясь.
Боль входит сквозь столб позвоночный.
И я просыпаюсь. Несмело
душа возвращается в тело.

Петух разрывает завесу
из слипшихся звезд и рассвета
над зубчатым контуром леса.
Окно наполняется светом.

Изба оживает. Спросонок
кричит за стеною ребенок.

Хозяин, весь солнцем пронизан,
в тельняшке идет через двор.
Куриною кровью забрызган
наточенный остро топор.
И мухи багровые роем
кружат над его головою.

1 янв. - 15 янв. 1995

НОВОГОДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

... И лифт меня уносит в небосвод.
Вдогонку ветер жалуется, стонет.
Пенал прозрачный в облаках плывет,
а Петербург внизу — как на ладони.

Прострочены сквозь бархат площадей
троллейбусов стеклярусные нити,
дрожащим веществом толпы людей
распластанные улицы залиты.

С броневика орет беззвучно вождь,
снуют одутловатые машины,
и моросящий, серебристый дождь
смывает лица в окнах магазинов.

Плывет припетербурженный ямбок,
синхронизуя все движенья с ритмом

тяжелой крови, бьющейся в висок,
и с бормотаньем праздничной молитвы.

Прозрачный лифт взлетает в небосвод
сквозь облаков разорванные клочья...
В нем, выйдя из телесной оболочки,
моя душа над городом плывет.

Ольга Кольцова

Губит гармоника душу мою...
Ф. Пессоа

Нет, не шарманка во двор забрела
Гулом и гамом.
Сваркою двор раскален до бела,
Сварою с хамом.

Сфинксов Садовым кольцом повезли
Тряско, со скрипом.
Грузовичок без брезента, в пыли,
С новым Эдипом.

Двое — вперед на дорогу глядят
Хладно, бесстрастно.
Двух — головой развернули назад —
В прошлое, ясно.

Не до загадок — над вечной рекой
Галочьи всклики.
Янус вечернею едет Москвой
Четвероликий.

Пробка, затор, остановка, занос,
Гвалт перебранки.

Лучше бы ветер промозглый донес
Звуки шарманки.

Сфинксов везут, словно скот, на убой —
Пропасть ли, свалка...
Старый шарманщик не спорит с судьбой,
с ветхою прялкой.

Крылья отбиты, шарманщик устал.
День догорает.
Крутится, крутится стершийся вал —
И замирает.

* * *

Не платить по счету и ждать расплаты.
Мы по сути — суки, сиречь пилаты.
Моем руки, мылим веревки, выи.
Оттираем ближних на мостовые.

Не хватило лет до скончанья века.
Человек человеку — увы, калека.
Не вервольф, не волк и не добрый малый.
Век улегся в этот размер усталый.

Время мстит за то, что царит пространство.
Постояльцам грезится постоянство.
Ни креста не выбрано, ни погоста.
Лишь гуляет ветер от Норда — к Осту.

Белой ночью Нева, как всегда крылата.
Ни рассвета толком, и ни заката.
Только зыбкий свет, где роятся тени —
Мошкара для будущих поколений.

Острова — повсюду, где спит водица.
Над волной, как водится, реет птица.

Одинаков плач на любом наречьи
В переводе с птичьего на человечий.

Март - 96
Москва

Любовь Зиновьева

М. Л.

"... Ма - рия." — кто-то сказал,
Словно медленно
пальцы разжал.
И толпа — напряженное ухо —
Уловила дыхание духа —
Дабы видеть незримую ту
Посмотрела на рук немоту
И, досадливо плюнув под ноги,
Прошептала: "Помилуй
убогих..."

В ПУСТУЮЩЕМ ДОМЕ

Пусть ветер спрятался в печи —
Ты помолчи. Ты помолчи...
Пусть паутиной по углам —
Печаль, оставленная нам.
Пусть — тихий шепот ни о чем,
Пусть этот вечер ни при чем.
Прижмись плечом к плечу печи
И помолчи.
И помолчи...

* * *

Усталой спиною большая печь
К стене привалилась, в угол.
Сейчас бы на пыльной овчине
лечь
И слушать, как шепчет уголь
За кирпичами.
На каменном дне
Текут фиолетово тени —
То — лес в умирающем долгом огне,
Где снежные топчутся ели
По самые плечи в лиловом пуху,
Багряный в закате иней.

Или все это в ночную пургу
Приснилось на смятой овчине...

Василий Яновский

ЕРЕСЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

VII

Край земли, к западу, с пепельно-глинистым отсветом потрескавшихся холмов уже несколько раз заметно дернулся кверху, и оранжевое светило, похожее на фрукт или мяч, внезапно потеряло свой жар и раздражающий блеск. Вдали, по прямой к солнцу, пробиралась двуколка: она походила на божью коровку, подползающую к абрикосу или к апельсину... Вот еще мгновение, и экипаж вместе с осликом и мужиком, пронзенные тупыми стрелами, смело припали к груди рыжего диска (и прикрыли дольку его).

Дохнуло прохладой, затрещали цикады, в саду заскрипел коростель. Над рекою бесшумно, беззвучно, как призраки в траурных фраках, прошмыгнули летучие мыши.

Село обедало; на террасах, на крытых дворах, под навесами, на крылечках снаружи лавок и домов, в больших передних комнатах — повсюду возвышались столы, заваленные снедью и как бы подгибающиеся от собственной тяжести.

Мастер забыл вчера завести часы и он не испытывал особой нужды в них. "Еще немного, — думалось ему, — и календарь окажется лишним". От Вознесения до Покрова, от Рождества до Пасхи. Этих сведений вполне достаточно для счастливой жизни. Но кому нужна счастливая жизнь?

См. НЖ № 198-199 и № 200.

Гость надеялся, что ему отведут скромный столик в трактире (подальше от стойки); он поздоровается общим поклоном при входе, и этим ограничится пока его участие в местной жизни. Но хозяева рассудили иначе: профессора усадили за главным столом на почетном конце, а вокруг на тяжелых дубовых скамьях, испещренных почему-то ножевыми и сабельными шрамами, устроились Иоакимы и кое-кто из именитых граждан: Филолай, Сова-староста и Пеликан-Эфенди (контролер, владелец каменоломни).

Бабы ели отдельно, но поблизости слышен был их гомон и гул да смешки. Зал, где происходила трапеза, был двухярусный и, как принято здесь, без окон в нижнем этаже; вверху тянулась галерея с белыми каменными перилами, а дальше (под самым сводом, выложенным квадратными розовыми плитами) виднелись уже многочисленные окна, откуда (чудесным образом) все еще проникал радостный свет.

Из кухни то и дело вбегали распаренные бабы, неся дымящиеся миски и медные кастрюли; брат Филолая, Кантемир, самолично ведавший баром, молчаливо разливал брагу и сливовицу, руководствуясь таинственными хозяйственными соображениями. Отведав из новой плетеной бутыли, обедающие неизменно затевали дружеский спор относительно качеств предлагаемого напитка и для верности тут же осушали вторую и третью рюмку.

Касьяна чествовали не только как уважаемого гостя, но и как представителя чужой, далекой расы горожан, интеллигентов, мало работающих, однако, ухитряющихся жить сытно... Тут должен был скрываться какой-то фокус, и присутствующим хотелось обязательно его разгадать. Мастера усердно подвергали допросу, расспрашивали, ловили на противоречиях. Больше всего их поражало, что этим хитрым наукам, казалось, нет конца: один учит другого, а кто учит профессора? Новый профессор? И он уже все знает?

Мастер кланялся и улыбался, вздыхая. Несколько дней провести здесь, вероятно, приятно и забавно. Но не дай Бог попасть сюда надолго ("Бедная Анюта, бедная Анюта").

Простые, сердечные отношения обедающих не представляли большой ценности еще потому, что легко и незаметно переходили в жестокое равнодушие, правда, разбавленное

известной долей снисходительного юмора. Их собственная смерть не страшила, и поэтому щадить ближнего никто не собирался.

Колбаса, жареная птица, баранина вперемешку с насмешливыми поговорками — все это возбуждало жажду особого порядка, которую утолить могла только сливовица да местная брага (после чего, впрочем, опять тянуло к жареному и тушеному мясу). Получался замкнутый, но совсем не порочный круг: выпив, народ стремился сразу закусить... А желтая фасоль с турецким перцем снова напоминала о сливовице. Впрочем, все это отлично умещалось в желудке. Несмотря на внешнюю грубость нравов, процесс еды с частыми паузами и театральными приветствиями свидетельствовал о своеобразной тысячелетней культуре, пронесенной через темные периоды истории героями и жрецами (о чем, однако, беззаботные потомки вряд ли догадывались).

Бороды вокруг стола цвета кофейной гущи беспрерывно колыхались; мужики веско роняли свои замечания, не совсем уместные (но потом вдруг в дальнейшем оказывающиеся и остроумными, и осмысленными). Одни все острили, другие, главным образом, посмеивались и сплевывали, третьи даже пели, аккомпанируя себе на гуслях.

Последовательно принимали участие в беседе только два Иоакима (Турок и Табак) да Филолай и еще набобы: Пеликан-Эфенди, Сова-староста. Филолай великодушно брал под свою защиту гостя, помогая ему в неравном споре и стараясь всячески выгораживать его из смешного положения (поражения мужики никому не прощали).

По существу Иоакимов волновала только одна тема: как выжить и сохранить для себя весь урожай, ничего не отдавая замку или казне... Куда зарыться, спрятаться, да так, чтобы город и чужие раз навсегда перестали их беспокоить?

Их правда жизни заключалась в том, чтобы самому лично и всему клану продолжать отгребаться от сил природы именно так, как повелось искони: здесь сила и мудрость. И как пастуху случается сыграть на дудочке трогательную, однообразную мелодию, так и мужикам удавалось порою сказать нечто верное о религии, науке, человеке; но как нельзя освоить музыку во всем объеме, без контрапункта, так здешние дикари не могли

воспринять целиком сложной ткани жизни, не учитывая всей ее умозрительной, общественной и художественной реальности.

Эти люди обожали всякого рода форму, этикет, представления: свадьба и крестины походили на классическую оперу... Не дай Бог священнику отступить от старинного (быть может, даже языческого) обычая. Церковное богатство дополняли — басы в хоре, поросенок после поста, рождественская кутья, крестный ход на св. Кассиана (обязательно в полночь).

За столом говорили много о престольном празднике 29-го февраля; этим рассказам способствовала близость завтрашней (четверговой) ярмарки, на которую уже стекались хуторяне, норовя занять места получше на базаре. Крестьяне из долины смотрели на жителей села, как последние на горожан — отчужденно (враждебно). Мужики выгружали свои тюки и корзины на площади под открытым небом, распрягали скотинку, оцепляли товар веревкою, прикрывали мешком или соломою... Потом усаживались тут же, доставали еду, сливовицу, трубки, готовясь так провести ночь. Некоторые, впрочем, заглядывали в корчму, брали кофе, здороваясь и заговаривая с Иоакимами. Жандарм (Таракан), вытирая пот с неизменной красной полосы на лбу, важно осведомлялся:

— Номерок имеешь? — и, получив отрицательный ответ, добавлял. — Вот уже справлюсь здесь, так займусь вами, купцами гильдейскими.

— То ли дело на Кассиана, — вздыхал Иоаким Табак и начинал повествовать, как одаривают блюстителя порядка, чтобы получить номерок на бойкое место: спорят, хитрят, дерутся.

— Люди, что муравьи, ползут со всех сторон. Из дальних и близких земель. Сколько телег, экипажей, лошадей, даже машин. Один турок на верблюде приезжал. Только вот уже два Кассиана пропустил, должно быть, умер, а то верблюд околел.

— Ха-ха-ха, вот оно как, — заливались Иоакимы, словно гибель верблюда на их дорогах способствовала росту национальной славы.

— Ковры, кружева, изразцы, покрытые глазурью. Бабьи примочки, горшки, железо, ткани.

— Мед, дыни, сливы, орехи. Одним словом, Кассиан! — решали мужики. — Он нас кормит.

—Ничего, обротаем, — безапелляционно уверял Филолай.

— А как гуляют, закончив торг. Служат молебен и лопают. Купцы именитые сигают в прорубь, потом лезут на скользкую мачту за парой новых сапог. И смех и грех. Ночью вот в этом самом зале гремит настоящая музыка, горят большие лампы и все играют в карты с заезжими гастролерами. А пухлые женщины с голыми животами пляшут на столах: у них, у каждой, по дорогой жемчужине вместо пупка, ей Богу!

— Нам город не указ, — хвалились Иоакимы. — Мы сами управимся. Без электричества...

Когда в замке поставили динамо-машину, Епископ предлагал селу ток по себестоимости, но мужики отказались:

— Это что, в новую кабалу идти?

— Феликс, он тебе пропишет электричество, — смеялись Иоакимы. — Не рад будешь солнечному свету, ха-ха-ха.

Чем, собственно, в настоящее время замок обижал село, трудно было понять. Из отрывочных и шиничных замечаний мужиков явствовало, что древнее право первой ночи давно уже заменено трудовой повинностью или подарком собственного изделия. "Привилегия козы" заключалась в том, что замок выдавал каждому двору по животине, и хозяева должны были ежегодно поставлять господам по козленку:

— Хоть купи, а принеси!

Теперь уже не дарят больше козы (или овцы), но цену приплода обязательно взимают. Еше будто бы хозяйкам глухонемая выдает по курице, и бабы все лето должны снабжать замок яйцами:

— Хоть сам клади их.

— Епископ, он хороший человек, — неизменно оговаривались Иоакимы. — Конечно, к девочкам, бывало, приставал, да теперь охолостили доктора́.

— Ничего, обротаем, — утешал Филолай.

Еще неожиданные обиды и споры порождали — свиньи в поле. Пеликан-Эфенди (контролер) процитировал наизусть древний закон, которым туземцы здесь очень дорожили: "Если какой-либо муж в ночное время застигнет свинью, причиняющую ему потраву, и убьет ее, ему не нужно за нее пла-

тить..." Замок все еще пользуется этой льготою, а Иоакимам запретили.

— Это Феликс всему голова, — утверждал староста Сова.

— Берегись Феликса, — уверяли остальные собеседники. — Его воля теперь.

Но Иоаким Табак опять возвращался к приятным воспоминаниям:

— А как едят на Кассиана! Разве это обед? — и одним взмахом корявой руки он вдруг смел на пол миски, тарелки и стаканы (благо, все уже были сыты).

— Вот так, это правильно, — поддержали его. — Ты, профессор, на Кассиана к нам приезжай. Тебе понравится.

— 29-го февраля здесь всегда хорошая погода, — решительно заявил стражник Таракан, шевеля усами.

— А ежели нет, мы 23-го июля опять празднуем Кассиана, — примирительно заметил Кантемир. Но на него накинулись другие мужики:

— Нам 23-го июля не подходит, — сказал Иоаким Табак.

— Не любим мы этого, — согласился Иоаким Турок.

— Это ежели на самый крайний случай, — рассудил староста Сова.

— А когда следующий Кассиан? — внезапно осведомился Мастер.

Народ сумрачно задумался.

— Скоро, что ли? — настаивал гость.

— Нет, не скоро, — ответили ему после паузы. Купцы солидно моргали глазами. И стражник, уже не вытирая пота со лба, подтвердил: — Нет, не скоро.

— Почитай, две зимы еще, — решили наконец кругом. — Это тебе священник отлично расскажет. Он всегда вперед видит, — успокоили Иоакимы профессора.

— А что вы знаете о святом Кассиане Римлянине? — опять спросил Мастер.

Вдоль стен залы давно уже толпились грудастые женщины, закутанные в шали, грызущие сладкие орешки или рахат-лукум; банды детворы, гоняясь по все еще багровой площади, то и дело пробегали мимо трактира, где обедали старшие: их визг звучал в унисон с рычанием псов, подбиравших с пола горячие кости.

— Ты насчет чего про Кассиана интересуешься? — тщательно произнося каждый слог, осведомлялись Иоакимы. — Ты это насчет чего?

— Кассиан, он святой монах был, — гладко (разбежавшись) проговорил Иоаким Турок и смолк, укладывая поудобнее неповоротливый язык во рту.

— Ты, милый человек, ступай к о. Нектарию, он тебе объяснит, — успокоил Мастера другой Иоаким (кажется, Драный).

По всему чувствовалось, что отвлеченные рассуждения им враждебны и чужды. На Мастера Касьяна они смотрели свысока, убежденные, что без мужицкого мозолистого труда он (и другие горожане) незамедлительно околеют с голоду. А гость был уверен, что без него (и ему подобных) эти Иоакимы давно бы вымерли или выродились (окончательно).

— Преподобный Кассиан, — начал Мастер упрямо, — он мост между восточным и западным христианством. Святой Кассиан жил в пятом веке, когда блаженный Августин ругался с Пелагием, и оба они друг друга обвиняли в манихейской ереси... Так теперь, к примеру, нас называют реакционерами или коммунистами, не угодными отечеству.

Это сравнение пришлось по вкусу Иоакимам, даже обрадовало их:

— Тащи и не пущай.

— В полицию.

— Там разберут, известное дело.

— Главное, берегись Феликса, — ввязался Таракан.

— Ничего, обротаем, — ввернул Филолай. — Да ты не волнуйся, — ободрял он гостя. — Мы все понимаем.

— Уж как понимаем, — удивляясь собственной сообразительности, протянул Кантемир.

Мастер твердо продолжал:

— По блаженному Августину выходит, что человек в своем естественном состоянии безнадежен и мертв.

— Это что и говорить, — сразу согласился Иоаким Турок.

— По Пелагию получается, что человек в своем естественном образе праведен и здоров.

Это утверждение вызвало одобрение со стороны купцов и

вообще привилегированных членов общества. Староста Сова воодушевленно подтвердил:

— Это правильно. Если оставить в покое мужика, он отлично проживет.

— Очень даже просто.

— А наш Кассиан Римлянин учил, что каждый человек в своем натуральном положении не мертв и не вполне здоров, а болен... но может еще излечиться. Ему открылось, что спасение и благодать никак и никогда не ограничены, не предопределены...

Но народ заскучал; чтобы направить беседу в более привычное пусло, Филолай осведомился:

— А ты тропарь на 29-ое помнишь?

— Знаю, — охотно откликнулся гость.

— Это хорошо, давай попробуем...

И они сперва разрозненно, грубо, но постепенно все стройнее и благообразнее затянули родную молитву:

"В тебе, Отче, известно спасеся еже по образу:
приим бо крест последовал еси Христу..."

И вот уже бабы проникновенно подхватили (впрочем, коверкая слова):

"Тем же и со ангелы срадуется, преподобие Романе,
дух Твой".

И почти без паузы опять уже единым кругом пропели все сначала. И это отчасти напомнило гостю пасхальный звон, запах черемухи, восход солнца.

Хоровое пение завершилось новым тостом с обязательными повторениями, после чего Иоаким Турок весьма кстати предложил:

— Давай покажем профессору, как народ здесь гуляет на Кассиана.

Все разом встали из-за стола; пошатываясь, оправляя одежду, гурьбою повалили на площадь. Сверкнули плошки и факелы, завизжали (радостно) собаки и бабы (в темноте где-то шипели потревоженные гуси).

Точно в цирке, мгновенно был поднят огромный гладкий столб — с флагом на макушке. И полуголые, босые, бородатые Иоакимы полезли вверх, срываясь, падая и снова цепляясь за мачту. Затем все они единым махом покатились во мраке с

обрыва: казалось, огромное, многочленное, многоголовое, дебелое чудовище лезет в тесное ущелье. Ночное небо слабо орошала новорожденная луна: не видно было, только слышно, как там, глубоко внизу, река трещит по швам от упавшего в нее допотопного многоголосого зверя.

VIII

Ярмарка на следующий день протекала гораздо проще и скромнее вечерней репетиции. Мастер проснулся поздно. У мужиков на площади вид был сумрачный и нечесаный. Часть хуторян уже тянулась цепочкой в трактир, другие еще торговали, посасывая бутылку или трубку. Натуральнее и приветливее себя держали животные и птицы, впрочем, собаки, многочисленные и разнокалиберные, повсеместно злобно огрызались.

Есть такие художественные картины (панорамы), где часть изображения восполняется "реальными" деталями, вроде лемеха плуга или острия штыка: если притронуться — действительно железо! Нечто подобное представляла из себя теперь яркая площадь с римским фонтаном, заваленная всяким добром, свежей живностью, переполненная людьми и домашним скотом, заливаемая дождем света и горного (меняющегося) воздуха.

Бабы все еще спорили над зеленым горшком, покрытым глазурью, рвали из рук набор ярких лент, прижимали к груди круг сыра. Мужики из последних сил кричали и божились, хлопали по рукам и передавали (в полу) повод невинного и послушного жеребенка. Сварливые псы зорко следили, как у мясной человек в окровавленном фартуке разделывает тушу овцы, и вдруг всей сворой набрасывались на желтоватую голову с подведенными, стеклянными глазами.

У церкви маленькая Катерина, тоненькая, гибкая и зеленоокая, тянула за конец толстой (пыльной) веревки, и древний колокол покачивался в такт, наполняя окрестность дребезжащим благовестом. Сморщенный гном с красными веками и тотально лысый, в упряжке многих музыкальных

инструментов плясал у трактира, приводя в движение одновременно бубны, барабан и литавры.

А кругом все те же отступающие вглубь горы с темно-фиолетовыми облаками, синие кляксы лесов и нив, зеленая пена скованной реки и потоки, потоки благословенного света с небес: холодных и теплых, ярких и ласковых, земных и вечных.

— Она прелестна, она лучезарна... — опять пел мальчик Драго, плывя над площадью: он вытягивался на пуантах, пронзал воздух ручонками, похожими на лебединые шеи, и все кружил возле церкви.

Но вот девочка Катерина отзвонила свой урок и тоже побежала по площади, подобная василиску, смеясь и не оглядываясь на кружащегося бледного мима.

— Она прелестна, она лучезарна, она солнце, — повторял он, жмурясь и завороженно следуя за нею.

На всей площади (а может быть, и дальше, в долине) не было ничего значительнее или прекраснее этих подростков, бегущих по кругу без надежды когда-нибудь нагнать друг друга. Впрочем, о. Нектарий тоже спешил за ними, размахивая посохом: народ, козы и ослики почтительно расступались, пропуская иерея.

Неожиданно налетал порыв ветра (совсем другого порядка), и тенты палаток надувались, как паруса в бурю; кое-какие шатры или навесы совсем опрокидывало, и площадь на мгновение точно начинало кренить набок: создавалось впечатление всеобщей неустойчивости, хрупкости. Тогда музыка сразу смолкала, гомон стихал и только слышны были нелепые возгласы из трактира.

— Ничего, обротаем, — уверял по-прежнему Филолай.

И через мгновение все опять принимало обычный вид: ветер уносило куда-то в преисподнюю, площадь выпрямлялась, река капризно всплескивала, и народ, подбодряемый потоками света и красок, ворочался на базаре, словно один многоокий зверь.

Вот через мост, где уже расположились торговки с товаром помельче, поделикатнее, проехала колымага из замка: копыта и колеса отчетливо (одухотворенно) простучали по доскам. Маркали с Катериной (женой) везли на базар запасы орехо-

вого масла, сливовицы и кожи. Некоторые продукты замка славились во всей округе.

Меркали умел и любил всучить залежавшийся товар глубокомысленным простачкам; вот почему он появлялся на рынке попозже, когда мужики успевали основательно разгуляться. За это свое искусство цыган уже неоднократно пострадал... Иоакимы (по местному обычаю) его подвешивали за ноги и секли кнутами: в присутствии обеих Катерин. Что, впрочем, ничего не меняло в общей экономике страны. К следующей ярмарке цыган опять появлялся на своем высоком фургоне и со свистом и песнею, таинственно улыбаясь, обмеривал, обвешивал простодушных Иоакимов.

Опять по мосту дробно простучали копыта целой кавалькады всадников. Спереди на оранжевых кобылах, картинно гнувших шеи, скакали — Зора и Чако. Все спешились у гостиницы; Мастер похлопал лошадей по горячей (розоватой) коже, услышал, что их зовут Флорой и Фауной. И хотя скакуны были похожи друг на друга, эти различные имена им весьма подходили.

— Она прелестна, она лучезарна, — пел мальчик, проплывая на цыпочках над площадью.

— Что это? — возбужденно осведомилась Зора.

— Некто Драго, — радостно сообщил Мастер.

— Из каменоломни, — хмурясь, объяснил Чако. — Давно рехнулся, оборвыш.

— Влюблен, — решительно заявил гость. — Чудесное событие. Флорентинское чудо. В Арктике расцвела пальма. Влюблен в Катерину-маленькую.

— Профессор, что будет дальше? — тихо спросила Зора, жмурясь от света (и счастия).

— Не знаю. Ведь ничего не изменилось и не может измениться. Эти дети мне преподали урок.

— Вас приглашают на обед, вы придете?

— Приду, если приглашают.

— Пригласят, на завтра, — подтвердил Чако. — Феликс.

— Я в субботу или в воскресенье уеду отсюда, — сказал Касьян, глядя поверх русой головы (с прядью мягких вьющихся волос на лбу).

— Дайте мне еще раз объясниться с отцом, — взмолилась девушка. — Во всяком случае мы вместе уедем.

Между тем Епископ величественно обходил базар, кое-где останавливаясь и обмениваясь шутливыми замечаниями... Гостю он протянул белую и беспощадную руку.

— Веселится народ, — заметил он, любезно усмехаясь. — И тут же работает, торгует. Это, кажется, социальный идеал.

Молодежь смотрела на него и молчала. Чако дожидался продолжения речи: ему почти всякая фраза (мысль) казалась недоконченной.

— Я сегодня, вообразите, думал о благодати и предопределении, — сообщил Епископ, обращаясь исключительно к Мастеру. — Как нынче разрешают эту шараду, вы знаете, — продолжал он дружески. — Ведь я на блаженном Августине сломал себе хребет. Впрочем, я и без блаженного, вероятно, свернул бы себе шею. Но его опыт способствовал, конечно. Я, подобно Августину, приехал из провинции в столицу, как он, увлекся девицею и купил ее. Тут предел очевидному сходству. Ибо он смог уйти из-под власти привычных соблазнов. Кстати, мамаша, святая Моника, ему помогла отделаться от женщины и от прижитого ребенка: вырвать ее, "как шип из раны", пишет он. А я, наоборот, все больше и больше погрязал, лелея эти шипы. А вместе с тем, ей Богу, в мечтах мы оба стремились к тому же идеалу. Но вышло по-разному. Неужели это все предрешено, раз навсегда? Получается, что человек не может своими силами себя спасти, но погубить себя самостоятельно очень даже способен. Ибо не станет же Бог способствовать его гибели?

Несмотря на вполне серьезный тон, манера речи Епископа сохраняла свойства придворного шармера, светского болтуна, никогда не теряющего чувство меры. Он успевал улыбнуться или ответить на поклон мужику, погладить по щеке красивую бабу, пощупать холст или кружево на ларьке. К концу он даже взял Касьяна под руку, уверенный, что тому это приятно, и повел его по рядам.

Гость, не вполне доверяя его искренности, все же счел долгом ответить Епископу:

— Мы признаем отныне только статистический детерминизм, а не индивидуальный. Известно, что из ста тысяч

стариков, зимою умрет четыреста... Но кто отдаст Богу душу, а кто выживет, никто предсказать не может, и это не предрешено! Наоборот, доказано, что на микроскопическом уровне все существующее свободно, ибо совершает самопроизвольные скачки. То же самое, вероятно, происходит с благодатью. Написано, что меньшинство, 144 тысячи, станут по правую сторону в день Страшного Суда. Но кто именно очутится там, а кто окажется слева, это уже дело личного выбора. Статистика для меня с вами ничего не означает: нас интересует только каждый отдельный случай. Один атом радия немедленно распадется, а другой просияет еще десятитысячелетие. И никто не знает заранее судьбы этого атома...

— Неужели десять тысяч лет, — сказал Епископ, рассеянно и все же с удовольствием рассматривая румяные лица подгулявших баб. Держа Мастера крепко за локоть, он вдруг благожелательно осведомился: — Не думаете ли вы, профессор, что следовало бы сообщить Зоре обо всем?

— То есть, о чем всем? — у Касьяна было чувство, что его неожиданно хватили кулаком по темени.

— Ну, что вы и ее отец — братья.

— Нет, я не думаю, — сдерживая раздражение, ответил гость. — Это все досужие догадки и, пожалуй, ненужные.

— Но если вы — мой сын, а это как будто верно, то Феликс — ваш брат, — терпеливо, словно тяжелобольному, объяснял Епископ.

— Все люди — братья, — сухо возразил Касьян. — Братья и не братья и еще нечто третье. Вообще для нас с Зорой не существует необратимых процессов. Из каждого положения должен быть свободный и неожиданный выход.

— Надо сознаться, что вы последовательны в своем безумии, — заметил Епископ.

— Смотрите, профессор, — крикнула Зора, нагоняя их, — вот Катерина-маленькая, дочь Маркали.

— Ну уж обязательно дочь Марка Али, — недовольно пробормотал Епископ. Мастер впервые сообразил, откуда произошло имя цыгана Маркали (мелькнула еше тень бесформенной мысли, но тотчас же скрылась во тьме).

Близко пробежала гибкая девочка со стянутыми синими косами и обдала всех потоком зелени — из огромных глаз. За

ней легко плыл на пуантах Драго, завороженно шевеля губами.

— Что поделаешь, — искренне сокрушался Епископ, — растет без семьи, а способный парень.

— Нами разработан план социального преобразования, — радостно сообщила Зора. — Дайте каждому новорожденному те деньги, которые он потом заработает, и он сможет расти, учиться ремеслу и трудиться. Тут следствие становится причиною.

— Да, я это уже слышал, — поддакнул Епископ. — А как в политике? Там, пожалуй, труднее из следствия сделать причину? — он рассеянно следил взглядом за молодухой, кормившей белой грудью сморщенного младенца.

— Совсем нетрудно, — подхватила Зора. — Смотрите, то, что казалось величайшим поражением демократии, обернулось ее победою. Американцы теперь подружились с русскими только потому, что Китай стал коммунистическим... Но это не все. Почему воевать с китайцами? Докажите Пекину, что летающие диски угрожают всему человечеству, и он тоже объединится с нами против нового врага. Надо начинать с конца, тогда появляются недостающие предпосылки, — девушка говорила известные Касьяну истины, но ликующий взгляд ее песчаных глаз свидетельствовал о другом, не знакомом ему еще торжестве.

— Значит и политика вами усовершенствована? — заметил Епископ.

— Даже искусство, — не замечая иронии, продолжала Зора. — Новый роман не должен нести причинно-следственных, социальных, логичных или психологических оков. Действие развивается спонтанно, свободно, оно не предопределено привычными ассоциациями.

— И в частной жизни? Тоже все устроено вами?

— Тут поле еще открыто для смелого исследователя, — счел нужным вмешаться Мастер. — Но кое-какие возможности намечаются, — продолжал он невозмутимо. — Так, например, когда человека любят, его начинают понимать, а понять — это будто бы простить. Нельзя ли перевернуть вверх ногами эту зависимость, обратить процесс вспять... Если понимать и прощать его, то, очевидно, в конце концов полюбишь этого человека.

— Да, да, очевидно, — со вздохом согласился Епископ.

В ботфортах, размахивая хлыстом, по площади продвигался Феликс: народ расступался, многие кланялись. Через головы нескольких торговок, мявших в руках битую птицу, он крикнул Касьяну:

— Зора жалуется. Надеюсь, вы не откажетесь разделить с нами трапезу, хотя бы для нее. Милости просим завтра к обеду.

Гость молча поклонился, и Феликс продолжал:

— Вот, веселится народ.

— Что ж, после трудов не грех и погулять, — отозвался Епископ.

— Знаем мы ихние труды. Предлагали электричество. Отказались. "Не желаем", говорят, "кабала". А чего им хочется? Спать по восемнадцать часов в сутки восемь месяцев в году. Это им нравится! — Феликс внушительно махнул хлыстом и зашагал к фургону, где, судя по воплям, Маркали приходилось туго.

— Феликс к вам тоже относится критически, — сказал Мастер задумчиво. — Он все рубит сплеча. Кстати, — продолжал он любезно, — в вашей личной жизни имело место изрядное количество загадочных, спонтанных скачков, ничем не объяснимых и не предопределенных. Гусар, гвардейский офицер становится вдруг священником. Затем превращение в еретика, в расстригу, Казанову, графа Монте-Кристо. И снова таинственная метаморфоза: уважаемый барин, владелец старинного поместья, патер фамилиас...

— Да, это так выглядит, — добродушно согласился Епископ. — Вы ссылаетесь на Планка, Бора, волновую механику, а я, ей Богу, пятьдесят лет тому назад все это уже предчувствовал. Главные и решающие поступки мои, черт ведает, откуда исходили и вовсе не являлись закономерными следствиями предшествующего.

— Вы, Епископ, отчасти новый человек, — согласился гость. — Я это сразу понял. Жаль только, что вы столько энергии потратили на половые подвиги.

— А вы разрешили для себя половой вопрос? Надеюсь, это не запрещается новой физикой?

— Нет, не запрещается, — с трудом выговорил Мастер, следя глазами за Чако и Зорой, в другом конце базара выби-

равшими глиняные игрушки. — Нет, это не запрещается, кажется, — продолжал он. — Клетки имеют тенденцию воспроизводить себя в несколько улучшенном образе. Мутация, и мутация в сторону совершенства — закон живой ткани, такой же универсальный, как закон тяготения в сфере косной материи. Но вы, Епископ, повторяли себя без всякой попытки к улучшению, как кристалл или минерал. И это грех, биологический грех.

— А между тем, — серьезно заметил Епископ, — если бы мне доказали, что воздержание — добро, а распутство — зло, я бы сумел отказаться от плотских затей, ибо воли, мне кажется, хватило бы... Но вот половина ребятишек, что бегают здесь, — мои дети, или внуки, или правнуки, — он рассмеялся. — И ей Богу, мне это даже приятно... Сознание всего этого в целом, так сказать.

— Я так и думал. Вы — демоническое существо.

— Мне это часто говорили в молодости, — оживленно подхватил Епископ. — Главным образом дамы. Кстати, я совершенно не помню вашу мать, но вас я узнаю почему-то. Нечто близкое и знакомое, хотя и враждебное и опасное проглядывает. Не следует преждевременно отчаиваться. Может быть, вы и есть моя усовершенствованная версия, в смысле клеток и биологии, — лицо Епископа, величественное, исключало возможность насмешки.

Касьяну вдруг пришла в голову дикая мысль стукнуть старика кулаком между глаз. Но он вежливо улыбался и молчал (по его теории таким путем шло преодоление законов термодинамики и энтропии).

— Профессор, мы вас ждем завтра, — раздался голос, похожий на благоухание.

Зора садилась на Фауну, и Маркали, сверкая гордыми, горячими глазами, держал серебряное маленькое стремя в своей синей ладони.

Всадники, а за ними коляска Епископа, потянулись через мост: послышались ясные, процеженные звуки копыт — точно из другого мира. Две оранжевые античные кобылы ретивым галопом понеслись по дороге к парку: видно было, как Чако сдерживает свою Флору, чтобы пропустить вперед девушку. Небо, река, зелень и горы казались оркестром, повторяющим

одну и ту же сюиту. И Мастеру Касьяну (без перехода) стало ужасно грустно. Он, кажется, играл роль дурака и вовремя не спохватился. Теперь поздно, ах, ах, ах. Мастеру было давно знакомо это состояние души и он убедился, что в таких случаях имеются только три выхода: самоубийство, вино или сон... Он решил избрать третий вариант: немедленно зарыться головой в подушку.

В комнате с окнами на север было прохладно, тихо и даже торжественно, точно в церкви (или на кладбище).

Проснулся он уже в полной темноте; в окно сочился запах свежескошенной травы (с привкусом сладких полевых цветов). Этого дурманящего (и естественного) аромата он себе в городе даже не представлял и теперь только радостно дышал. Из ближнего сада доносилось нежное неумелое щелкание молодого соловья.

Все в доме спало, и гость, никем не замеченный, вышел на крыльцо: площадь уже опустела, только кое-где при свете слегка раздобревшей луны виднелись кучи мусора или соломы. Нежный серп висел над самой рекой, и Мастер вспомнил отца Нектария с его бородою.

Вода пенилась под мостом, свежий ветер с гор дышал ледниками, а из долины струился запах земных плодов.

Почти все живое спало, только волны света, воздуха, воды, звуков продолжали бодрствовать, заполняя непостижимую пустоту. Касьян перешел озаренный дымчатым сиянием мост: это было как шагать по радуге с одного берега на другой (а внизу темная и злая бездна).

В парке кедры чуть шевелили листьями: так монахи спросонок перебирают четки. Священные дубы равнодушно пропускали чужеземца мимо; Мастер брел по серебристой тропинке, изрезанной синими тенями, болтавшимися, точно белье на веревке. Луна заполняла все небо: она и на площади, и на мосту, и в парке (может быть, на небе много лун?)...

"Она прелестна, она лучезарна, она благодатна", — повторял Касьян (он, кажется, плакал).

У высокой ограды остановился. Но каменная белая калитка не была на запоре, и ночной гость, скрипнув ржавым болтом, переступил через кривой порог. Все молчало, иногда только огромный мотылек с размаху ударялся о стену и падал,

изнеможденно (или восторженно) шелестя сухими крыльями: он не был приспособлен к жизни и все-таки выжил в этой кромешной исторической ночи. Вдруг над этим единственным благословенным летним парком прогремел четкий, одинокий (и даже словно мирный) ружейный выстрел.

Мастер попятился назад, припав к базальтовой ограде. Встревоженная птица не совсем кстати свистнула, дико содрогаясь, проревел кролик, которому привиделся вещий сон. Опять все смолкло; прерывисто билась река, поскрипывали балки моста (или это стволы гигантских лип?). И, не выдерживая тяжести лунного света, гнулись к земле молчаливые травы.

Постояв с минутку, Мастер опять осторожно переступил вперед, и почти сразу за этим раздался повторный озорной выстрел, чем-то напомнивший дикий смех Маркали. Этого гостю показалось вполне достаточным, он повернул назад.

Лучезарный, зеленовато-фосфорический мост... Внизу всхлипывает горная река — точно она переполнена голодными мышами, а не острыми волнами. Вот тихая (и все еще розовая) площадь с римским фонтаном, извергающим не то свет, не то сукровицу жизни.

И было непонятно, для кого или для чего так стараются и луна, и горы, и деревья, если все разумное на земле, способное восхищаться, спит непробудным сном.

Бессознательно Касьян прислушивался, ожидая еще выстрелов и пулеметных очередей, пушечной пальбы, бомбовозов, освещаемых букетами взрывов... Ночной ружейный перекат за рекою воскресил погребенные в его душе зловещие призраки.

IX

Проснулся Мастер Касьян рано. Ему почудилось: тяжелое, постороннее тело внезапно навалилось на него... Действительно, посредине комнаты громоздилась огромная фигура Маркали, похожая на статую, заслоняя воздух и свет. Дверь, подпертая давеча табуретом, теперь была распахнута настежь.

— Вы что? — встрепенулся Мастер.

— Приказали уведомить, обед завтра, — смущенно доложил цыган.

— Не завтра, а сегодня, — сказал Мастер, внимательно его разглядывая.

— Глухая отложила, так что завтра. День прекрасный, — добавил Маркали, замявшись.

— Да, да, вставать, — решил гость и доверчиво осведомился. — Солнце еще не взошло?

В сумерках сверкнули: кайма зубов, крест на шее и серьга в ушной мочке. Могучий и дородный, среди смешной комнатной обстановки, цыган походил на первобытного бога, чувствующего приближение конца своему владычеству (и все же торжествующего).

— Еще что-нибудь?

— Здесь близко каменоломня, — вкрадчиво сообщил Маркали. — Знатный розовый мрамор поднимается прямо к небу, как в Библии лестница Якова. Я вас провожу, — и почти умоляюще, — очень занятно.

— Пожалуй, если ненадолго, — согласился Мастер. — Я в общем занят и ничего не понимаю в мраморе.

— Очень занятно, — обрадовавшись, повторил цыган.

Они спустились с галереи и пересекли сперва пустынную площадь с собаками, затем узкий мост, весь пронзенный солнцем; проплутав довольно долго по оврагам и ложбинам, выбрались наконец на крутую козью тропу. Над ущельем парили хищные птицы, то одна, то другая вдруг судорожно устремлялись вниз, ударяя клювом в речную пену... Большие и неповоротливые, они потом с трудом разворачивались и взлетали, маневрируя, чтобы не задеть крыльями тесных и высоких берегов.

— Сколько рыбы, эх, — цыган плотоядно щелкнул языком.

У воды, раскачиваясь, подавал таинственные знаки камыш.

— Какая здесь рыба водится? — спросил Касьян. Ему было неловко (больно) смотреть в лицо Маркали и он до сих пор не разобрал еще цвета его глаз.

Цыган не отвечал, только поводил головою в такт движений долговязой птицы. Он, по-видимому, чего-то хотел от

Мастера, и тот подумал, что если бы теперь пришлось им вступить в единоборство (на узком перешейке), то грузный Маркали, пожалуй, оказался бы победителем.

Тропа становилась все круче и уже, что вызывало громоподобный смех у проводника; впрочем, в особо опасных местах он неизменно и умно помогал Мастеру пробираться вперед.

Они свернули в расщелину и вскоре попали на широкую проторенную дорогу, ведущую прямо в нутро плоской горы: навстречу блеснули, переливаясь, цветные узоры и розовые звезды яркого мрамора. Кругом валялись пегие глыбы вроде допотопных чудовищ: в их угловатой неподвижности таилась еще неосознанная ангельская чистота первозданного мира.

Карьер уступами разбегался вглубь и вширь, его, очевидно, эксплуатировали кустарным способом тысячелетиями, выколупывая самое доступное и ценное. Местами все было запущено, заброшено, в состоянии дикого упадка, словно воды потопа или полярные ледники завернули сюда ненароком, а дальше опять зияли раны, яркие опухоли свежей разработки. К центральному гроту даже был проложен игрушечный рельсовый путь для вагонеток; ветер назойливо посвистывал, и сухой ослиный помет шелестел, кружа на одном месте.

Маркали с гордым видом сообщил, что памятники из этой каменоломни вывозят на кладбища Венгрии и Турции. Лучше всего из местного мрамора получались почему-то ангелы.

— Ударишь молотком раз, ударишь два, ежели ты мастер, и готово, вот тебе ангел или архангел, — весело объяснял цыган. — И дьяволы отличные выходят. Другие существа не даются, а силы небесные сами прыгают из камня, точно готовые там хранятся и только дожидаются своей очереди, чтобы ожить! — он загоготал, с удовольствием прислушиваясь к многоголосому эхо. — Во время войны здесь партизаны целый год держались, — продолжал он вполне серьезно, даже торжественно. — Враг смотрит сверху и видит: полк чертей с гранатами и ружьями. Это мы высекли несменяемый караул... На камнях умирать легко, — заявил он вдруг тихо. — Камень, он самый благородный на земле, вот почему годится для памятников и саркофагов.

— Вы так думаете? — спросил Мастер, не вполне понимая волнение цыгана.

— Я, когда еще маленький был и глупый, обнимал камень здесь как бабу, — отчетливо продолжал Маркали. — Семя мое голубое, а мрамор розовый. Из камня все началось, — заявил он решительно. — Камень внутри живой. Он был до нас и всех переживет: памятник, одним словом. Из камня кладут фундамент. И песок сыплется из камня. Цемент, асфальт — тоже камень. Города этажные и пустыни песчаные — из камня. Горы, дюны и дно морское были есть и будут камнем. Кто строит на песке, строит на том же камне... Петр, первый апостол, пасет овец, а имя ему камень. Есть еще камень преткновения для творящих беззаконие. И камни стен возопиют от неправды. А камень, отвергнутый строителями, лег во главу угла! — цыган стоял на вершине скалы, сам теперь похожий на гигантский памятник, и вдохновенно пророчествовал. — Цельный камень ставили Богу и на нем возносили всесожжения. Мойсей писал первые заповеди на камне. И поднял Мойсей руку свою и ударил жезлом в скалу дважды и потекло много воды и пило общество и скот его... А там, дальше: Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем... Камень отзывчивый как никто, он быстро согревается на солнце и превращается в лед зимою. Видишь эти жилки в мраморе? Это наша кровь от Каина до меня. После смерти все мы превращаемся в глыбу с синими кровоподтеками.

Он собирался еще продолжать, но в это время из-за груды мелких плит выскочила и поползла, точно ящерица, по крутому склону тоненькая, гибкая девочка с маленькой (хищной) головкою. Цыган сразу гикнул, как на охоте, и побежал за нею, перепрыгивая с утеса на утес: наконец, поскользнувшись, он нелепо съехал вниз по скату, стукнувшись задницей. Раздался тихий (ядовитый) смех девочки, она обернулась, поглядела, и лицо ее, казалось, вспыхнуло зеленым цветом.

— У, у, глаза змеиные, я тебя! — крикнул Маркали, явно любуясь ею.

Искусно перескакивая с одной конической глыбы на другую, девочка проворно улепетывала. Вскоре она достигла

верхнего края каменоломни и, оглянувшись, высунула алый язычок.

— Катерина моя, — объяснил Маркали, — вроде дочки. Запретил ей сюда ходить, а ее все тянет... Постой! — крикнул он грозно. — Жить тебе в пещере с постылым мужем.

— А тебе умирать в пещере, — ответил нежный детский голосок. Она исчезла за карнизом. Несмотря на различие голосов (отца и дочки), эхо обоих прозвучало одинаково зловеще.

— Вы еще чего-то хотели от меня? — спросил Касьян. — Я в общем спешу.

— Да. Я хотел узнать. Раз навсегда. Зачем люди разговаривают?

— То есть, зачем обмениваются мыслями, впечатлениями?

— Зачем люди болтают? Не правильнее ли молчать и терпеливо дожидаться своей участи? — задал он вопрос таким тоном, точно вся его жизнь зависела от ответа чужеземца.

— Вы полагаете, что правда раньше или позже восторжествует без нашего участия? — допытывался Мастер.

— Судьбу все равно не изменишь. Разве можно повернуть луну на другую сторону?

— Можно, — сказал гость очень внушительно. — И мы это сделаем.

— Зачем стараться, если это все равно произойдет?.. А в работе можно сговариваться свистом.

— Когда женщина рожает, ей помогают, — терпеливо объяснял Касьян. — И козе или верблюду помогают. Так и земле и человеку надо облегчить муки родов. К тому же правда не одна и приходится выбирать лучшую. Ведь смерть и ложь — тоже возможная действительность...

— Плетью обуха не перешибешь, — решил упрямо Маркали. — А есть у меня думка, — он вдруг залихватски свистнул и потупился, потом продолжал, словно принуждая себя. — В мире все будет отлично, красиво и понятно когда-нибудь, когда-нибудь. Сообщите, пожалуйста... почему это я знаю, что уже раз жил на земле и опять буду здесь?

— Неужели у вас такое чувство?

— И я не был цыганом. Так что мне теперь не обидно служить Епископу. А спорить, доказывать, переубеждать, зачем

это? — мучительно хмурясь, точно разгрызая твердую кость, повторил Маркали.

— Вот вы работаете хорошо. Почему? — ответа не последовало, и Мастер продолжал: — Вам хочется выполнить свой урок на земле как можно добросовестнее. Это так же естественно для живого организма, как для луны притягивать метеориты. Есть другого сорта люди, они орудуют не топором или пилою. Но и они строят новое или ремонтируют старое.

— Я сею, строю прочные закрома, это вещи, — цыган поднял вверх кулаки, показывая, до чего это все прочные вещи. — Без них человек не проживет.

— Христос не сеял, не жал и не плотничал, — тихо сообщил Мастер. — Он только проповедовал вечную жизнь, реальность ее. И мы вслед за Ним хотим уничтожить смерть вместе со всеми другими необратимыми законами. Отныне цыган сможет быть не цыганом, вор получит, если того пожелает, полную амнистию. Все можно будет перевернуть и изменить: религию, имя, родину, профессию, класс, темперамент, возраст... Ибо отныне причина уже не предшествует следствию и следствие не должно иметь причины.

— Я выходил Зору, на руках пронес ее через коклюш, корь, скарлатину и падучую, — шопотом и скороговоркой сказал вдруг Маркали. — Зоре нужен муж, чтобы веселый был. Чтобы как полагается. А вы, например, вы ведь странный господин, я полагаю.

Мастер молчал, сдерживая улыбку. Маркали перебрал ногами, точно ломовая лошадь перед тем как тронуть с места и, вздохнув, сказал:

— Тут, у стены, партизан расстреливали. А там хоронили. Сунули в щель, завалили щебнем: не видно, а пахнет, — он засмеялся, тряхнув львиною гривой, и добавил: — У меня здесь еще целый склад старого оружия собран.

Мастер следил за Маркали, стараясь понять его неожиданные, мысленные (да не одни мысленные) прыжки и скачки. А тот, перемахнув на соседний саркофаг, запел: — Глухи духи, глухи духи.

— Я, когда молод был, — начал он опять как-то небрежно, высокомерно, — хотел имя менять. "Нельзя", говорят, "подавай прошение, плати деньги да жди двадцать лет". И ни к чему

это. Все равно мужики будут звать по-старому. Иоакима не перешибешь, разве речку повернешь вспять? Я в церковь перешел. Не помогло. Зовут меня по-прежнему магометкой, а то и выкрестом. Нет, цыган ты и цыганом подохнешь, хоть что. И дети или внуки, — Маркали ожесточенно сплюнул и растер самодельным сапогом плевок на розовом мраморе.

— Я и мои друзья, — начал внятно Мастер, — определяем культуру как общую сумму обратимых процессов. В первобытном поселке почти все было нерушимо. Но в будущем идеальном обществе даже 2-ой закон термодинамики станет обратимым. Юность, здоровье, возвращение к жизни и к творчеству, рост и накопление, а не энтропия, то есть постепенное иссякание и увядание — вот наша новая программа взамен былой, ложной, основанной на псевдонауке. Да здравствует культура сплошной обратимости, — закончил Касьян без всякой аффектации.

— У меня тут бутылка сливовицы на всякий случай, — сказал цыган и загоготал.

Но Касьян отказался, и Маркали разочарованно произнес:

— Вы будто монах. А Зоре, Зоре другое счастье сулили.

— Нет, я не монах, — счел нужным оправдать себя гость. — Но в мире теперь все без зазрения совести рвутся к наслаждениям, к личному комфорту, все ищут свою выгоду, только то и делают, что кладут на обе лопатки противника. Это энтропия, путь постепенного самоуничтожения и смерти. А если повернуть вспять натуральный ход вещей, то есть если перестать жить главным образом для своего удовлетворения, преуспевания, самосохранения, то в мире установится новый порядок сплошных обратимых процессов. И я стараюсь вести себя соответствующе...

— Я знаю, я знаю, — подтвердил цыган, кивая тяжелой головой. — Не совсем понимаю, а слова знакомые. Вас, профессор, я уже встречал среди камней и монументов. Мы жили тогда на золотистом острове, я помню.

— Что вы еще помните? — осведомился Мастер.

— Город в горах. Не горы, а одно сплошное плато. Четырехугольный остров, как кристалл, вздымается над океаном. Столица окружена валами, каналами, шлюзами с подъемными мостами, так что пузатые корабли подходят к самой главной

розовой площади. Здания красные, земля коричневая, солнце восковое, а народ синий... Одеты в светлое, яркое, а цвет кожи сиреневый, как у меня. Вот жрец приближается к мраморному неотесанному алтарю. А жрец — это вы: сухой, лобастый, с бритым теменем и злыми глазами.

— Я? — Мастер даже смутился.

— Вы положили меня на теплый алтарь, но прежде чем ударить ножом, нашли нужным еше произнести целую речь. И эту речь я запомнил.

— Что я сказал?

— Вы говорили, что если прервать связь между всеми тканями, тварями и растениями на земле, в небе и на воде, то наступит эра болезней и катастроф, а остров погибнет. Тут вы сообщили народу притчу о двух лягушках, и все кругом свистели особым способом, — цыган остановился и, втягивая воздух, просвистел явно осмысленную фразу, как бы из другого мира. — Хорошо? — спросил он и торжествующе загоготал.

— Хорошо, — согласился Касьян. — Что же лягушки?

— "Жили две лягушки, — рассказывали вы. — И однажды они обе попали в большой котел со сметаною. Одна рассудительно сложила лапки и сразу пошла на дно, задохнувшись, как полагается приличной лягушке. Но вторая не захотела согласиться с очевидностью и начала беспорядочно бить лапками во всех направлениях. И тогда произошло чудо: лягушка вдруг почувствовала под ногами почву. Сперва мягкую, ускользающую, но затем все тверже и прочнее, так что она могла в конце концов устроиться там с некоторым комфортом. А чудо заключалось в том, что сметана под ударами лягушки превратилась в масло".

Мастер добродушно смеялся; гоготал, подбоченясь, цыган.

— Потом вы спросили: "Кто желает барахтаться, как эта лягушка?.." И многие согласились: моя дочь, зеленоглазая Катерина, тоже выступила вперед. Они сели на большой гибкий плот и подняли коричневый парус... Разве можно верить этим снам?

— Трудно решить, — ответил гость. — Вообще восемь процентов любого бреда оказываются вдруг реальностью.

— Почему восемь...

Ему не суждено было докончить, как раз в это мгновение на саркофаги, точно с неба, свалились две крупные бабы. С гиком, песней и смехом, создавая впечатление нашествия целой орды, молодые, веселые и краснощекие, они, точно голодные коршуны, накинулись на Маркали: принялись его тормошить, щекотать, даже колотить, размахивая узелками и корзинками.

Цыган, гордо улыбаясь, хватал молодух то спереди, то сзади, радуясь их визгу.

— Давай гулять, профессор, — крикнул он. — Всем хватит.

Бабы, разглядев чужого, смущенно замерли в не совсем приличных позах.

— Катерина сказывала, будто вы здесь, — оправдывалась одна, выгружая припасы из кошелки. — А про зориного жениха нам невдомек...

— Жених не жених, а сладкого хочется, — успокоил их цыган. — Гуляем.

— Да, гуляем, — недоверчиво (и все же вопросительно) протянули обе женщины.

— Вино-то из погреба припасли? — строго осведомился Маркали.

— Две бутылки взяли, глухая вертится, чтоб ей ослепнуть, — бабы сразу захохотали, точно вспомнив нечто смешное. Если не лицом, то манерами и речью, обе походили друг на друга, как цветы или овощи с той же грядки.

— Садись, друг, гостем будешь, — с поклоном возвестил цыган. — Токайское Франца-Иосифа отведаем.

Мастер отпил густое (янтарное) вино и взял свежую лепешку. Молодухи, крепкие, сдобные, румяные (обе Анны), быстро освоились и, притворно ругаясь, отгребаясь от грубых объятий Маркали, принялись за еду. Они смачно и энергично жевали, ухитряясь задавать Касьяну множество хозяйственных вопросов:

— Верно ли, что в городе неженатые живут вместе?

— Как это бабы не рожают каждый год? Слово такое знают или лекарство пьют?

— А белье машина стирает?

— И в Бога не веруют?

— А вы верите? — спросил гость.

— Как же иначе, — твердо ответила баба. — Так давно повелось. На Кассиана перекрестишься, на Пасху лампадку зажжешь. А Бог всегда Бог.

Цыган, успевший доконать две бутылки токайского, начал снова приставать к молодухам, издавая горлом особые, страстные, птичьи звуки, щебетания да посвистывания... Бабы сперва откликались вяло и с досадою, но постепенно, разогреваясь, — все охотнее и щедрее. Оглушительные удары по спине и по заднице повторялись эхом на манер пушечных выстрелов. От этой игры становилось не на шутку жарко, и они начали разоблачаться, помогая друг другу срывать самодельное самотканое платье; Маркали сбросил с себя фуфайку с таким видом, с каким, бывало, в старину борец перед выходом на смертный бой швырял в сторону свою верхнюю одежду.

Бабы уже не смеялись, не шутили: бледные от страха или от страсти, они тоже издавали горлом древние приглушенные стоны, вздохи, от которых цыган, по-видимому, совершенно терял голову и слепо кидался за ними. Но молодухи успевали легко отпрянуть, перепрыгнуть с одного розового утеса на другой — тяжелые, упругие, как осенние птицы. Белотелые, голые, с рассыпавшимися до колен волосами, прикрывая рукой наиболее сокровенное место, они, казалось, только что вынырнули из этих мраморных глыб, притаившихся кругом.

Синий волосатый цыган с пеной у рта тоже скакал с плиты на плиту, стараясь схватить и подмять дебелых молодух. Слезные вопли баб, торжествующий клекот Маркали достигали, наконец, какого-то положенного предела... Тогда все на время проваливались в расщелину: голоса смолкали, и только безразличное эхо запоздало повторяло (не ведая что творя) их страшные, темные стоны.

Затем опять разрасталось древнее причитание женщины... Ответно ревел Маркали и, словно морская галька, осыпался пестрый щебень.

Мастер Касьян выполз, никем не замеченный, из карьера — навстречу солнцу, без особых приключений добрался к мосту. На светлой площади его встретил лай отдельных собак, отстаивающих свою независимость, в воздухе струился аромат свежего кофе. Вой собак и запах кофе в этом селении служили

грунтом, на который уже накладывались все другие чувственные восприятия.

X

О местных собаках полагалось бы написать ученый труд. Пребывая в обществе охотников и пастухов со времен пещерных, псы больше всех других животных подверглись влиянию людских нравов, не менявшихся здесь за последнее тысячелетие. Этот консерватизм, по-видимому, особенно привлекал кобелей и сук, так что представители самых разнообразных пород сбегались в долину.

Вой стай поднимался с зарею. Они выползали из оврагов у реки и бродили отдельными сворами от лавки к лавке, выжидая подачки, ловко уклоняясь от палки и камня, верно рассчитав, что в конце концов хозяин или хозяйка им швырнет потроха птиц, бедровую кость овцы или многочисленные отходы, отжимки: осенью весь скот и собаки слонялись пьяные. В самом деле, куда девать лишнее? Не заводить же санитарного отдела. А без псов мухи, муравьи и грызуны затопят долину (что и случалось почти каждые четверть века наряду с очередным пожаром, наводнением или мировым побоищем).

Собаки здесь строго делились на отдельные шайки, каждая под руководством своего атамана. Если междоусобица возникала в недрах одной орды, то вожак ее быстро ликвидировал домашними средствами, не прибегая к кровопролитию... Но с годами авторитет его иссякал, так что в результате шумной схватки ему оставалось только уступить свое место другому предводителю, помоложе и предприимчивее.

Борьба между разными стаями носила скорее характер пробы сил, демонстрации (как в людском обществе). После молниеносного наскока сторона, считающаяся более слабой, сразу отступала, подчиняясь воле все еще сильного противника. Если же за это время враг слабел, то он, в свою очередь, отбегал, грозно скаля зубы на своего неудачного поводыря... Изредка в полумраке, там, за оврагами у кладбища, сходились косяки собак и терзали друг друга всерьез, устанавливая на ближайший сезон иерархический порядок.

Изгоняемый шайкою провинившийся или ослабевший атаман держался отшельником, пока ему не удавалось опять набрать под свою команду несколько шатких и недовольных жизнью бунтарей (в придачу к двум-трем молоденьким или глупым самочкам): таким образом возникала еще одна политическая группировка, подчас хилая и кратковременная, но мечтающая о тысячелетнем господстве.

Число баранов, коз, серн, съедаемых здесь в течение года, было весьма ограниченно (за исключением базарных или праздничных дней). Мелкие отбросы падали тут же за дверью или за окном. Остатки покрупнее и натуральный сор свозили за овраг у кладбища: там, где излучина реки образовала песчаный мыс, осенью и весной уходящий под воду. Вот это место, которое могло бы стать украшением городка, вот этот пляж с миниатюрными дюнами предназначили для общественных отбросов: потрохов, кишок и костяков... Весь участок был огорожен пятью вбитыми стоймя бревнами, или палями, на которых обычно сидело такое же число огромных, долговязых, краснорожих птиц, питающихся падалью, на каждом столбе неизменно возвышался один отвратительный мародер, так что казалось — их было только пятеро на целую долину (что совсем неверно).

Журавли тоже избрали речку своим любимым районом отдохновения (или пересадки) во время перелетов. Их трубные голоса в сумерки волновали долину. Аисты щедро гнездились на крышах хуторов. Но между этими изысканными пернатыми и раскрашенными, как индейцы, стервятниками велась исконная стихийная борьба. Почему?.. Трудно, невозможно объяснить. Все имеющиеся домыслы не исчерпывают предмета. Просто так, беспричинно.

Вот к этой колоритной выгребной яме стекались стаи собак (а ночью зимою наведывались волки). Там шла непрерывная возня и грызня: доносилось урчание как бы одного исполинского жадного чрева. И хотя в летнее время добра могло бы хватать с лихвою, псы однако слонялись всегда полуголодные, с подтянутыми животами и с тем огоньком в глазах, который свидетельствует о неудачной биографии.

Собаки по внешности представляли из себя самые разнообразные породы: отдельные стати напоминали то могучих

бульдогов, то лохматых овчарок, то ни с чем не сообразных сенбернаров или датских водолазов. Здесь наглядно раскрывалась история области, смена влияний и вкусов — за последний век. Достойно внимания, что орды и шайки делились не по расовому признаку: в каждой своре имелись представители многих, если не всех, видов...

Остаток дня прошел незаметно, наблюдение за повадками собак и за сложной игрой теней на площади вполне удовлетворили гостя. К вечеру Иоакимы попытались повторить общую трапезу с профессором, но последний решительно от этого отказался. Проглотив несколько сосисок у себя в комнате и запив их чаем, Касьян демонстративно погасил свет.

Гам и вой, разбудивший горожанина на следующее утро, оказался серьезнее обычного. Случилось так, что вожак одной ватаги в результате яростной свалки остался на площади с вывихнутым плечом. Прыгнул ли он неловко или на него набросилось слишком много конкурентов... Но передняя лапа его висела плетью, а наверху, у ключицы, наливалась уже шарообразная внушительная опухоль.

Кобель этот, короткошерстый, с провалившимся носом, желтой масти (в белой манишке), состоял явно в родстве с первоклассными бульдогами, но был он основательно потрепан и грязен (а в глазах характерный огонек обездоленной и обиженной души). Тяжелая челюсть с двумя клыками, вообще говоря, рассчитывала только на себя и ни от кого не ждала милости, хотя он кормился здесь преимущественно подаянием. Решительный до наглости, он главенствовал на площади, полагаясь исключительно на личную и групповую силу. Уже в первое свое утро за кофе с Иоакимами Мастер обратил внимание на этого наивного хама, запоздало ссылающегося на Дарвина и Маркса.

Теперь кобель с вывернутым плечом болезненно подпрыгивал в совершенном одиночестве. Его разбойничья ватага отделилась и уже промышляла на собственный страх и риск, откладывая окончательный расчет с ненавистным вожаком до более удобного срока.

Убедительно рыча, бульдог сторонкою на трех лапах проковылял к мясной и застыл, наивно мечтая заполучить вдруг

кость получше. Под его лоснящейся (грязной) кожей опухоль у плеча росла поминутно.

Касьян догадывался, что в искусственном мире с вымышленными ценностями эта собака, вероятно, обречена на гибель, хотя ее сноровка и сила, даже творческие способности не использованы до конца и могли бы еще принести людям (если не псам) много радости. Он также знал, что нет ничего проще, чем вставить свежевывихнутый сустав на место: надо только дернуть к себе руку или лапу и повести полукругом — самым естественным образом. Но сделать это полагается немедленно. (Отчим и воспитатель Касьяна, штабс-капитан, научил его многим смешным и бесполезным маневрам и уловкам: как отделить чистый спирт от денатурата, как завести мотор, не имея ключа.)

Мастер объяснил Иоакимам положение вещей, те отлично его поняли, но единогласно отказались участвовать в этой операции.

— Да, — цедила одна борода. — Сперва поймай этого черта. Потом держи и лечи. Он тебе, между прочим, голову откусит.

— Нет расчета, — уверял Пеликан-Эфенди, он сортировал химические продукты для своей каменоломни и был весь покрыт пудрою. — Ты ему сустав вправишь, а он тебе в это время руку отгрызет. Какой тут барыш.

— Нельзя им помочь, — заявил жестянщик Милован. — Всякая тварь только гадости ждет от людей и защищается щибко.

— Инстинкт самосохранения, — подтвердил Филолай, бывавший в городе.

— Вот мы и погибаем от излишнего самосохранения, объяснил Касьян.

— Очень даже просто, — охотно согласились Иоакимы.

— А что, если попробовать, — убеждал их Мастер. — Накинуть одеяло, обмотать морду, а я в два счета справлюсь.

— Божья тварь, — заметил Филолай.

— Это что и говорить.

И к собственному удивлению Иоакимы вдруг все разом выразили желание помогать гостю в операции над псом, правда, кое-кто предложил сперва заправиться кофеем, но

Касьян их сурово осадил. И через минуту Филолай с Мастером — держа за концы старое полотнище — начали лавировать в сторону удивленно выпучившего глаза кобеля. Иоакимы, бабы, детишки с разных сторон площади теснили пса к обрыву, стараясь отрезать ему пути отступления.

Но потомок бульдогов как-то дико, весело сверкнул зубами и манишкою, прыгнул и, перекувырнувшись в воздухе (отчего выгадал еще несколько в длину), попал не на береговой утес (как можно было рассчитывать), а в самую реку: волна подхватила это пульсирующее жизнью и гневом мускулистое тело, опрокинула. Но пес, загребая всеми сухожильями, ловко вывернулся из водоворота и могучими рывками поплыл наперерез потоку. Грозно отряхиваясь, он вылез на противоположный откос, ступая уже всеми четырьмя лапами — резкими и сильными движениями собака, очевидно, сама вправила вывих. Уходя в камыши, она еще раз оглянулась — пренебрежительно и грозно.

— Да, — жаловались Иоакимы, — вот поймал его, черта.

— Не верит он, дьявол.

— Не поможешь ему, потому что убегает.

— А ведь вылечили, ей Богу, вылечили, — заявил Филолай.

— Кто вылечил? Сам себя вылечил, — посыпались возражения мужиков.

— Ты, что ли, вылечил?

— И помогли и не помогли и еще нечто третье, — улыбаясь сказал Касьян, но ему не успели возразить.

Потому что в эту самую минуту раздалось два оглушительных орудийных выстрела, один за другим. И на мост посыпалась шрапнель. Кто-то охнул, кто-то вскрикнул бабьим голосом, осел удивленно и горестно заревел, а народ, словно давно дожидаясь этого, поспешно побежал к своим логовищам. Площадь сразу опустела, окна и двери затворялись бесшумно и гладко... Только одна старуха, получив, должно быть, осколком по мягкой части, молча и упорно ковыляла, быстро-быстро размахивая одной рукой, напоминая чем-то бульдога, только что прохромавшего в противоположном направлении.

И тихое благополучное село вдруг окаменело, вымерло. Все смолкло: люди, животные, растения. Даже ветер стих и

запахи потеряли свою остроту. Только в небе неслось испуганное облачко, контуженное взрывом, стремясь спрятаться подальше.

Вот послышалась дробь барабана, неровно застучали моторы и лязгнули гусеницы самоходов... От естественных ворот, ведущих в долину, протянулась серо-зеленая колонна солдат. Затем вынырнули мелкие танки и огромный блиндированный грузовик... несколько орудий на конной тяге, еще двуколки и телеги. Все это во главе с всадником на белом муле торжественно извивалось в узком проходе и быстро спускалось под гору. Выйдя на площадь, колонна описала полукруг у фонтана и замерла под отрывистые крики команды.

Солдаты были в пыльных заплатанных немецких мундирах, черные кресты висели на груди у большинства. Такие же кресты и свастики глядели с кузовов машин или повозок. Тучный офицер в мутных (кирпичного цвета) очках, не слезая с мула, величественно поднял руку, и барабан снова застучал. Потом грузный офицер крикнул фальшиво-грозно-благодушным (старческим, срывающимся) голосом: — Хайл Хитлер!

Офицер помоложе, выстроивший своих автоматчиков у ратуши, тоже махнул рукою и отозвался:

— Хайл Хитлер!

Мастер Касьян, как стоял у обрыва (когда пес спасался бегством), так и остался на том же месте, опешив. Сообразив, наконец, что один на площади он привлекает к себе внимание, что в данном случае вряд ли желательно, Мастер не торопясь подошел к ближайшему перелазу в огород: по волнению молодых подсолнечников можно было сообразить, что тут недавно пробегали туземцы и, вероятно, с узлами... Он перешагнул и скрылся за кустами смородины.

Между тем на площади офицеры (оба по-разному потягиваясь и разминая ноги) в сопровождении ефрейтора и писаря взошли на крыльцо правительственного здания. Барабан опять затрещал, солдаты шарахнулись и, поделившись на тройки, привычным образом начали обходить дома, выгоняя жителей и тесня их к Ратуше. Там, у черной деревянной доски, капрал с писарем старательно прикрепляли плотную квадратную афишу.

Иоакимов и нескольких Анн заставили продефилировать мимо плаката с большой свастикой, рассчитывая, что таким

образом они ознакомятся с немецким текстом. Затем всех их выстроили внизу у крыльца.

— Мирные жители, — визгливым голосом возопил полковник, сверкая кирпичными (кровожадными) стеклами, — мирнейшие жители, — твердил он по-немецки, уверенный, что население этой области изучило на своей спине множество иностранных языков. — Трудолюбивые пахари. Вы читали приказ нашего фюрера и теперь знаете, что с вами ничего дурного не случится, если вы будете разумно выполнять требования военного командования... — голос его дребезжал фальшиво-строго-отеческими нотками мудрого администратора. — Благонамеренные мужи и жены, разойдитесь по домам и ждите спокойно наших доблестных солдат. Вы должны добровольно отдать им все предметы, продукты, машины, инструменты, все, что потребуется для победы Третьего рейха. Хайл Хитлер, — закончил он устало, но очки его, кирпичные, не изменили своего ровного неутомимого выражения жадности.

У фонтана тем временем артиллеристы быстро справились с орудиями; выбрав удобное место, расставляли передки и ящики, разбивали коновязь. Пехота составила ружья, и все сразу захлопотали у костров. Впрочем, кое-кто строил еще шалаши из сучьев, лоз и старой кукурузной соломы.

Автоматчики умело и планомерно начали обходить площадь с двух сторон (по дуге), не пропуская ни одного строения, жилого или пустого. Вещи поценнее вроде ковров, шерстяных изделий, кожи и, разумеется, продовольствие: свинину, колбасу, сыр, сахар, кофе... они тщательно укладывали и зорко следили за мужиками, выносившими их к повозкам. Несколько старых журналов, молитвенников и даже остов от первобытного радиоприемника были свалены в кучу и предназначались к немедленному сожжению.

Продукты и зимние одежды складывались в блиндированную машину с черной свастикой. Распаренные от творческого усилия, седые и красноглазые (без ресниц) фрицы строго наблюдали за погрузкою, щедро раздавая Иоакимам расписки взамен полученного добра; вся их потрепанная внешность выражала ту особенную радость, которая свойственна людям, полагающим, что они ловко обманывают ближнего. Синева-

тый дымок с разных концов потянулся к реке, и весело запахло гарью. А земля уже несколько раз заметно дернулась кверху, ближе к солнцу, очевидно, опять поворачивая на ночь.

— Немец, — подмигнул Филолай, всходя на галерею, где у комнаты Мастера собрались Иоакимы, следя из окон за вековым врагом. — Книги жжет, а сало увозит, немец.

— Ничего, обротаем, — заявил на этот раз Иоаким Турок.

— Ясное дело, — спохватился Филолай, — обротаем, — и сплюнул.

— Пока ты его обротаешь, он тебя слопает, — пожаловался хмурый мужик, кажется, хуторянин.

— Были уже немцы, — решил Турок. — Ну, заберет колбасу, повесит дюжину, подумаешь, напугал.

Иоакимы в знак согласия дружно сплюнули.

— Что, опять германец? — осведомлялись Анны, высовываясь с младенцами из своей половины.

— А вам обязательно магометку подай, — цинично жестикулируя, осадили их Иоакимы.

— Ох, тошно, родимые, — привычно жаловались бабы, ныряя за ширмы.

Касьян приглядывался к мужикам, стараясь понять, что скрывается за ихними штампованными фразами, но это ему не удавалось, потому что особого смысла во всем этом словоизвержении, пожалуй, не было. Однако чувствовалось, что Иоакимы (привычным образом) готовятся к длительной и пассивной обороне.

— Они сошли с ума, — вырвалось, наконец, у Мастера. — Буквально и абсолютно.

Иоакимы отнеслись к этой новости равнодушно, пососали трубки, почесали бороды и веско заметили:

— Немец, он всегда сумасшедший.

— Сумасшедший, а покажет тебе кузькину мать, — словно радуясь этому, заверил хуторянин.

— Ничего, обротаем, — повторял Филолай.

— Все равно, — согласились кругом, — один конец ему будет.

— Это что и говорить.

Наступило молчание. Из окон галереи видно было, как

солдаты без курток (иные в одном исподнем белье) гонялись за курами, утками и гусями; они тут же, за плетнем, резали птицу штыком или просто душили руками, причем шутки их были, вероятно, остроумны, потому что все толпившиеся кругом так и заливались визгливым (бабьим) смехом.

Запахло жареным. Огромный нарядный баран, пригнанный Маркали из замка, был поспешно уложен ударом обуха по темени... Затем повар с нежной улыбкой нащупал сердце под жиром и бережно (украдкою) сунул туда длинное шило.

В котлах кипятили воду, солдаты скребли свои ноги, вместо мыла пользуясь восточным маслом, употребляемым местными кокетками. Бабы уже занялись стиркою грязного солдатского белья.

Стая собак, подошедшая слишком быстро к костру, была встречена очередью из автомата. С реки доносился оживленный писк и резкий смех рыжих толстяков, пытающихся выкупаться в горном потоке.

Комендант на гнедой кобыле, взятой у Филолая, во главе караула солдат отправился через мост — в замок... Впереди немцев бежал Маркали и если и отставал немного, то конный офицер хлестал его плетью. Окровавленный цыган, без шапки, серебристо-синий великан, был внушителен и страшен, но немцы этого не замечали.

— Достанется Епископу на орехи, — гудели Иоакимы.

— Запищит Феликс.

— Нет худа без добра.

— Нам цыган не брат, — решили кругом. — Пускай его.

Незаметно бабы разнесли кофе, пряча кастрюли, точно неприличную посуду, опять запахло неистребимым восточным сплавом.

— Теперь сахар, табак, свечи — все пропадет, — сказал один озабоченно.

— Ничего, бабы словчат, — успокоили его другие.

— Немцы, — многозначительно повторяли Иоакимы и смеялись, отпивая раскаленную жидкость, черную как смоль.

А Анны уже давно сновали во всех трех измерениях, несоразмерно толстые и сердитые: они хоронили по разным углам, на чердаке или в подполье все ценное. У каждой семьи в огороде или у реки были свои проверенные веками тай-

ники, ямы, куда спускали новое платье, шубы, серебро, деньги, зерно... Дети и собаки осиротело бродили по сторонам, сторонясь чужих и близких.

В трактире шел вторичный тщательный обыск: солдаты выносили на свет из погреба пыльные бутылки и жбаны. Кантемир (хозяин корчмы) лежал наверху с разбитым лицом и сплевывал кровь. Только брат его, Филолай, еще сопровождал ефрейтора, не вынимая, впрочем, изо рта трубки.

Чемодан Мастера привлек общее внимание: немцы, отрывисто переговариваясь, со знанием дела отобрали рубашки и книги.

Офицер с нашивками лейтенанта и с адамовым черепом на рукаве выдал гостю расписку на отнятые вещи; он безапелляционно сообщил, что все это будет потом возвращено Третьим рейхом: — Хайл Хитлер.

— Когда потом? — полюбопытствовал Касьян. Он отлично владел их языком, но старался произносить слова со швейцарским акцентом, чувствуя непреодолимое отвращение к захватчикам.

— Как когда? — удивился Лейтенант. Это был человек среднего возраста, довольно высокий, тонкий, долголицый, рябоватый, в основном белокурый, но уже почти безволосый, с каким-то остро заканчиваюшимся кверху черепом. Глаза воспаленные, красные. Его поношенный мундир и болезненный вид вызывали не страх, а жалость. — Ясно, когда. После победы, — заявил он грозно-добродушно, подражая своему шефу. Услышав его возбужденный голос, несколько солдат заглянуло в комнату; за дверью, на галерее, дежурили Иоакимы: невозмутимые, с окладистыми бородами, они курили свои трубки.

— После какой победы? — опять осведомился Касьян.

— Вы, кажется, интеллигент, — Лейтенант зловеше улыбнулся. — Понятно. А между тем, — продолжал он почти дружески, — если проявить немного хитрости и такта, то вы все уцелеете. Мы пришли сюда только на несколько дней для экипировки и ремонта... — он кивнул острой головою, словно ручаясь за достоверность сведений.

Вооруженный, поддерживаемый мифом и колонной солдат, казалось, именно он нуждался в помоши.

— Вы могли бы мне сообщить, какой сегодня день? — спросил Мастер. — Какой день и год?

— Сегодня 22 июня, — задумчиво ответил офицер. — Этой даты я не забуду.

— Но сегодня не воскресенье, — сказал Мастер.

— Да? А какой сегодня день? — рассеянно осведомился Лейтенант. — Впрочем, дело не в календаре. Наш комендант совершенно лишен чувства юмора. При первой оказии он вас задушит собственными руками. Это, кстати, его любимое развлечение.

Лейтенант воинственно стукнул каблуком и вышел, на галерее загремели сапоги других солдат. Иоакимы неторопливо окружили гостя и, полагая, что профессор подвергал себя опасности из тщеславия или удальства, снисходительно усовещали его:

— Разве стоит спорить?

— Немец, он всегда такой.

— Известное дело.

— Ему хребет перешибить, вот это так.

— Ясное дело. Немец только это понимает.

— Да сосиски.

— Он бабу за сосиску отдаст, — потешались бородачи.

— А баба ихнего мужика тоже за окорок променяет.

— Очень просто.

— Ничего, обротаем.

Снизу доносился визг женщин, защищавших то ли себя, то ли свои пожитки: из конюшен выводили храбрых лошадок и осликов — отбирали резвых и выносливых для надобностей тысячелетнего рейха... И беспрерывно на ходу немцы жевали и глотали.

В каморке, под крышей Ратуши, за дубовой дверью, прибитой гвоздями, нашли кипу старых газет, и Лейтенант, созвав нескольких Иоакимов к крыльцу, опять прочел им приказ, запрещающий мирному населению хранить враждебную литературу и оружие... А с наступлением темноты всем надлежит сидеть по домам.

Иоакимы выслушали немецкую речь без комментариев; казалось, что они даже одобряют распорядительность властей, хотя сомневаются в целесообразности принятых мер.

Два солдата с ефрейтором отнесли найденные газеты (времен балканской войны) на площадь и бросили в большой костер: там на вертеле давно уже жарилось туловище барана. Повара заспорили с ефрейтором, отказываясь от этого топлива, но на них прикрикнул Лейтенант. Хлопья гари носились по площади, голуби исчезли.

Староста Сова в сопровождении местного стражника (уже без ремней и палаша) приволокли древний радиоаппарат с катушками Тесля. Немцы бережно уложили эту рухлядь в грузовик. Еще нашли какие-то ржавые стальные части с узловатыми пружинами. Иоакимы смотрели на эти извлекаемые из недр механизмы, словно на воскресших покойников.

XI

Часть гарнизона удалилась вниз по реке на хутора; другие, подгоняемые фельдфебелями (и поминутно оглядываясь на плывущего в воздухе румяного барана), лениво занялись ремонтом экипажей, моторов, упряжи и одежды. В помощь себе они мобилизовали толпу Иоакимов и Анн, но туземцы разбегались, все как будто похожие друг на друга. К тому же система работы местных жителей, медлительная и внешне бестолковая, выводила из себя фрицев. Пьяные уже и почти сытые немцы, однако, нервничали и спешили. Над площадью стоял сплошной визг, раздавалась зычная ругань и время от времени можно было различить характерный (подлый) шум оплеухи.

С гор потянуло холодком. Солнце повисло совершенно непроизвольно в хрустальном небе, напоминая золотисто-оранжевую каплю густого живительного сока (или меда). Наступал тот решительный час, когда день уже минул, но вечер еще не наступил и можно в последний раз оглянуться назад, чтобы наверстать, исправить... Этим чувством "заката" всегда вдохновлялись дети и поэты, оплакивая и воспевая так называемое прошлое. Отсюда наша наука и религия, философия и литература, стремящиеся вернуть, повторить заново скрывшуюся за солнцем жизнь.

Между тем повара объявили, что баран поспел, и солдаты

(хотя уже сытые) кинулись с мисками, судками, котелками и даже ведрами к обуглившейся туше.

У соседнего костра поменьше тушилась и варилась птица. Немцы бегали от одного котла к другому, боясь упустить свою порцию. Подливка, картофель, бараний жир служили поводом к спору, даже к драке. Повара в колпаках, с улыбающимися бабьими мордами при свете костров походили на восточных оскопленных будд (со множеством рук). На заднем плане, у арб и оставленных передков орудий, лошади, мулы мирно жевали овес, брезгливо отмахиваясь от резких пьяных всплесков.

Пузатые черпаки и плоские ножи, крылья, шейки, кости. Плетеные бутыли противно булькали, поднимаясь дном все выше и выше, а пьющие тоже издавали ртом особые звуки, смешившие солдат. Большинство немцев, особенно с нашивками и лычками, капралы, унтер-офицеры, очевидно, порядком наголодавшись, жарили и тушили еще в частном порядке у индивидуальных костров личные, добавочные порции. На этой почве возникала междоусобица, так как фрицы по забывчивости лезли к чужому горшку. Впрочем, ножей никто не пускал в ход, и фельдфебели без особого труда укрощали своих людей.

Бабы, вскипятив одну партию белья, несли его к реке полоскать, подгоняемые фрицами, у которых в руках вместо винтовки была индейка или утка. Иоакимы наливали свежую воду в котлы, спокойно (и даже свысока) поглядывая на неказистого ворога. Особенно поразило и успокоило мужиков жалкое состояние немецкого белья: оно местами совершенно истлело, рассыпалось, держась, пожалуй, только на заплатах. Грязь же, накопившуюся, многолетнюю, зараз невозможно было смыть: пар точно закреплял нечистоты. Солдаты напяливали на себя украденные женские рубахи или юбки и, застенчиво улыбаясь, сдавали Аннам последние отсыревшие вшивые штаны.

Иоакимы, помнившие еще оккупации австрийцев, турок, русских и, конечно, немцев, как-то задумчиво шевелили бородами, присматриваясь к мундирам, к белью и к самим солдатам, покрытым чиряками, язвами и болячками.

Умытые и побритые, фрицы, как ни странно, выглядели еще невзрачнее и дряхлее.

— Не воевать, а умирать, — решил Филолай. Эту же мысль на все лады повторяли и другие: — Не в поле, а в лазарет. На ладан дышит, а кулаком тычет.

Временами ящики с орудийными снарядами оставались без охраны. И это огорчало мужиков, внушая им особого порядка недоверие к врагу... Куцые выцветшие мундиры казались пошитыми из многих неравных отрезков сукна. Бабы, чинившие куртки унтер-офицеров, заметили, что на них пуговицы были разнокалиберные, а кантики или нашивки порою не совпадали.

Все это стало особенно выделяться после бани: отряд производил впечатление банды дезертиров, собранных отовсюду начальством и снова брошенных на уже расползающийся фронт.

Но хохот солдат, когда доставали из котлов блестящее ожерелье сосисок, их искусные ветры и вульгарные шутки были доподлинно германские, неподдельные. Без обмана: так торжествующе заливаются только немцы, когда подают на стол жирные образцы свиного производства.

Обожравшись и осовев, они все же оставались верными своему природному чувству юмора и если, случалось, бросали собакам кость, то тут же пускали вдогонку очередь из автомата. Баб они тоже начали хватать каким-то особенным жалким образом: по две, по три зараз, не считаясь с возрастом или наружностью (впрочем, женщины помоложе все разбежались и попрятались в оврагах и пещерах).

Мастера Касьяна немцы отметили сразу, солдаты его упорно величали герр доктором. Он знал, что это опасно, но помочь делу не мог. Чужой и мужикам, он естественно занимал место на отлете, обособленное, на виду. Филолай ему доложил конфиденциально, что Лейтенант осведомлялся, не еврей ли герр доктор...

— Ничего, обротаем.

— Немец, одним словом, — посмеивались Иоакимы на галерее.

— Очень просто.

Лейтенант обедал один в пустом зале трактира; часть сто-

лов была вынесена, и солдаты, повесив большой экран, оборудовали против него в другом конце проекционный аппарат, очевидно, для кинематографического сеанса. По стенам кругом они прикрепили несколько картин в резных рамах... Выпивая, закусывая, Лейтенант благодушно обозревал живопись французских импрессионистов.

Иоакимы с галереи невозмутимо следили за офицером. Хотя на площадь еще лился золотистый вал вчерашнего света, в трактире Кантемир (с перевязанной щекой) уже зажигал висячую керосиновую лампу.

Лейтенант ел, изредка обращаясь к вестовому с одобрительными замечаниями. Трудно было сообразить, восхищается ли он жарким на столе или желтовато-зернистым пейзажем на стене.

И, соскучившись (или подобрев от сливовицы), он вдруг послал денщика за профессором. Мастер под осторожный шопот Иоакимов спустился в залу.

— Садитесь, не угодно ли кофе с ликером?

— Вам, должно быть, надоело общество военных, — сказал Касьян, усаживаясь; ему жаль было этого лысого недоросля, юношей ушедшего на войну и еще не вернувшегося домой.

— Немецкий солдат всегда выполняет свой долг, — напыщенно и не совсем кстати заявил офицер. — Однако вы хорошо изъясняетесь по-нашему.

— Я посещал швейцарский университет.

— Немецкий язык — величайший язык, — сказал Лейтенант. — Да здравствует немецкий язык! — он поднял свою рюмку.

— Не могу с вами согласиться, — тихо возразил Мастер. — Все беды Германии от ее языка. Измените его, поменяйте на другой, и ваша история пойдет новым, нормальным путем.

— Это я в первый раз слышу, — Лейтенант искренне удивился. — Это, извините, вздор.

— Вы обратили внимание на вашу литературу? — продолжал Мастер. — Нет больших немецких писателей. И это не случайность для языка.

— Ну вот еще, а Жан Поль или... — он назвал несколько старых прославленных имен.

— В таких случаях всегда вспоминают поэтов девятнад-

цатого века, — смеясь заметил Касьян. — И это тоже характерно... А где Толстой, Пруст, Диккенс, Мелвилл? Ведь есть же у вас Моцарт, и Шиллер, и Кант. Где ваши великие прозаики?

— Кафка, например!

— Он австриец, или чех, или еврей. Ведь вы отказались от евреев.

— Что вы этим доказываете? — крикнул офицер. Денщик профессионально замер у двери.

— В прозе выражается душа человека и народа, — внятно объяснял Мастер. — Проза без сознания или разума недействительна. Поэзия может быть безумной, музыка иррациональной, живопись чувственной, философия абстрактной. Но проза имеет все это плюс еще свет разума, то есть она охватывает целиком все, что составляет природу человека. Роман возник в христианскую эпоху, когда понятие времени заняло особое место в нашей жизни. Христос умер и воскрес, это важно. Но что это произошло при Понтии Пилате, так же важно. В поэзии, музыке, живописи нет времени как основы всего. Музыка варьирует и повторяет себя, это не настоящее развитие во времени. Поэма часто превращается в роман или рассказ, то есть в прозу, однако, подлинная лирика выскакивает из этого повествования и из времени. А тема романа, его основной стержень, последняя реальность, всегда и прежде всего — время. То священное конкретное время, которое родилось в христианскую эпоху, и за которое мы несем ответственность... И вот у немцев по сей день нет романа, — благодушно закончил Мастер.

— Мы любим музыку, — сердито заявил Лейтенант.

— Разумеется. Но это не то, тут скверный анекдот. Например... Мы с вами ценим Вагнера или "Веселую вдову", но многим скверным палачам тоже нравились эти оперы. Нас всех привлекает Гоген, но любой жирный оскопленный вор обожает Гогена, крадет его во всех музеях. Мародеры и клятвопреступники, растлители малолетних и подлые убийцы могут восхищаться Шиллером, Гете, Бодлером. Но на Толстом проходит демаркационная линия: тут полное разграничение с палачами, подлецами, лгунами и лунатиками. Геринг и Гебельс не могли любить "Войну и мир". Хвала слову, или рас-

сказу, или роману, где укладывается жизнь и человек целиком со всеми нашими дарами. Да здравствует проза. Теперь я с вами чокнусь, — Касьян торжественно поднял рюмку.

— Я так и думал, вы сумасшедший, — вскричал Лейтенант, и они облегченно рассмеялись. — Кстати, как вам нравится этот Ван Гог? Справа тучные колосья, видите, шевелятся, шевелятся.

— Украли?

— После войны я все отдам в музей.

Они цедили кофе, любуясь розовато-желтой (заколдованной) соломой Ван Гога. Иоакимы, воспользовавшись общим расслабленным состоянием, засновали вниз и вверх по лестнице, спеша справиться с неотложными хозяйственными и семейными обязанностями. Купцы заперли лавки и сигали через плетень с тюками и ящиками. Кузнец и шорник, которых немцы завалили работою, спустили вдруг шторы на дверях и окнах своих мастерских. В домах не вздували огня, и селение казалось давно опустошенным. Солдаты у большого костра занялись картами; шайки ребятишек и собак, чуждые всем, скрывались у реки.

— Вы жертва вечерняя, — говорил Лейтенант, закуривая сигару. — Бегите. Уйдите отсюда на два, три дня.

— Но ведь это бред, — настаивал Мастер. — Война кончилась немецким поражением. Неужели вы сошли с ума?

— Да, — печально повторял Лейтенант. — Вы жертва, типичная жертва. Поймите, мир полон безумных. И вы, и я до какой-то степени душевнобольные. Но разница в том, что у нас пулеметы. Поэтому вы должны мыслить в наших категориях, а не мы в ваших. Вы играете в домино? — спросил он неожиданно нежно.

— Да, кажется, немного.

Немец достал из висевшей на стуле, как на седле, переметной сумки ящичек с игрой, похожий на миниатюрный гроб.

— Надеюсь, комендант сюда не нагрянет, — сказал он кротко, обращаясь к вестовому, тот покровительственно кивнул головой, что-то жуя. — Наш комендант не любит фамильярности. Дистанция, дистанция — его кумир. Ах, уж эти бывшие

артиллеристы, жаловался Лейтенант, постукивая костяшками домино.

— Почему бывшие? — быстро спросил Мастер. Но офицер задумчиво продолжал:

— Меня всегда удивляла наивность обывателей, убежденных, что карты, которые долго тасуешь, обязательно хорошо растасованы. Какой вздор. Только потом, посмотрев на свои карты, можно решить, удовлетворительно ли они перемешаны. И совсем не трудно придумать новую игру, где данная комбинация мастей окажется исключительно выгодной, то есть подтасованной.

Мастер улыбнулся:

— Поразительно, до чего мы все, чуждые друг другу люди, проникаемся теперь одним и тем же интересом к вопросам обратимости. Из разных стран, друзья и враги, умные и глупые, добрые и злые, мы пронизаны теми же излучениями могучей современной кометы или вновь вспыхнувшей звезды.

Немец не успел отозваться, вертлявый денщик доложил о возвращении коменданта из замка.

Офицер встал и начал застегивать ворот мундира, с Касьяном он попрощался небрежно и без особой симпатии. Полковника, очевидно, побаивались.

На галерее по-прежнему дежурили Иоакимы и Анны. При появлении Мастера бабы мгновенно провалились в щели. Мужики соболезнующе подмигивали гостю, не переставая следить за темнеющей розовой площадью.

Из окна было видно, как полковник мелкой рысью переезжал мост (процеженных звуков копыт отсюда не было слышно). Дальше следовала большая телега и дюжина двуколок, груженные всяким скарбом. На одной из арб почему-то восседали (в цветных шляпах) две Катерины — цыганки... Сзади солдаты опасливо вели под уздцы Флору и Фауну (похожих на закат); за ними следовали автоматчики с таким воинственным видом, точно они недавно штурмовали Сталинград.

Неведомо каким путем (кажется, через детвору) на галерее сразу стало известно, что немцы убили Маркали. Тело его бросили в каменоломню, где, кстати, обнаружили целый склад оружия.

У Ратуши комендант слез с гнедого коня и, отдав повод, прошествовал в канцелярию. Туда, надо полагать, вызвали старосту и контролера, ибо Сова и Пеликан Эфенди тотчас же откуда-то появились и гуськом перешагнули через порог родной и знакомой Управы. Впрочем, пробыли они там недолго, точно выстреленные из пушки, пронеслись траекторией и скатились с крыльца (что доставило некоторое удовлетворение Иоакимам).

Арестованных Катерин отвели в помещение сзади Ратуши; причем тут досталось мальчику Драго, который, горестно всхлипывая, попытался было заговорить с Катериной маленькой. Его сапогом отбросили, как футбольный мяч.

Полковник, сменив тяжелую куртку на китель и весело насвистывая арию из "Веселой вдовы", прошел в трактир, где его ждали вытянувшиеся фельдфебели, вестовые и Лейтенант. Ему сразу подали толстую сигару и бокал с прозрачной сливовицей.

Между тем на Ратуше писарь вывесил новую афишу... Она уведомляла "мирных жителей", что цыган Маркали за сопротивление убит, что его жена и дочь взяты заложниками, что они и все будущие заложники подлежат немедленной казни в случае актов саботажа со стороны "мирного населения". Литературное произведение это было написано типичным немецким слогом и состояло чуть ли не из одной только фразы, где попадались слова, сплавленные из трех, четырех существительных, а главный глагол, объясняющий содержание всего текста (verboten, erschossen), стоял в самом конце. Так что Касьян, чтобы поскорее понять содержание текста, искал глазами сперва это последнее слово, а потом читал абзац целиком, выворачивая его наизнанку.

Иоакимы доверчиво ждали, пока Мастер разбирал немецкую прозу; прочитав, он добросовестно передал мужикам содержание документа (Иоакимы при этом усердно поддакивали в знак полного одобрения).

— Что ж, он немец, — утверждал один.

— Ясное дело, — подхватывал второй.

— А то, конечно, ежели всякий начнет бунтовать...

— Какой же Маркали бунтовщик?

— Просто цыган, а не бунтовщик.

— Погулять любил.

— И до баб охотник.

— Это так.

— Ничего, обротаем, — решил Филолай.

И Иоакимы невозмутимо прошлепали мимо косо на них поглядывавших седых караульных.

Из трактира доносился смех и бойкое громыхание музыки явно машинного происхождения. Денщики, вестовые сновали то туда, то назад, неся бутылки, приборы и разные металлические ящики. Вскоре там потух свет, и можно было разобрать характерный треск киноаппарата.

Прильнувшие к щелям Иоакимы и Анны с недоверием взирали на мутный экран; даже Мастер Касьян минуту или две с молчаливого разрешения капрала имел возможность полюбоваться немецким фильмом.

На пленке, надо полагать, была заснята казнь знаменитых преступников, людей в блестящих военных мундирах, в больших чинах и с колодками орденов. Особенность экзекуции заключалась в том, что палач их всех душил голыми руками. Занятие, по-видимому, нелегкое. Один полуголый генерал умирал в таких мучениях и корчах, что комендант чуть не захлебнулся от хохота, он визгливо приказал повторить кадры, сняв для этого зрелища свои коричневые очки.

(*Окончание следует*)

Ина Близнецова

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА

И нам, единое зрящим розно,
случается взгляд украсть
на черный диск — лучезарный, грозный,
как смерть или как страсть. —

Как мир до дня, когда Боже сил —
намек ловлю на лету —
несотворенную тьму разделил
на свет и темноту.

2/6/94

СОН

Небеса снежат; жнивье
и плечи — голы под ними.
Это смерть — твоя, у нее
есть имя.

Что же, с собой простись,
ищи его до рассвета. —
Даже не чтоб спастись,
чтобы знать, *что* это.

И память крестом пометь,
и что сердцу мило.
Когда можешь назвать свою смерть —
жизнь отступила.

Но и выход у вольных сметь
Бог отбирает. —
Когда можешь назвать свою смерть,
она умирает.

20/1/95

ЗЕРКАЛО ГЕЙШИ ИЗ КИОТО

Красотка, чем одна среди подруг —
краса не вся ли голову нам кружит? —
пленила ты навек зеркальный круг
из бронзы — гладь внутри, рельеф снаружи?

Блеск тускл — так и верность устает,
соперниц — что, себя уж не жалея —
вовне лицо не находя — твое
и отражать другое не желая.

Но какова — движение руки —
такого отречения изнанка?
На обороте — цапля, тростники:
неколебимой четкости чеканка.

Очерчен мир — и вот, живет собой.
Когда же пуст до блеска, чтоб гляделись,
есть жест защиты: запретить любой
ненужный образ и чужую прелесть.

"Нет, не беру!" — мне тоже не перечь
брать то лишь, что мое — прощай, пропажа!
Иду домой; дорогу мне пере-
летела цапля — кажется, все та же.

28/8/93

Ян Пробштейн

* * *

Всеядный человек всея Руси:
"Все я да я, да Господи спаси".
"Не я, дитя, не я твой..." — бормотал
обрубку в госпитале генерал.

Всеядный человек вселенной, мира
взывал, взывал — аукнулась химера
его благим намереньям — лишь это
да блики переменчивого света
и брызги испарившегося света —
все, что от мира уцелело в эхо.

ЭПИТАФИЯ

Ты, провлачивший весь век волоком,
никогда не бивавший в колокол,
протащивший жизнь контрабандой,
проникший в нее нелегально,
пробавлявшийся только баландой,
проютившийся в норе коммунальной,
не снимавший с себя рубашки смирительной,
и ты, прозвеневший веригами веры сомнительной,
и ты, горемычный и горедушный,
задохнувшийся в жизни душной,
об иной не мечтавший даже судьбе,
надевший последние одеяния,
да простится тебе и зачтется тебе,
с миром покойся! Навек до свидания!

95
Нью-Йорк

Марк Гордон

НОЧНЫЕ БАБОЧКИ

Из черноты, обвившей сад,
И сырости тумана млечной
Ночные бабочки спешат
На праздник лампочки стосвечной.

Над звонким пламенным стеклом
Трепещут траурные крылья,
Раскрытый обдавая том
Чуть видимой жемчужной пылью.

А на высоком потолке
Их тени, как большие птицы,
И взгляд, скользнувший по строке,
Рассеянно им вслед стремится.

1946

ОКТАВА

Когда уже с рукою занесенной
Разгневанный вконец захочет Бог
Метнуть в наш мир свой пламень электронный,
Чтоб на сей раз никто спастись не мог, —
Тогда, заметив дом многооконный,
А за окном — полночный огонек
И женщину с носком в руках за штопкой,
Задумается он над красной кнопкой.

1986

ПОМОЩНИК

Не надо
Ни устно, ни письменно
Легко отзываться о Боге.
Быть может, впервые мысль о Нем —
О могучем небесном Помощнике —
Возникла в уме старого троглодита
После тяжелой, опасной охоты,
Вечером у костра,
На котором жарился мамонтенок.

1996

Петербург

Александр Беляков

* * *

Скупой февраль в таможенной курилке.
Данилов — в форме, Беляков — в запарке.
Мозги — в духовке, сердце — в морозилке,
И все же морокуют о подарке.

Четыре оловянных сослуживца
Внесли четыре деревянных слова:
"Привет! Привет! Приветствую! Здорово!"
Пустили дым и начали кружиться.

А за окном, обласканный заране,
Двоится день без запаха и цвета:
И вечеря в секретном ресторане,
И откровенье жизни без сюжета.

* * *

Выйди в поля, округлись до нуля,
Дай кругаля и катись на восток,
В нищенский край, где раздета земля,
Теплым отеческим пеплом пыля, —
Млечной тропой меж линованных строк.

Там, посреди чесучевых долин,
В утлом гнезде на лохматом дубу
Замшевый Будда жует гуталин:
Телом — воробышек, ликом — павлин,
С ультрамариновым оком во лбу.

Там золотая осиная ось
Землю прошла, через ствол проросла,
Нежное сердце пронзила насквозь
И в небеси поднялась на авось,
Прежде чем музыка мир завела.

* * *

В управах мраморных седые сторожа
Пространства гулкие шинкуют без ножа —
Шагами тяжкими да кашлями сухими.
Воспоминанья шелестят за ними
Безмолвной свитою по лунным этажам...
Сей неуклонный ход напоминает нам,
Ломающим себя на полдороге,
О жадном времени и одиноком Боге.

Ярославль

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Анатолий Шварц

ЗАМЕТКИ О БУЛГАКОВЕ

Приезжая в Москву хлопотать за высланного Мандельштама, Анна Андреевна Ахматова всегда заходила к Булгаковым в Нащокинский переулок. В тридцать четвертом году, когда была еще надежда спасти поэта, Ахматова без устали искала путь наверх. И Михаил Афанасьевич был в этом деле постоянным консультантом. Жена его тоже не оставалась в стороне.

У Надежды Мандельштам я прочел, как Елена Сергеевна, узнав о высылке, заплакала и "буквально вывернула свои карманы".

Булгаков и Мандельштам... Это интересно. Были они соседями по дому. Жили почти рядом. Не может быть, чтобы, встречаясь, они не перемолвились словечком, чтобы жены их не посудачили на лестничной площадке...

И я спросил:

— Надежда Яковлевна, расскажите мне о той семье...

Она улыбнулась — и отвела глаза.

Зато Виктор Шкловский согласился сразу, и я подумал: вот удача... Кое-что надо было мне выяснить у него.

"Гамбургский счет" Шкловского содержит фразу, которую писатель воспринял острее всех прочих надругательств.

"...Булгаков у ковра".

— Меня еще никто так не оскорблял, — сказал он жене Любаше.

Шут, паяц, циркач и клоун — вот что скрывалось в этой фразе. "Я никогда не видела Михаила Афанасьевича таким

взволнованным и бледным", — говорила мне Любовь Белозерская...

По дороге к Шкловскому я приготовил, как мне казалось, весьма дипломатический вопрос: "Какие произведения Булгакова навели Вас, Виктор Борисович, на эту мысль?"

Но в самом начале разговора в дверях его кабинета стала наготове его жена. Я знал, один неосторожный намек — и она оборвет нашу беседу на полуслове. А так хотелось выяснить... Спросить — и посмотреть ему в глаза. Но Шкловский ужом скользил вокруг заветной темы. Что было делать? И я решил: пусть так, истину я знаю без него, пусть он своим молчаньем, утайкой правды выдаст сам себя.

А как он говорил...

— Я внашиваюсь в любую обувь! — ликовал Виктор Борисович.

Жаль только, обувь у него была одного фасона*.

Удивительное дело, у Виктора Ардова, соседа Булгакова по Нащокинскому дому, была точно такая же картина. Не успели мы начать, Ольшевская, его жена, стала в дверях кухни, напротив столовой, где мы сидели, приготовясь слушать. И я подумал: вот, опять цензура... Уйду, пожалуй. Но Виктор Ефимович, злой, шафранно-желтый, в последней стадии рака, говорил так яростно и откровенно, такие применял слова, что пришлось уйти Ольшевской.

* * *

Сижу у Бориса Ливанова, с которым Булгаков ссорился, отчаянно воевал на репетициях "Мольера". Вдруг Борис Николаевич, отвлекаясь от темы, без тени улыбки на лице, говорит:

Справедливости ради, надо сказать, что много лет позднее, после выхода "Мастера и Маргариты", Шкловский написал Елене Сергеевне покаянное письмо, в котором называл Булгакова великим писателем.

— Шекспир написал антисоветскую пьесу "Гамлет", и товарищ Сталин на приеме артистов МХАТа сказал: "Нэ советую ставить эту рыакцыонную вэщ". И я забросил роль...

Мы часто говорим сейчас о судьбе Художественного театра, о двух его знаменитых, так горько враждовавших стариках, и я вспомнил, как Виктор Станицын поведал мне слова Немировича-Данченко, негромко сказанные у могилы Станиславского: "Без его фантазии я ничего, наверно, бы не сделал. Как он не сделал бы без меня..."

Булгаков не зря боялся воспоминателей, мемуаристов. Легенд и мифов и просто заурядной лжи о нем написано немало. Иной раз я случайно узнавал, зачем и как все это создавалось.

У Павла Маркова на стене в столовой портрет: молодой Маяковский. Сам Марков тощ, невысок, подвижен. Словоохотлив. Трудно поверить, что этот человек заведовал литературной частью МХАТа в те незапамятные времена, когда еще Станиславский ходил пешком в Театр. Заговорили о Булгакове, и Марков, до того шутивший и смеявшийся каким-то странным, отрывистым и гулким смехом, стал серьезен, аккуратно подбирал слова... И вдруг сорвался — горячо, с азартом:

— Врет Катаев! Маяковский не ушел с премьеры "Турбиных". Я сам подошел к нему после третьего акта и спросил: "Как пьеса?" Он ответил: "Надо досмотреть до конца, по хвосту можно определить, крокодил это или ящерица".

Марков был прав, не Маяковский ушел с премьеры "Дней Турбиных", а Карл Радек, австрийский коммунист, перешедший на службу советской власти. Но Катаеву очень хотелось, как на шахматной доске, поставить против Синеглазого фигуру Командора.

Прощаясь, Павел Александрович сказал: "Все-таки драматургия Булгакова заслонила от нас его прозу. Мы всегда восхищались его личностью, пьесами и совсем упустили писателя".

Елена Сергеевна рассказывала о сложных перипетиях на пути "Театрального романа" к наборному станку. Кроме Твардовского, главного редактора "Нового мира", решающую роль в публикации этой вещи сыграли два человека: писатель Константин Михайлович Симонов и актер, народный артист Советского Союза Василий Осипович Топорков. Симонов действовал в ЦК партии и в Союзе писателей, а Топорков нейтрализовал всех именитых противников романа, главным образом старейших актеров МХАТа во главе с Борисом Ливановым. Послесловие Топоркова к роману редакция использовала как щит против мхатовских стариков.

И все решилось, и надо было уже отправлять рукопись в набор, но тут спор зашел о заглавии романа. Оставить, как назвал Булгаков — "Записки покойника" — или заменить подзаголовком? Выслушав все мнения, Симонов заключил:

— Лучше напечатать "Театральный роман", чем не напечатать "Записки покойника".

Так и пошло в набор.

Старик Закс, в прошлом правая рука Твардовского, задумчиво:

— Да... Если б не Топорков, не напечатать бы нам эту вещь в "Новом мире".

* * *

Булгаков пощады не ждал, готов был к худшему исходу, а Елена Сергеевна все надеялась, мечтала: Сталин вмешается, Сталин нас спасет! Но временами и она смотрела правде в лицо: "Участь Миши мне ясна, он будет одинок и затравлен до конца своих дней".

"Какая несправедливая вещь театр!" — возопил однажды Павел Марков. Охотно верю. А литература? Двадцать лет сряду из недолгих своих сорока восьми горбил Булгаков над листом бумаги — пятнадцать из них, до самой смерти, не мог напечатать ни строки. А ныне книги его расходятся миллионными тиражами, и какие-то неведомые деловые люди пожинают плоды его трудов.

В один из предсмертных его дней, в середине февраля 1940 года, Елена Сергеевна записала: "Был Фадеев... Говорили о романе и о поездке Миши на юг Италии для выздоровления". Прочитав, я насторожился: как попал к Булгакову этот человек? Ведь не было же более далекой, не сопряженной с ним натуры, чем Фадеев. Легче было представить у постели умирающего драматурга Воланда или Рудольфи, чем первого секретаря писательского Союза.

А было так. В ту пору по Москве ходили слухи о "чуде святого Джугашвили". Некая старая большевичка, немощная и немая, доживала свой век в полном одиночестве и забвении. Вдруг звонок: говорит Сталин! И услышав голос дорогого вождя, потрясенная старушка разом заговорила... Не знаю, дошла ли эта притча до порога Художественного театра, только вот передо мною документ. Именно в феврале 1940 года три выдающихся актера, народные артисты СССР Хмелев, Тарасова и Качалов обратились к Поскребышеву, секретарю вождя, с письмом:

"В настоящее время умирает писатель Михаил Булгаков... Спасти его, по словам врачей, могло бы только радостное потрясение. Такое он уже однажды испытал, когда ему позвонил И. В. Сталин. Мы просим Иосифа Виссарионовича позвонить Булгакову еще раз..."

Однако Сталин на этот раз почему-то не спешил испытать целебные свойства своих звонков. И в то же время он, видно, не мог оставить без внимания просьбу замечательных артистов МХАТа. У постели Булгакова появился Александр Фадеев.

По словам Ермолинского, сидевшего в тот зимний день в нащокинской квартире, Фадеев был восхищен умом и мужеством Булгакова. "Произошла ошибка, — говорил он. — Надо исправить... Выздоравливайте, мы пошлем вас в Италию... Все будет по-другому". Растроганный до слез, он выскочил на лестницу, забыв на вешалке свою меховую шапку. Возможно, холод привел его в себя, и он вернулся, шапку взял.

Через три недели Булгаков умер. На панихиду в Союзе писателей, где были Леонов, Пастернак, Олеша и многие другие, Фадеев не пришел, был занят. Три месяца спустя, когда урну с прахом Булгакова хоронили на кладбище у Ново-

Девичьего монастыря, он мог исправить свою оплошность, но не появился, возможно, был очень занят. Однако вскоре написал Елене Сергеевне доброе письмо, хвалил покойного писателя, восторгался ею. Говорят, был даже в нее влюблен. Возможно. Твердо знаю: помогал ей в делах житейских весьма тактично и умело. И нет сомнения, не раз она обращалась к нему по делам булгаковских романов. Фадеев обещал, но, вероятно, не смог помочь или был занят. И все-таки она сумела извлечь из этого знакомства пользу для своего основного дела. Много лет спустя, когда Фадеева уже не было в живых, Елена Сергеевна опубликовала в "Новом мире" его хвалебное письмо, и это заметно ускорило процесс прохождения булгаковских вещей через узкие врата издательств.

О Фадееве она отозвалась кратко: человек холодный, как собачий нос. Точнее не скажешь, однако годы спустя Павел Антокольский рассказывал: "Много говорил он мне о Булгакове, о его болезни и тяжелой смерти... Что-то заговорило в нем, была ли то совесть русского человека или совесть писателя, увидевшего, как мучительно, после долгих лет непризнания умирал другой писатель, — не знаю..."

* * *

Странная штука судьба. В те дни, когда Булгаков, белый офицер, умирал в своей постели, Мейерхольд, провозгласивший в самом начале революции "Красный Октябрь в театре", проходил через конвейер пыток в Лубянской внутренней тюрьме НКВД.

Наша охранка никак не могла простить Булгакову, что он умер, ни разу не отсидев. Отыгрались на Ермолинском, хотя для них это была явная недоработка*.

Недавно опубликованные протоколы допросов Ермолинского свидетельствуют, что даже мертвому Булгакову охранка отвела главную роль в очередном "заговоре контрреволюционеров". Война прервала провокацию лубянцев.

После рассказа Антокольского я уже не был удивлен, когда узнал, что Фадеев отказался подписать ордер на арест Сергея Ермолинского. Лубянцы зашли тогда в соседний кабинет, к Петру Павленко, тоже секретарю писательского Союза. Тот подписал.

* * *

Как трудно пробивался к нам Булгаков после смерти и к каким только ухищрениям, ложным ходам не приходилось прибегать, чтобы донести его до нас. Публикуя "Жизнь господина де Мольера" с опозданием на тридцать лет, редакция ЖЗЛ, как заслон, поставила перед книгой вступительную статью театроведа Бояджиева, из которой следовало, что автор повести почти ничего в жизни Мольера не понял, сильно заблуждался и многое придумал сам. Театровед словно забыл, что вся мольеристика построена на преданиях и догадках, и повторил обвинения, которые автор слышал много лет назад. Лишь в послесловии Вениамин Каверин объяснил читателям, как проницателен и талантлив был писатель Михаил Булгаков. Надо думать, прочитав повесть, немногие нуждались в этом разъяснении, но редактор посчитал его нелишним. Так вышла вещь, которую французы без оговорок признали одной из лучших книг о Жане Батисте де Мольере...

А искаженный текст "Мастера и Маргариты"? А многократно отбитые попытки опубликовать хотя бы одну из булгаковских повестей? Через железные преграды пробивался к нам Булгаков, и, случалось, правду прятали от нас его родные и друзья.

"Письмо Правительству" широко известно и стало теперь важнейшим документом в биографии писателя. А между тем...

— Это эссе на шести страницах не имеет никакого отношения к М. А., — брезгливо поджав губы, говорила Любовь Белозерская, которая была женой Булгакова как раз в те дни, когда он страницу за страницей, на ее глазах составлял это письмо.

— Почему же так?

— Коля Лямин, друг, сказал: заявление должно быть корот-

ким, а в правительство особенно кратким, и М. А. написал двухстраничное письмо...

И даже Елена Сергеевна, верная Елена, печатавшая и сама разносившая письмо по адресам, не сморгнув, сказала: "Это письмо — фальшивка..."

Два самых близких Булгакову человека, две соперницы, глухо ненавидевшие друг друга, в редком согласии сделали ложный маневр, вынуждены были лгать, чтобы не повредить публикации его книг.

Когда-нибудь историк вспомнит наших женщин, русских вдов, десятилетия таивших правду, хранивших великие романы в тайниках, запомнивших предсмертные стихи своих мужей, — и через их судьбу постигнет наше время.

* * *

— Ну, что он во мне нашел? — удивлялась Елена Сергеевна, долго удивлялась

— Великий писатель, — сказала она как-то о Булгакове и, улыбнувшись, посмотрела на меня своим слегка косящим взглядом.

Я промолчал.

— Великий писатель! — повторила она, уже не глядя на меня.

Оставаясь с ней наедине, слушая ее и уходя от нее, я часто думал о ее постоянном, неослабевающем чувстве присутствия Булгакова. Словно он только что вышел на минуту к соседу...

Однажды, я не успел снять пальто, она повела меня в столовую:

— Смотрите, какой подарок прислал мне Виктор Некрасов!

На столе, под абажуром, лежал огромный, с газетный лист снимок киевского "Дома Турбиных", впервые, после долгих лет, отысканного Некрасовым на Андреевском спуске.

В успехе своего дела она никогда не сомневалась:

— Я обещала ему многое и я верю, что выполню все.

— Не могу простить ему "Батум"! — говорила Любовь Белозерская. — Не мог, не смел он лизать ту руку... Ведь даже когда мы бежали за трамваем, он на ходу успевал сказать: "Главное, не терять достоинства!" И вот...

Беспощадна бывает к человеку женщина.

Елена Сергеевная была, конечно, не одна, ей помогали люди, на нее трудилось время. И среди множества имен, известных и не очень знаменитых, я думаю, пора назвать здесь маленького человека, сыгравшего в судьбе булгаковских романов большую роль. О нем пусть лучше говорит сама Елена Сергеевна.

Москва, 19 мая 1968 г.

Мой дорогой Левочка, вот какое горе тебя постигло, и так неожиданно*. К большой грусти, я должна сказать, что в вопросе смерти я кое-что понимаю. И ты это знаешь и не ждешь, чтобы я распространялась на эту тему. В этом году умерли два очень близких мне человека — в марте Эся, в мае Федичка (Филя)**. Сейчас одной ногой в гробу стоит человек, который сделал больше, чем кто-либо в моих делах по поводу книг Михаила Афанасьевича. У него рак печени и поджелудочной железы, и доктор-хирург сказал после операции: остаются ему считанные недели. Прошло три недели. И сейчас он все еще, когда к нему приехал К. Симонов, говорил настойчиво о булгаковских делах. Сейчас еду к нему в клинику.

Когда думаете вернуться?

Обнимаю крепко.

Твоя Елена Булгакова.

---

* Лев Кириллович Тарасевич — родственник Елены Сергеевны был в Алжире, когда умер его отец.

** Федор Николаевич Михальский — администратор МХАТа, потом директор музея.

Этим человеком был Семен Александрович Ляндрес, журналист, издатель и бывший зек... Помню, молод, кудряв и статен, он появился в институте, где я работал, и предложил свои услуги в качестве завхоза. Я тогда не понял — почему? Но вскоре он оказался на заводе "Серп и Молот". И снова я не уловил, чего он мечется по Москве? Однако с завода его забрали люди в штатском. Тут я уразумел суть дела.

Шесть лет спустя, согнут вдвое и опираясь под прямым углом на палку, он говорил: "На первом же допросе следователь предложил мне несколько вариантов: шпионаж, диверсия и все в таком роде... Выбирай, говорит, любой сценарий..." Все эти годы Ляндреса держали во внутренней тюрьме Лубянки, и я не знаю, откуда он взял силы, выйдя, работать, биться и бить челом за булгаковские романы.

* * *

Если вы читали "Театральный роман" Булгакова, вы, конечно, помните, что Рудольфи, маг и волшебник, появился в комнате Максудова как раз в тот миг, когда тот приготовился покончить все счеты с жизнью. И, сделав вид, что ничего не видел, спросил:

— Вы написали роман?

Так вот в чем дело. Придется раскрыть один секрет. В ранней юности, когда я жил еще в Москве, левая почка моя иногда производила песок, причинявший мне массу беспокойства в виде колик. Почуяв приближение роковой минуты, я бежал к троллейбусной остановке и, проклиная все светофоры на пути, спешил к Колхозной площади. Здесь, в институте Склифосовского, я мчался в приемный покой, и санитарки, помнившие меня еще студентом, быстро делали мне ванну.

Так вот, однажды после такой ванны я попал в общую палату и, проснувшись, обнаружил, что на соседней койке лежит пожилой мужчина. Внешность у него была такая, что я совсем не удивился, когда доктор на утреннем обходе бодро произнес: "Будем лечить вас, Альтшулер!" Видно было, что сосед мой безнадежен.

Иногда к нему приходила дочь, и говорили они на таком восхитительном английском, что я не выдержал, спросил: "Где это вы так поднаторели?"

— Мы из Нью-Йорка, — ответил он. — Вернулись сюда после войны. А она родилась там.

И больше ни слова.

Обычно я покидал гостеприимный институт наутро, но тут меня почему-то задержали, и знакомство наше продолжалось. Кроме дочери, соседа моего навещал тихий человек с такими печальными глазами, словно в них скопилась вся скорбь народа, осевшего по берегам Мертвого моря. Появлялся он незаметно, в наскоро накинутом халате и, пошептавшись с больным минут пять, так же незаметно исчезал.

— Это мой младший брат, — с оттенком гордости сказал сосед. — Вы, наверно, его знаете...

По молодости лет, я ответил, что Альтшулеров в Москве много, и мне не помнится, где мы с ним встречались.

— Да нет же, — не обиделся сосед. — Его зовут И. Лежнев.

"И" он произнес с такой растяжкой, что я услышал точку и сразу понял, о ком он говорит. Исай Лежнев был известный критик, имя его часто встречалось в газетах и журналах.

Но тогда я даже не подозревал, что этот неприметный человек, тушевавшийся у постели больного брата, был тот самый Рудольфи, чародей, который сумел в двадцать пятом году напечатать в своем журнале "Россия" две первых части булгаковского романа о белых офицерах. Действительно маг и волшебник! Как вы сами понимаете, журнал его был вскоре закрыт, а сам издатель арестован, выслан за границу — и вот теперь, жив, здоров, сидел передо мной у одра родного брата.

Но какой же это был Рудольфи! Куда девалась его гордая осанка, сатанинский смех? От злого духа он сохранил лишь властный нос да широко разметанные брови. Все остальное где-то растерял. Вернувшись из эмиграции, Лежнев так старался, что его заметил Сталин и, видно, не подозревая, с кем имеет дело, велел поставить во главе литературного отдела "Правды". И тут вдруг приехал брат из Нью-Йорка... Бедный маг! Все же пришла пора мне уходить из той палаты и, прощаясь, я пожелал своему соседу тоже поскорей покинуть этот дом.

— Нет, вряд ли я отсюда выйду, — сказал он. — Да мне и не жаль... Вот дети... Не могу простить себе, зачем привез сюда детей.

И я ушел, не проронив ни слова.

* * *

Менялись времена, а с ними — нравы. Пушкин возмущался, что полиция распечатывает его письма к жене, а царь ("человек благовоспитанный и честный", — добавлял он на всякий случай) эти письма читает. "...Я пера в руки взять был не в силе..."

Сто лет спустя Булгаков, сидя в круговой осаде, тщательно обдумывал свои посланья брату в Париж, Павлу Попову здесь, в Москве в Плотников переулок, в наивном расчете, что усатый вождь, прочитав их, проникнется к нему сочувствием и доверием. Прав был поэт: "Живя в нужнике, поневоле привыкнешь к г..."

Поэт Антокольский стоял у истоков сценической карьеры Булгакова. Я спросил у Павла Григорьевича, знаком ли он с пьесой о Сталине. "О, бедный, — воскликнул старец, — значит, и ему пришлось хлебнуть этого..." Потом примирительно добавил: "Все мы грешили этим". И, говоря об Олеше, уточнил: "Что значит, старался угодить? Это называлось выбиваться в люди!"

"Дни Турбиных" — вершина театрального успеха Булгакова, и я знал, что Антокольский стоял у ее подножья, собственно, это в его молодой, но уже лысеющей голове родилась великолепная идея превратить булгаковский роман в спектакль. "Инсценировать "Белую гвардию", — рассказывал Антокольский, — я посоветовал сперва театру Вахтангова, там идею подхватили, автор согласился, и театр уже ждал. Но как-то я ненароком рассказал об этом мхатовскому режиссеру Вершилову, и Художественный театр перехватил идею... А вахтанговцам Булгаков в виде компенсации, что ли, передал "Зойкину квартиру".

И под конец Павел Григорьевич Антокольский, известный поэт, лауреат, вдруг трогательно заметил: "А знаете, Гриша Айвазовский в "Театральном романе" — это я... Мой дед был скульптор Марк Антокольский, и это, наверно, вызвало ассоциацию с искусством, с Айвазовским, а отчество мое стало в романе именем". После Исая Лежнева, Павла Маркова, Фили, наконец, самой Елены Сергеевны — это был уже пятый персонаж, выскочивший на моем пути из "Театрального романа", и я с интересом ждал новых встреч.

* * *

...Рудольфи — это Альтшулер, Филя — это Михальский, профессор Персиков — это академик Северцов, Аннушка-чума — это... Однако, не будем отвлекаться. Булгаков обладал редкой способностью превращать факты собственной биографии в полновесные литературные явления. Все его крупные вещи, от "Белой гвардии" до "Мастера и Маргариты" и даже повесть о Мольере, насыщены деталями личной жизни. Это тот нечастый случай, когда биографию автора можно почти полностью реконструировать по его книгам. Но как во всякой настоящей литературе, герои булгаковских романов, будь то Рудольфи, Алексей Турбин или сам Мастер, все они живут совершенно независимо от своих прообразов. И точно так же независимо от своих книг жил, мучился, лукавил и страдал московский житель Михаил Булгаков.

Говорят, Булгаков любил лечиться, зайдет в аптеку на углу Гоголевского бульвара и Кропоткинской и долго, со вкусом выбирает разные лекарства. Эту черту я заметил и в Елене Сергеевне. Но больше всего на свете она любила яблочный мармелад.

О ней по-разному говорят, одни с восхищением, другие с гневом, третьи с умолчаниями — верный признак, что была она человеком незаурядным.

* * *

Когда Булгаков, вникая во все преддуэльные детали, работал над пьесой о Пушкине, Елена Сергеевна, всегда разделявшая его интересы, тоже глубоко вошла в эту тему. И дома у них в бесконечных разговорах день за днем прояснялась цепь событий, приведших к гибели поэта... Однажды мы долго говорили с ней о судьбе Пушкина, и я вдруг воскликнул: "Неужели она изменила ему?" Елена Сергеевна не сразу, внимательно посмотрев на меня, тихо сказала: "Да..." И в улыбке ее я прочел: "Боже, как он наивен!"

Но, думается, не так все это было. Подстроенное Полетикой свидание Натальи Пушкиной с Дантесом, пожалуй, единственный случай, когда что-то могло произойти. Но не произошло! — вот в чем дело. Еще Анна Ахматова задумалась над обманчивой простотой этой цепочки: свидание — вызов — дуэль... Как все ожиданно и ясно! Даже слишком просто выглядит эта догадка теперь, когда мы точно знаем, что между свиданьем и дуэлью прошло без малого три месяца.

...Иные говорят: как непростительно легко, беспечно отнесся он к дуэли. В самом деле, чем занят был Пушкин в свой последний день? Встал в восемь утра, отчаевав, много писал, напевал, расхаживая по кабинету, потом читал детскую книжку Ишимовой и написал ей теплое письмо... Да, полноте — это в канун смертельной схватки?! "Чем кровавее, тем лучше", — требовал он с ноября, ставя условия дуэли. Не сомневаюсь, Дантес в то утро только и думал, во всех деталях обсуждал с отцом предстоящий поединок: как стать?.. когда стрелять?.. И как остаться невредимым!

А Пушкин? Пушкин водил карандашом по книге Барри Корнуэлла, отмечая для Ишимовой, что́ переводить. А накануне на балу у графини Разумовской был весел, смеялся и смешил гостей... Так что же это, легкомыслие, беспечность, неужто дуэль с кавалергардом казалась ему преходящим пустяком? О, нет, к этому дню он готовился три долгих месяца, и облегчение пришло от чувства приближавшейся развязки. Одного хотел Пушкин: убить Дантеса или погибнуть самому.

Куда не занесет фантазия поэта. Говорят, Василий Каменский написал в начале двадцатых годов пьесу, в которой Пушкин убивал Дантеса! Увы, Дантесам всегда помогает пуговица.

Давно когда-то записал я эту фразу и лишь теперь стал снова возвращаться к ней. Что это была за пуговица, в которой застряла пуля, пущенная с десяти шагов? Какой же она должна была быть величины — и толщины?.. Нет, тут что-то не так. Не потому ль Дантес был так храбр, уверен, еще в ноябре говорил: "Я убью его!", что знал заранее об этой "пуговице"?

Дантес — подлец, но после того письма выбора у него не оставалось. В каждой строке и в каждом слове он слышал лишь: к барьеру! Вина Дантеса не в том, что он убил поэта на поединке, а в том, что он довел его до поединка. На дуэли, когда оба смотрят смерти в глаза, нет великих и малых. Много лет позднее убийцу упрекнули: "Но ведь то был Пушкин!" — "А я Дантес", — ответил он.

Булгаков понял его лучше многих пушкинистов. Не трус, не фат, а молод, самолюбив и дерзок, Дантес вошел в булгаковскую пьесу. Ни в коем разе не соглашался автор поставить против Пушкина пустышку, опереточного ловеласа. "Это унизит лишь погибшего поэта!"

Дантес тревожил драматурга. Был он умен, красив?.. зол на язык, заносчив?.. "О нем нет данных ни у кого. Надо выдумать Дантеса!" Но такого, каким он в самом деле был. Как в пьесе о Мольере, Булгаков шел наощупь, без документов, подлинных свидетельств, шаг за шагом, штрих за штрихом пытался воссоздать и нрав, и облик неведомого человека. Одно он твердо знал: убийцей Пушкина не может быть бальный офицерик. Но не оправдания искал ему Булгаков, не возвышающих мотивов, а точных черт, житейской достоверности поступков.

Двое мужчин — и женщина между ними... В те годы много ли таких узлов было развязано бескровно? Конечно, прав был поэт, Дантес вторгся в его семью... Но постойте, постойте, а как же быть нам с автором сей пьесы, не он ли поступил при-

мерно так же почти сто лет спустя? Уводя от Шиловского жену, мать двух его сыновей, Булгаков только и мог сказать: "Мы любим друг друга..."

Согласен, довод звучит совершенно неотразимо. Однако и Дантес испытывал к Наталье Николаевне совсем не мимолетное влеченье, больше двух лет он следовал за ней, как тень.

И так же, как француз, Булгаков предлагал разгневанному мужу поединок... Так как же быть, каким мерилом измерить нам вину Дантеса и как все это совместить с историей булгаковской любви?

Нет здесь ни мерил, ни правил, а действует слепая сила. И Булгаков, уже познав ее неотразимость, вводит эту убийственную силу в свою пьесу: граф Строганов, слепой старик, советует Геккерну вызвать обидчика на дуэль. Не Дантес убил поэта: слепая смерть со своим кодексом дуэли убивает, — говорил Булгаков. И Строганов был символ этой смерти.

* * *

Одна литературная дама изумлялась: за последних четыре месяца жизни Пушкин не написал ни одного стихотворения! Чего же удивляться, соловей в клетке не поет.

В 1937-ом году Пушкин, 100-летний юбилей его стали островом, на котором спасалась русская культура.

Вот и Булгаков пытался выплыть на этот остров со своей пьесой. Но в пьесе той, написанной с великолепным знанием сцены, он допустил кардинальную ошибку, свойственную, впрочем, лучшим пушкинистам предвоенных лет: Наталья Николаевна не перешла черты.

А Пушкин, в сущности, из-за архивов погиб. Не припугни его царь закрыть доступ, может, не взял бы он обратно прошение об отставке, увез бы свою Наташу в деревню, как хотел, и прожил бы там с ней сто лет.

Булгаков, драматург первоклассный, не рискнул даже на минуту вывести Пушкина на сцену, чуял здесь профанацию, фальшь, а в это время некто Глоба сочинял пьесу о поэте в

стихах, да, в стихах... Даже поверить трудно: Глоба вложил в уста Пушкина вирши собственного производства. И сошло! Толстый актер с наклеенными бачками, задыхаясь, выбегал на сцену, закидывал голову, гортанно хохотал и, как Лоханкин, говорил стихами. Все это происходило в театре имени великой актрисы, и я смотрел, не зная, куда деваться от стыда.

А вахтанговцы так и не поставили булгаковскую пьесу, и вышла она в Художественном театре во время войны, три года спустя после смерти Михаила Афанасьевича. Не было там Пушкина на сцене и не было Булгакова в сумраке партера.

* * *

Сочиняют ныне многодумные статьи о "Мастере и Маргарите". Концептуальность, пирамидальность... О таких трудах Елена Сергеевна писала мне: "Содержание я не совсем поняла, но тон хороший". А почему бы не сказать прямо: тысячи людей читают роман потому, что просто интересно. Вот так же, как Ольга Бокшанская, свояченица, которой Булгаков диктовал главу за главой последний вариант. Каждый вечер спешила она на четвертый этаж фурмановского дома: а что будет дальше?

Булгаков был замечательный выдумщик, и "Мастер и Маргарита" — это прежде всего отличный приключенческий роман, не хуже "Жиль Блаза" или "Острова сокровищ". Только по духу и назначению выше.

В сущности роман этот можно было бы назвать "Дьявол и Маргарита", столь бледен и расплывчат его главный герой, интересный разве лишь тем, что его так жертвенно любит подруга. Что знаем мы об этом человеке, кроме постоянных его страхов, душевной болезни и черной шапочки на седой голове?

Однако так и было задумано.

Пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат люто ненавидел город Иерушалаим, а Мастеру, автору романа о Пилате, была столь же ненавистна советская Москва, из которой

он делал неоднократные попытки вырваться за рубеж. И эти попытки, всегда кончавшиеся неудачей, сложились у него в фантастическую феерию о том, как он вместе с подругой улетает из постылого города с помощью нечистой силы. "Ты совершишь со мной последний полет", — обещал он Елене в мае 1933 года, еще не видя сквозь завесу лет конца свободного романа. И полгода спустя еще уверенней и тверже: "...И мы победим, и взлетим". И вот они взлетели и пролетели над башнями Москвы, óжила, сбылась мечта! Но Мастер был осторожен, лицо его сокрыто. А это восклицание Маргариты: "Невидима и свободна!" Боже, сколько лет, уже не молодой, мечтал я стать невидимкой, исчезнуть, раствориться, стать мухой, лишь бы вырваться на волю. Да весь этот роман, все его чудеса, полеты, превращения проникнуты идеей бегства, освобожденья. Не зря советский цензор "невидима" оставил, а "свободна!" с испугом вырвал: вдруг поймут!

Да, цензура... Однажды Елена Сергеевна рассказала, как Симонов принес ей журнальный экземпляр "Мастера и Маргариты" со вклейками цензурой выдранного текста и при этом сказал: "Документ эпохи!.." Выслушав ее, я вспомнил: в библиотеке нашей 34-ой средней школы Куйбышевского района, в прошлом Первой санкт-петербургской гимназии, сохранился экземпляр первого, прижизненного издания "Горя от ума" с точно такими же вклейками. Только у Симонова они были машинописные, а в школьной книжке далекий предок восстановил урезанный текст от руки, каллиграфический почерк его от времени уже поблек. Что ни говори, без малого полтораста лет разделяли эти два "эпохальных" документа. Так что времена бывали у нас разные, но иные обычаи, увы, сохранялись долго.

* * *

Генерал Шиловский был старинного княжеского рода, счастье Елены он почитал выше своей любви, и все обошлось. А ведь могло быть иначе... Мы редко вспоминаем об этом человеке, а было так.

Осенью семнадцатого года в селе Савинки, тамбовском имении Шиловских, что в шестнадцати верстах от Лебедяни, встретились братья Евгений и Михаил. Офицеры только что распавшейся армии, раненые, награжденные, полные сил и полностью обескураженные, они в долгих спорах решали свою судьбу. За кем идти?.. Глухая пора, заброшенная деревня, судя по всему, к согласию они не пришли. Михаил, верный присяге, ушел к белым, и никто о нем больше не слыхал. Евгений, артиллерист и лейбгвардеец, стал красным командиром. И здесь, в XVI-ой армии Запфронта, под началом Тухачевского круто пошел вверх. Через год он уже начштаба... Замкомандарма... Командарм! И тут, молод, честолюбив, удачлив, он встретил Лену. Чем не пара? Но не сразу все началось, Елене шел двадцать восьмой год и была она замужем, предстоял развод. Впрочем, в те годы это было просто, война кончалась, и вскоре Шиловский с женой приехали в Москву.

Великолепное начало, и как прекрасно все у них пошло, стал он снова начальником большого штаба, на этот раз в столице, жил в центре города, преподавал в военной академии стратегию и оперативное искусство и, говорят, какой-то немец в книге о лучших стратегах мира назвал его имя сразу после Клаузевица и Мольтке, наконец, она была с ним, и не было человека для него дороже — о чем еще мог мечтать этот сорокалетний генерал?

И вдруг приказом Ворошилова его увольняют с высокого поста в столичном гарнизоне, из трех ромбов в его петлицах снимают сразу два (хорошо, что голову не сняли), из комкоров он в одночасье пал в невысокий ранг комбрига, ждал ареста — словом, был в опале, и в довершение всех бед Лена, жена, уходит от него к другому человеку, взяв с собою младшего сына...

"Он не сделал мне ничего худого", — говорила Елена Сергеевна об оставленном муже, и, глядя на нее, я видел, что даже тридцать лет спустя ей тяжело вспоминать те дни.

Сергей, младший сын его, рассказывал: когда жили они с матерью летом 1938-го года на даче под Лебедянью, крестьяне из родового села Савинки по-старинке величали Елену Сергеевну "наша княгинюшка".

Есть красивая легенда о том, как Елена Сергеевна, уйдя от генерала Шиловского к бедному драматургу, променяла спокойную, прекрасно налаженную жизнь на полную неизвестность. Так ли это?

В сентябре 1932-го года, когда Е. С. ушла к Булгакову, Шиловский, разжалованный и смещенный с поста начштаба, был в числе опальных командиров Московского военного округа, и будущее его было совсем неясно. Командарм Уборевич, к примеру, прямой его начальник, несколько лет спустя был расстрелян. Шиловский уцелел, но армейская карьера его с 1931-го года неизменно шла книзу и проходила в основном в стенах военных академий. И это, надо полагать, его спасло.

А Булгаков, что ж, Булгаков в те дни не так уж бедовал, в середине января того же тридцать второго года Сталин вернул на сцену МХАТа спектакль "Дни Турбиных", Михаил Афанасьевич воспрянул духом, работал он тогда помрежем на репетициях "Мертвых душ" по собственной своей инсценировке, порою в Театре возвращались к его пьесе о Мольере — словом, жизнь, хоть и могла быть лучше, по тем временам была совсем не так плоха. Шли гонорары со спектаклей в МХАТе, другие театры стали снова заключать с ним договоры, платить авансы, и Булгаков мог аккуратно вносить свой пай за квартиру в Нашокинском переулке...

Была любовь, что говорить, и жертвы большие были, не сомневаюсь, Елена Сергеевна ушла бы к нему, будь он совершенно гол и ниш, но, к счастью для них обоих, все было иначе.

Думается, Елена Сергеевна знала, за десять лет совместной жизни не могла не узнать прошлого своего мужа. А вышло так, что еше в годы Гражданской войны, воюя на разных фронтах и ни разу не встретясь, двое этих соперников противостояли друг другу. Разночинец Булгаков был белым офицером, а родовитый князь Шиловский носил френч красного командира. И каждый свято верил в правоту своего дела. Но говорить с ней на эту тему я не решался.

* * *

Любовь Евгеньевна Белозерская, вторая жена Булгакова, как Шиловский, происходила из рода титулованных дворян. И девичью фамилию свою сберегла во всех трех замужествах. Булгаков был ее последний муж и, разведясь с ним, она тем более никогда не пользовалась его именем. И вдруг, после смерти Елены Сергеевны, получаю от Любови Евгеньевны длинное письмо, подписанное: Белозерская-Булгакова... По этому поводу Ермолинский не упустил заметить: "Появилась еще одна вдова Булгакова".

Но если разобраться и вспомнить те восемь лет, что провели они вдвоем, Белозерская, "славный парень Любочка", как называл ее Мака, муж, была действительно вдовой Булгакова самых удачливых, театральных его лет.

Потом наступили трудные годы. Булгаков был на грани самоубийства, когда ему позвонили из Кремля, и Любовь Евгеньевна была единственной свидетельницей этого разговора.

— Я готовила что-то на кухне, Михаил Афанасьевич спал... Вдруг звонок, просят Булгакова. Я позвала его, а сама пошла обратно, но тут же слышу отчаянный голос М. А.: "Любаша!" И тихо: "Сейчас будет Сталин..." У нас отвод был, я взяла вторую трубку, жду... Немного погодя слышу приглушенный голос с акцентом: "Сталин читал ваше письмо... Сталин думает..." И так весь разговор, все время он говорил о себе в третьем лице...

Разговор этот теперь хорошо известен и не раз был использован с целью представить Сталина спасителем Булгакова. Белозерская, надо отдать ей справедливость, сразу поняла суть дела:

— Я привожу в таких случаях пример. Идет зимним переулком женщина. Ночь, мороз. Вдруг двое грабителей снимают с нее шубу, раздевают догола... И дают двугривенный на трамвай. Спасители они?.. Так и здесь. У Булгакова отняли все — его дело, имя, право писать, чтоб печататься — и взамен предложили должность в Театре рабочей молодежи, где он, кстати говоря, совсем не подошел и быстро уволился...

А потом... Потом Михаил Афанасьевич ушел от нее, от "славного парня Любочки".

Не везло Любаше Белозерской, решительно не везло, из Киева она бежала от большевиков с Виктором Финком, но где-то потеряла его по дороге в Крым. А тут ей повстречался московский журналист Василевский — Не-Буква, с ним она надеялась устроить свою судьбу. Но пришлось бежать ей дальше, к турецким берегам... Дон-Аминадо — известный в эмиграции поэт — вспоминал, как, уходя из Крыма с врангелевской армией, он оказался на одном пароходе с Василевским, и тот по ходу плавания разводился со своею старой женой и женился на молодой. И молодой была Любовь Евгеньевна Белозерская. Одна жена устроилась на носу, другая ждала его на корме, и Василевский бегал с носа на корму, потом обратно.

Все-таки вышла за него Любаша. Через Балканы и Париж добрались они до Берлина, работали в эмигрантской газете "Накануне", вместе вернулись из эмиграции в Москву — и тут расстались. Снова неудача... С Булгаковым, надеялась она, все будет лучше. И опять ошиблась.

О своей судьбе она говорила редко, больше о нем.

— Булгакова кусали не только Орлинский и Киршон, люди ничтожные, пустые, наносили ему удары Маяковский, Бабель, Артем Веселый...

Могу добавить: Олеша, Яншин, Мейерхольд, Всеволод Иванов. Били лежачего и драматурги Афиногенов и Вишневский, о цензорах, вроде Млечина и Литовского, говорить не стоит. Это был такой несложный и соблазнительный прием, разругав Булгакова, подчеркнуть свою преданность системе, что они просто не могли себе в нем отказать. Но вот что интересно: почти всех их система раздавила, а Булгаков, израненный и кровоточащий, устоял.

Умирая, он вспоминал Татьяну Лаппа, первую свою жену, хотел проститься, просить прощенья... "За тебя меня Бог накажет", — сказал он ей когда-то. Но она жила теперь далеко, в

Сибири, и старалась о Булгакове забыть. А Любашу, жившую тут же, на Пироговке, в пяти трамвайных остановках, он не позвал.

...Подносили ей цветы, приглашали на премьеры, в глубокой старости, всех пережив и став, наконец, и впрямь единственной "вдовой Булгакова", обрела она покой и свою частицу света.

Как-то в начале нашего знакомства, разговаривая с ней поздно вечером по телефону, я оговорился, назвав ее по привычке Еленой Сергеевной... Она смолчала, но с тех пор все письма ко мне подписывала полностью: Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова. Такой я ее и запомнил: твердой, приветливой, успевшей много передумать и пережить.

* * *

Перечитывая Дневник Елены Сергеевны за 1937-ой год, я наткнулся на одну запись: "25 июня... Вышли в город и тут же в Гагаринском встретили Эммануила Жуховицкого. Обрадовался, говорил, что обижен очень нами, что мы его изъяли, спрашивал, когда опять придти?.."

Вспоминая Жуховицкого, Елена Сергеевна всегда смеялась: "Мы, конечно, знали, откуда он, какое ведомство представляет, но Михаил Афанасьевич, сузив глаза, говорил мне: "Ладно, зови его, пусть приходит". И, собрав приличный стол — икра, закуски — она шла к телефону.

"...Жуховицкий явился почему-то в 11 часов и почему-то злой и расстроенный (М. А. объяснил мне потом: — Ну, ясно, потрепали его здорово в учреждении).

Начал он с речей, явно внушенных ему — с угрозы, что снимут "Турбиных", если М. А. не напишет агитационной пьесы... Потом о "Пушкине": почему, как и кем была снята пьеса? Потом о "Зойкиной" в Париже: что и как? Сказали, что уже давно не имеем известий.

Словом, полный ассортимент: расспросы, вранье, провокация.

М. А. часто уходил к себе в комнату, наблюдал луну в бинокль — для романа.

Сейчас — полнолуние".

Так зачем же все-таки Михаил Афанасьевич впускал в свой дом такого человека? Непростой вопрос. Булгаков, конечно, знал, что за ним следят, что дело его, начатое на Лубянке, не пылится на архивной полке. И каждый его шаг — реакция на срыв премьеры, визит в американское посольство или попытки устроить пьесу в каком-нибудь парижском театре — помогают проникнуть в его душу тем людям, что захватили некогда его дневник. Изменил ли этот белогвардеец свои взгляды, чем он дышит? И не было оказии верней, чем Жуховицкий, чтобы кратчайшим способом, без сильных искажений передать его реакцию наверх. Это было так удобно и надежно — как прямая связь.

Так зови его, зови... И переводчик Жуховицкий, большой любитель театра, слушал, кушал и аккуратно все рапортовал. Несправедливо забывать таких людей.

* * *

Читая дневниковые записи Елены Сергеевны, я не раз удивлялся образу их жизни: "Сидели при свечах до трех часов утра... Ночью поехали на Воробьевы горы... Гости ушли в четыре, а мы с М. А. сидели, разговаривали до утра..." Когда же он работал?

Булгаков любил привечать людей, и в доме у него, сперва на Пироговке, потом в Нащокинском переулке, побывало множество гостей. Любовь Орлова, американские актеры, хирург Арендт, дирижер Мелик-Пашаев, физиолог Брюхоненко... Сестра Надежда упомянута лишь раз. "У него не было шишки родственности", — сказала Елена Сергеевна. Исключением была Леля, младшая сестра, которую любил он с детства.

Когда я думаю, стараюсь вспомнить, с кем же дружил, кого

еще любил Булгаков, на ум приходит лишь несколько имен: Николай Эрдман, которого он почитал драматургом Сухово-Кобылинского склада, талантливейший Дмитриев Владимир, художник из Большого театра, вечный его собеседник, доверенное лицо. Еромолинский, конечно. В годы одиночества и отчужденья он был Булгакову надежный друг. И Петр Вильямс, тоже из Большого. Пожалуй, всё, другие имена причислить к близким не решаюсь.

А гости шли и шли... "Желчный злоумец Ильф, — сказал Ермолинский, — бывал у Булгакова чаще и нравился ему, наверно, больше, чем добродушный флегматик Петров".

Возможно, Ермолинского не признают близким, закадычным другом, но мемуары его, вместе с Дневником Елены Сергеевны, останутся самым верным ключом к пониманию личности Булгакова.

А какие замечательные воспоминания могла бы она написать, если бы захотела воспользоваться свои Дневником. Увы, не написала, не таков был у нее нрав, чтобы выставлять свою боль напоказ, а поднять мемуары выше личных бед, видно, не достало ей сил.

Александра Ткаченко, дальняя родственница Булгакова, рассказывала о дяде его, докторе Николае Михайловиче Покровском, которого Булгаков запечатлел в "Собачьем сердце". Когда вселили к доктору в одну из его комнат — "по уплотнению" — нового жильца, он говорил ей:

— Саша, милая, я задыхаюсь, пойми, чужой человек в доме!

Шли у нас тогда шариковские времена.

* * *

А сейчас я должен рассказать печальную историю. Не стал бы, да кроме меня, пожалуй, некому ее поведать.

Сын Елены Сергеевны, Сергей Шиловский, пережил ее всего на шесть лет и умер пятидесяти лет от роду в 1976-ом

году. Смерть эта позволяет мне высказать некоторые соображения, отнюдь ни для кого не обязательные, об обстоятельствах кончины Елены Булгаковой.

Я хорошо знал Сергея Евгеньевича, высокого, слегка картавившего, одутловатого человека с голубыми, выпуклыми глазами гусарского офицера. Жил он и впрямь по-офицерски. Не работал, ссылаясь на гипертонию, и пил без ссылок на болезнь. Одна беда, денег не хватало. Жена его, дама в кожаном пальто, работала в телеграфном агентстве у Никитских ворот, как раз наискосок от дома, где жила Елена Сергеевна, и заработка ее хватало на покрытие самых необходимых расходов. Жили они далеко от центра, за Савеловским вокзалом, в комнате жены на улице 8-го марта. Вот сюда-то в жаркий июльский день 1970-го года привез Сергей свою мать. И отсюда ее вскоре вынесли мертвой.

Как же все это вышло, что случилось за эти считанные часы?

Уже много лет бередит душу, мучает меня один вопрос: почему он повез ее к себе? Почему?! Ведь ясно было и ребенку, что у нее тяжелый сердечный приступ, что она умирает, нужна немедленная помощь, врачи, лекарства, поддерживающие жизнь... Она смотрела на Мосфильме "Бег", снятый по пьесе ее давно умершего мужа. Потрясенье было сильным, глядя на экран и плача, она вдруг потеряла сознание и упала... Дали свет, пришли, конечно, медики Мосфильма. Но рядом город, больницы, Елену Сергеевну, Маргариту знало пол-Москвы, вези в любую... Наконец, домой, в квартиру на Суворовском бульваре, не столь далеком от Мосфильма, вблизи аптеки, "неотложки", можно было ее привезти? А он тащил ее в разбитом "Москвиче" к себе, к себе — через весь город, на улицу 8-го марта.

Зачем?!

Ах, как не хотел я говорить, даже кончиком пера касаться этой тайны. Мать и сын, пусть это остается между ними. Ведь их уж нет... И все-таки я должен досказать все до конца. Писал же сам Булгаков о семье Мольера, об их страшной тайне...

Елена Сергеевна не просто отдала писательский архив в Отдел рукописей Ленинской библиотеки, она этот архив

продала за большую сумму. Немало денег заплатили ей журналы за манускрипты булгаковских романов. И нередко приходили денежные переводы из-за рубежа. Словом, на склоне лет стала вдова Булгакова богатой. Жила она широко и, по привычке, денег не жалела. Но для сына сделала исключенье.

Сергей был ее единственный наследник, но, зная его пристрастье, она твердо ограничила денежную помощь. Охотно помогала лишь внуку своему Сереже, мальчику лет четырнадцати, сыну Шиловского от первого брака. Сережу она и прописала в своей квартире на Суворовском бульваре.

Умри Елена Сергеевна — и все ее достояние, квартира, деньги переходили в одни руки. А она жила! И в семьдесят шесть лет Елена Сергеевна мигом взбегала на второй этаж, хлопала дверью и, скинув в кресло меховушку, румяная с мороза, вихрем носилась по квартире, успевая при этом рассказать, как она чудно провела вечер у Рихтера, какие он играл сонаты. Даром ей это не сходило, и не раз я заставал ее в постели. Старый доктор Марк Леопольдович Шапиро, лечивший ее с булгаковских времен, выписывал рецепт, и я отправлялся в аптеку на улицу Алексея Толстого. А оттуда в булочную за мармеладом. Яблочный мармелад помогал ей лучше всех декоктов. Нет, нет, убийства не было, Сергей Евгеньевич привез мать к себе — и тут ее убило время.

Вскоре после ее смерти Шиловский с женой переселились в квартиру на Суворовском бульваре, и дух Булгакова навек ушел из того дома.

* * *

Кончил книгу "Жизнь и смерть Михаила Булгакова". Для кого я писал ее, к кому обращался? Не знаю... Если бы я издавал эту повесть сейчас, я начал бы ее так:

Друг мой, дорогой и далекий!

Позвольте мне сказать Вам несколько напутственных слов.

Эту книгу надо читать в кресле-качалке на веранде, выходящей в вишневый сад. И чтобы на столе кипел самовар, поставленный на шишках, и теснились розетки с вареньем из китайских

яблочек. И чтобы вдали кукушка отсчитывала Ваши годы и временами свистел паровозик, везущий дачников домой. Вот тогда Вы почувствуете всю прелесть той навеки ушедшей жизни, из которой вышел к нам писатель Михаил Булгаков.

А сейчас, за отсутствием всего этого, я советую Вам выключить телефон, снять ботинки и, плотно прикрыв дверь, сесть поближе к окну. Чу, я слышу шум аплодисментов... Занавес гонит ветерок к моей воспаленной голове, и яркий свет юпитеров уже упал на сцену Художественного театра в далеком городе Москва.

Катаев все напирал на "провинциализм" Булгакова, а это была тоска нормального человека по нормальной человеческой жизни.

Как магически действовал, преображал его чистый лист бумаги. Замкнут, до суеверия скрытен в личной жизни, Булгаков был наш самый откровенный, искренний, самый что ни на есть задушевный автор.

Читая Булгакова, думая о поразительной судьбе его книг и недолгой его жизни, так несчастно и счастливо прожитой, я всегда возвращаюсь к простой мысли: жизнь — пустыня, полная миражей, и один только надежный оазис у человека: его призвание, его дело — его труд.

Был у нас Гамлет Щигровского уезда, была леди Макбет Мценского уезда, а Дон Кихот наш, родом из Киева, жил в Нащокинском переулке в Москве и звали его Михаил Афанасьевич. Там, в Нащокинском, написал он свою пьесу о безумном идальго, и родство их душ неоспоримо.

Августа Даманская

НА ЭКРАНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ*

Париж (Франция, 1923 — 1945)

Как ни странно, но русские эмигранты, вернее — тогда еще только беженцы, устраивавшиеся или уже осевшие в Берлине, почти не интересовались русской газетой, выходившей в Париже уже с 27 апреля 1920-го года. Газета под скромным названием "Последние Новости", какое дал ей первый ее руководитель — в России еще известный адвокат С. М. Гольдштейн, резко отличалась от других русских газет: и размером — четыре-шесть страниц большого формата, а там и восемь страниц, — отличалась серьезностью и вескостью помещавшихся в ней статей. Ф. Родичев, барон Нольде, С. Загорский, С. Поляков-Литовцев — авторы помещавшихся в этой газете статей внушали доверие, заставляли читателя настороженно, внимательно вчитываться в каждую строку.

Уже в первых номерах "Последних Новостей" появились фельетоны Тэффи, Дон-Аминадо, воспоминания престарелого, доживавшего свой век в Лугано П. Д. Боборыкина, корреспонденции из Англии Дионео (Шкловского)... В одном из первых номеров газеты, как будто еще нащупывавшей почву, как будто еще только искавшей верных путей завоевания читательской аудитории, помешено было покаянное письмо Алексея Ник. Толстого "Как я был большевиком" — своего рода исторический документ... Алексей Ник. Толстой, как известно, уже в 1924-ом или в 1925-ом году был ревно-

---

Продолжение. Начало см. в № 198-199.

стным большевиком и до конца своей жизни покаянных писем больше не печатал.

За пределы Франции эта газета в первые годы своего существования попадала в очень ограниченном количестве экземпляров. И как далеки были руководители молодой газеты от представления о той роли, какую она впоследствии выполняла в жизни всего русского рассеяния... В Берлине "Последние Новости" получались неаккуратно, по цене газета немногим русским эмигрантам была доступна и иных и не интересовала. Своих газет было довольно: "Руль", "Дни", а немецкие газеты давали знавшим немецкий язык обильный материал для чтения, политических споров и приятных бесед. Залетали в Берлин забавные, но робкие еще шутки Тэффи, не нашедшей еще верного тона в обращении к эмигрантскому читателю. "Кэ-фэр... фер-то — кэ..." — вложила она в уста одного растерявшегося на чужбине русского полковника... Так за сто с лишним лет до нее воскликнула m-me де Сталь, очутившись в изгнании: "Et bien, que faire..." В русском остроумном переводе Тэффи "фер-то кэ" (делать-то что?) получилось острее и трагичнее.

Той же Тэффи очень скоро открылось, что соединенные взаимным отталкиванием "ле рюссы" определенно разделяются на две категории: на продающих Россию и на спасающих Россию. Продающие ее живут весело, спасающие ее — хлопочут... И никто ничего не понимал, и меньше всего понимали этих ле рюссов иностранцы. Весело живущих мне приходилось встречать, наблюдать в Ревеле, в Берлине. В предыдущих своих очерках я писала уже о таких не унывавших вне России людях. Спасавшие Россию... Словом, "хлопотливостью" далеко не исчерпывалась их трагедия, единственная в истории всех эмиграционных групп всего мира...

Дон-Аминадо, один из первых в Париже русских эмигрантов, слагал гимны Парижу:

Париж, ты сердце отогреешь,
Ты сладость лжи в него прольешь,
Ты легким дымом голубеешь,
И ты живешь и не живешь.

Ты юн, Париж, и ты весенний,
Как твой поэт, как твой народ...

Прошло немного лет, и для строф о Париже Дон-Аминадо не мог уже не переключить свою лиру совсем на иной лад...

Когда-то, до первой мировой войны, популярный в Москве и в русской провинции поэт Лоло (Мунштейн), автор легких забавных пародий на больших русских поэтов, прибыв с женой, бывшей актрисой Ильнарской, в Париж, тотчас почувствовал, что места ему в эмигрантской печати не найдется, и уехал с женой в Ниццу, где были у него давние друзья. Друзья и помогали ему жить, пока могли. Не стало друзей — на помощь когда-то широко жившему Лоло подоспели эмигрантские организации. Но их поддержка тоже с годами оскудевала. До затянувшейся на долгие годы нищеты и болезни, сведшей его в могилу, он успел еще печатно заверить своих бывших почитателей:

Пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я, как символ, свято берегу...

Приехавший в конце 1920-го года аптекарь из Киева привез тогда Лоло обрадовавшую его весть: "через два месяца большевизму конец..." И благодушный, доверчивый Лоло ожил на время: "...Скоро... скоро... Москва... и будет опять, как было, и пыль на старой ленте будет лишь грустным напоминанием о месяцах в изгнании" — тогда еще не годами исчислялся этот трагический, а порою и траги-комический период человеческого пребывания на чужих землях.

По попадавшим ко мне изредка номерам парижских "Последних Новостей" можно было судить, как постепенно обставляется газета — будто молодожены в новой квартире... Появляются в газете новые отделы... Статьи о французском театре, о литературных новинках. Появляются новые имена: Борис Шлецер — музыкальный, балетный критик; Е. А. Зноско-Боровский — о театре; уже много позднее посвятил себя этот талантливый человек исключительно шахматам и стал не

только известным на всю Европу шахматистом, но и автором остроумных шахматных задач и инструктором в шахматных клубах...

В газете, наконец, появляются объявления, без которых никакая газета существовать не может... Врач — родом из Симферополя — сообщает о часах приема, учительница музыки ищет уроков... Большая русская семья ищет большую удобную квартиру... Объявления эти нормальные, и ничего еще за ними не таится... Они не говорят еще о блестящем прошлом, столь далеком от тусклого настоящего, не говорят еще о горестных испытаниях, через какие пришлось перейти вдове генерала Икса — до предложения своих услуг взамен за комнату и завтрак... А там еще новость: розыски родных, знакомых объявлениями в газету. Это говорит уже о начинающейся экспансии газеты...

Алданов — подписывавшийся еще М. Ландау-Алданов, время от времени помещает в этой газете интересные очерки из далекого прошлого французской революции. К газете льнут давно завоевавшие известность русские писатели: Н. М. Минский вспоминает единственную встречу в годы ранней молодости с Тургеневым. Сватикова помещает в газете воззвание к французским женщинам — с мольбой о спасении русских женщин, погибающих в Константинополе и на Ближнем Востоке... Какой-то скептик высказывает на страницах той же газеты предположение, что гибнут в послевоенных условиях и невольных перемещениях в период эвакуаций преимущественно те женщины, которые при всяких обстоятельствах обнаруживают тенденцию погибать... Кто-то возражает кому-то, анонимно утверждающему, что вина всех трагедий, обрушившихся на Россию — одни евреи... Воспроизводится корреспонденция английского журналиста Вильсона в газету "Times", сообщившего, что Ипатьев, владелец дома в Екатеринбурге, где был убит Николай Второй — еврейского происхождения. Вильсону возражает родной племянник екатеринбургского Ипатьева — штаб-ротмистр Ипатьев, заявляющий, что Ипатьев потомственный русский дворянин и офицер русской службы, дослужившийся до полковника.

Кто-то продает и кто-то покупает русские деньги: николаевские сторублевые билеты идут за 12-13 франц. франков. Думские тысячные билеты — за 35-37 франц. франков. Коллекционеры? Или еще кто-то лелеет надежду на то, что будут опять в цене и царские, и думские рубли? Леонид Галич — позднее перекочевавший из Франции в Америку, где кончил свой век — отмечает в статье "Анатоль Франс и французы" тревожное сочувствие, с каким французы следят за ходом болезни Анат. Франса. И добавляет: "В Петербурге или в Москве заболел бы Максим Горький... Большой процент русских образованных людей встретил бы болезнь Горького благочестивым пожеланием, чтобы он скорее сдох". На эти строки в русской газете возражения не последовало...

И вдруг — бомба. С. Л. Поляков-Литовцев, из Берлина одним из первых перекочевавший в Париж, тотчас вошедший в состав сотрудников "Последних Новостей", в своем очередном фельетоне возымел решимость сказать: "Мы вправе оплакивать наше увечное поколение, наше изуродованное настоящее, наше личное печальное, быть может, завтра... Но что общего это имеет с завтрашней историей России, с ее длительными и вечными судьбами? Случилось одно из величайших мировых событий: всколыхнулся всероссийский океан и разметал свои громадные волны по величайшей из мировых равнин, от Крайнего Севера до Дальнего Востока" <...>

* * *

Когда стала намечаться возможность моего переезда из Берлина в Париж, я мыслями была еще далека от "Последних Новостей" и не представляла себе, какое место займет в моей жизни эта газета. Одно я знала твердо, уезжая из Берлина: сама я своих услуг "Последним Новостям" не предложу. И про себя заносчиво: "и знакомиться с редакцией не пойду..."

Тогда, в 1923-ем году я была на тридцать три года моложе, чем теперь, в 1956-ом году, когда пишу эти строки. Я уезжала из Берлина сотрудницей "Дней" — и даже с маленьким "фиксом", великодушно предложенным мне редакцией газеты, не

располагавшей большими средствами. Кроме "фикса" (помесячного оклада), получала еще построчную плату, тоже скромную. Кое-что подрабатывала корреспонденциями в пражскую "Волю России" и статьями в "Руле". Главной же моей материальной базой была рижская газета "Сегодня", где я сотрудничала уже больше года. Газета эта, внепартийная, широко поставленная, получавшая отличную из всех стран информацию, дала мне много читателей. "Сегодня" читала вся Литва, Эстония, Латвия, ее читали в Польше... Но была она для меня тем же, чем для актера, актрисы работа в провинциальных театрах, где приходилось в прежнее время в течение одной недели выступать в разных и новых пьесах <...>

Не помню, кем впервые сказаны и столько раз читанные, слышанные слова: "Chaque homme a deux patries — la sienne — et Paris" ("У каждого человека две родины: своя и Париж"). Да, вряд ли есть в мире город, где каждый приезжий, впервые ли или много раз в Париже бывавший, лишь оглядевшись, лишь подышав его воздухом, лишь постояв несколько минут на одном из его мостов над далеко не красивейшей из рек Европы Сеной, лишь подивившись столь воспетому, столь много раз описанному широкому мягкому свету, льющемуся из далекой и такой будто близкой небесной глубины, — так быстро и всем свои существом почувствовал бы себя "дома", как в Париже. И возникает это чувство в душе каждого новоприезжего прежде всего от ощущения полной свободы, от уверенности, что вас никто не наблюдает, никто не разглядывает критическим взглядом ваш наряд, ваши манеры, походку... И если есть что в новоприезжем человеке очень уже резко выделяющее его из ряда или группы других человеческих фигур, то в силу врожденного, выработавшегося веками такта любопытство или интерес к новому человеку никогда не проявляется во взглядах, восклицаниях, мимике, движениях, какие могли бы смутить или уязвить... И даже не зная языка этой страны или плохо владея французским языком, новоприезжий тотчас находит общий язык с вчера еще чужими ему людьми... В этом непревзойденная прелесть Парижа, в этом покоряющее волшебство вековой старой

культуры. Мне, знавшей Париж по прежним приездам и французским языком владевшей с детства, — легче было, чем многим другим, освоиться тотчас с духовным "климатом" Парижа. Но уже не с первых даже дней, а с первых часов я почувствовала какую-то перемену в заметно обновившейся и похорошевшей после первой мировой войны столице Франции. До этого моего приезда в сентябре 1923-го года я была в Париже двое суток, проездом из Петербурга в Швейцарию. Стояли тогда тревожные, душные августовские дни 1915-го года. Париж был неряшлив, неубран, улицы казались неделями неметеными. Днем и ночью гудели сирены. Над городом летали германские "Берты", и так много было траурных вуалей, белых косынок гражданских сестер и туго-накрахмаленных головных уборов сестер-монахинь, и галифе, галифе... В пыльном воздухе стоял немолчный визг маленьких "камло" — звонкоголосых мальчиков-газетчиков... Газеты выходили десятками выпусков в день...

Но Париж 1923-го года не был уже таким беспечно-веселым, таким привораживавшим приветливостью, каким был до войны 1914-1918 гг., и не был еще таким по-иному оживленным, таким духовно-насыщенным, каким стал позднее, "перетерпев судеб удары"... В 1923-ем году были уже в Париже "на потребу русских эмигрантов" русские гастрономические магазины, правда, в скромном еще количестве, и русские книжные магазины... Один из них, "Родник", был как бы негласным органом пропаганды эсеровских изданий и по давним партийным связям — д-ра И. Н. Коварского и его жены Лидии Антоновны — близок к берлинским "Дням" — газете Керенского, как и к "Современным запискам" с Бунаковым-Фундаминским, Зензиновым, Рудневым, Вишняком и Гуковским во главе...

В "Родник" ходили не только покупать книги и газеты, но и для встречи с тем или другим писателем, с тем или другим партийным товарищем... Несколько позднее, когда из Берлина "Дни" перекочевали в Париж, редакция первое время ютилась в том же тесном помещении "Родника". В глубине небольшой квартиры, на узком диванчике, одно время и спал Керенский... К тому же и двухэтажный домик этот на rue

Vineuse за номером 9, легче было охранять от праздно-любопытных и зложелательных посетителей... И все же в период пребывания Керенского в этом доме найден был в одно утро на лестнице какой-то подозрительный, оказавшийся взрывчатым снаряд — чудом никому не причинивший вреда... "Родник" с первого дня знакомства с его хозяевами стал для меня, как и для многих других, ценным на чужбине оплотом... "Родник" был и негласным осведомительным бюро для нуждавшихся в осведомлениях новых людей, близких к эмигрантской интеллигенции, — неофициальным адресным столом и еще чем-то вроде странноприимного дома, где только ночевать нельзя было... Но приходивший туда уходил чем-то утешенный, чем-то обрадованный. В этом доме, как в доме одной из героинь Гончарова, "всегда стояла ясная погода"...

Я приступила к работе... Что бы такое послать "Дням" в Берлин... Что-нибудь злободневное? Но злободневное — отношение французов к русским — было так сложно (об этом речь будет впереди), что подходить к этой теме надо было с большой осторожностью и лишь хорошо оглядевшись и присмотревшись к этой новой, после войны изменившейся парижской жизни. И я остановилась на теме нейтральной: поеду в Буживаль, где жил Тургенев с семьей Виардо, осмотрю дом и сохранившиеся о Тургеневе вещественные реминисценции и постараюсь сделать мою первую корреспонденцию занятной...

Поехала. Ехать было недалеко, но все же около сорока минут. Мимо уютных пригородов, мимо Мальмезона, где жила и должна была скорбеть, но не скорбела, а жила в полное свое удовольствие и весело Жозефина, отверженная, многолюбимая Наполеоном...

У первого газетного киоска в Буживале я спросила у продавщицы газет, у двух клиентов, покупавших газеты, не могут ли они мне указать кратчайший путь к дому, где жил Тургенев. Кто такой? Адвокат? Врач? Быть может, антиквар? — Нет, нет, ни то, ни другое, ни третье... Просто известный писатель... С семьей известной певицы Виардо жил здесь... Газетчица, ее клиенты нетерпеливо от меня отмахнулись. И я пошла спрашивать дальше. У одного, другого,

полицейского с белым стэком, управлявшего движением на улице. Эти тоже никаких указаний мне дать не могли. Но один из них посоветовал — если действительно жил тут такой писатель — спросить в книжном магазине... В книжном магазине две бойких говорливых продавщицы, перебивая друг друга, объяснили мне, что такой дом действительно есть, но я как иностранка, очевидно, неверно произношу его фамилию... Не Тургенев — а Трубецкой... И что надо идти направо, потом первой улицей налево, перейти небольшую площадь и длинной платановой аллеей — прямо, прямо — до этого дома, какой я искала... Я пошла, как меня наставляли и пришла в прелестную деревушку — теперь уже городок — Лувесьенн. Лишь увидав на пограничном столбе, отмечавшем начало другой коммуны, название "Лувесьенн", я вспомнила... Вот тоже тема для фельетона: здесь жила, и как весело, лихо жила, королевская фаворитка, маркиза Дюбарри, так горестно молившая палача, занесшего над нею нож: "Еще пять минут... еще пять минут...", и о чем так слезно вспоминал один из героев Достоевского Фердыщенко (в "Идиоте") <...>

Я дернула железное кольцо звонка. Дернула другой, третий раз. Без лая проковыляла старая лохматая дворняга и за нею высокий, худой, как жердь, желтолицый, болезненного вида человек, и не успела я досказать, зачем побеспокоила его, — он учтиво, толково объяснил мне, что "да, это, как он слышал, действительно дом, где жила когда-то знаменитая Виардо и друг их дома, какой-то богатый русский помещик... Но дом уже много лет принадлежит суконному фабриканту Сабатье, который в отъезде... И все равно ничего интересного не мог бы мне показать. Все давно вывезено было прежними владельцами... Что-то, очевидно, прочитав на моем лице, что тронуло его сердце, он открыл ворота, подвел меня к скамье под высоким ясенем и пояснил: "Вот на этой скамье, под этим деревом, я слышал, любил сидеть этот русский барин... Потому и названа усадьба "Ясени" (Les frênes)". Скамья была совсем новая, и еще не совсем просохшая зеленая краска не говорила о столетней давности. Я сделала вид, что поверила, поблагодарила и ушла.

* * *

Дня два-три после получения в Париже номера "Дней" с моим фельетоном "Буживаль" получила я письмо от А. А. Полякова, главного тогда помощника редактора "Последних Новостей". Письмо было краткое. "Когда будете в наших краях, не заглянете ли к нам, в редакцию "Последних Новостей. Приятно будет с вами познакомиться..."

Редакция "Последних Новостей" помещалась тогда на rue d'Anjou в доме за номером 22. В хорошем, правда, квартале, близ площади Мадлэн — но какое это было убогое, жалкое помещение! Вход прямо с улицы, как в лавчонку какую-то. Одна и вторая неуютные, неряшливые комнаты.

Из-за столика в одном углу поднялся и пошел навстречу мне высокий, узкий человек с совершенно безволосой розоватой головой.

— Не узнаете меня?

— Нет, не узнаю...

— Я был "выпускающим" в "Биржевых Ведомостях", когда вы там недолго, правда, переводили телеграммы с фронта...

Подошел и другой, тоже обойденный растительностью на голове — полный розовощекий господин.

— А меня узнаете?

— Нет, не узнаю...

— Я бывал у вас в Петербурге на Коломенской, когда у вас жила ваша сестра-медичка... Калишевич моя фамилия...

Я вспомнила. Калишевич была фамилия городского головы в Каменце-Подольском, где сестра моя проходила гимназический курс и дружила с дочерьми и сыном городского головы. Калишевич Николай Викторович скоро стал одним из самых ценимых редакцией сотрудников "Последних Новостей". Его фельетоны на литературные, исторические темы за подписью Р. Словцов поднимали тираж газеты.

А. А. Поляков без предисловий поставил мне деловой, твердо изложенный вопрос: "Желаете сотрудничать у нас? Павел Николаевич поручил мне пригласить вас..." И, не выждав моего ответа: "Вы никакими обстоятельствами не

связаны?" Я никакими обстоятельствами, как казалось мне, не была связана. Предложение сотрудничать в "Последних Новостях" польстило мне.

— А чем я могу быть полезна газете?

И к немалому моему изумлению услыхала в ответ: "Вот, давайте нам такие фельетоны, как "Буживаль", что поместили в "Днях".

— Но ведь это случайность... Я могла бы давать статьи об иностранной литературе... Рассказ время от времени...

— У нас этих отделов нет...

— Вы не намерены их ввести?

— Об этом поговорите, хотя бы завтра, с "папашей"... — и тотчас пояснил, — это Павел Николаевич у нас так называется...

Через два дня я пришла вторично, и Милюков, благодушный, свежий, оживленный, принял меня в крохотной комнатенке, отделенной от первой тонкой дощатой с широкими щелями перегородкой. Сосновый столик, два деревянных стула... Но я не замечала убожества этого редакционного кабинета. И он сам чувствовал, вероятно, как мало отвечает его положению этот жалкий угол. Так же свободно, просто держал он себя позднее в отлично обставленном кабинете, в большой светлой редакционной квартире, сидя не на деревянном стуле, а в глубоком изящном кресле, и так же был равнодушен и к комфорту, и к удобствам.

Знакомство мое с редакцией "Последних Новостей" имело место во второй половине сентября 1923-го года, но лишь в ноябре я набрела на тему, показавшуюся мне интересной для газеты: 80-летний юбилей Е. Д. Брешко-Брешковской, который собирались праздновать пражские эсеры. Я озаглавила свою статью "Heroine". В день появления ее в газете встретил меня на улице, в нескольких шагах от "Родника", старый великолепный, всеми любимый эсер О. Минор и, широко распахнув руки, обнял меня и, к великому моему смущению, звонко расцеловал. Так произошло мое посвящение в сотрудницы "Последних Новостей".

* * *

С двумя карточками — Cartes de Press — одна за подписью Керенского, другая за подписью Милюкова, я могла уже, не робея, пойти в любое французское издательство и попросить ту или другую новую книгу "для отзыва". По тому, как встречали, как охотно давали книги, а там и стали посылать на дом новые книги, можно было судить не только о доброжелательстве, о готовности облегчить чужеземной журналистке ее работу, но и об интересе к русской эмигрантской печати. Издатели, авторы книг, посылавшие мне впоследствии свои книги с дружескими посвящениями, полагали, по-видимому, что оцененная, нахваленная в русской газете книга найдет покупателей и, что, впрочем, и случалось, хотя и не очень часто, — даже переводчика и русского издателя. Так было с книгой Эдуарда Эррио "Нормандский лес". Моей искренне восторженной статьей об этой великолепной книге заинтересовалось русское пражское издательство... И часть этой большой книги, посвященная героине великой французской революции Шарлотте Кордэ, убийце Марата, переведенная мною для "Воли России", выходившей уже не ежедневной газетой, а ежемесячным журналом, была в оправлении великолепного художественного переплета послана Эррио. Это укрепило его давнее расположение к руководителям эсеровского журнала, а меня, переводчицу, он поблагодарил ласковым благодарственным словом...

Эдуард Эррио — и в бытность свою председателем парламента, и на посту министра — вообще охотно писал письма русским эмигрантам. Красовалась всегда на этих кратких, очень любезных письмах, написанных на машинке — только его крупными буквами выведенная подпись. Говорили, что она зафиксирована на сотнях, тысячах заготовленных на такие случаи листках почтовой бумаги, с печатным заголовком его министерского кабинета. И всегда эти письма Эррио доставляли удовольствие получателям, но я не знаю случая, когда бы обращавшийся к нему русский эмигрант — за реальной помощью — получал от него такую помощь.

Русских беженцев прибывало во Францию все больше и

больше. Осколки разных армий — Добровольческой, Врангелевской, Дроздовцы, казаки... Быстро возникали комитеты, ведшие "дела", то есть хлопоты по устройству тех или других беженских, военных, экс-военных групп... И скоро стало известным, что успешнее всех, энергичнее и надежнее всех устраиваются "люди от сохи". Непогрешимым чутьем прирожденных хлеборобов разузнавали, что надо было им знать. Заарендовали — по-симбирски, по-украински, — стали сеять, сажать, полоть... Стали скоро выращивать злаки и с целью показать иностранцам "на что способны"... В специальных печатных органах появились заметки о русских хлеборобах, а там и на сельскохозяйственных выставках не постыдились показаться со своими экспонатами. Казаки, "севшие на землю" под Тулузой, хохлы — на юге Франции стали получать премии на сельскохозяйственных выставках. Обзаводились живым инвентарем; кто не был женат — и женой обзаводился. И жены были француженки, и не очень многие задумывались еще тогда, чем и кем будут их дети... На эти еще не оформленные вопросы ответила пятнадцать-шестнадцать лет спустя вторая мировая война...

Приезжавшие из Ниццы, из Канн рассказывали, что на всем побережье французской Ривьеры, где еще задолго до первой мировой войны десятки великолепных вилл и сотни менее великолепных, но комфортабельных красивых дач принадлежали русским — великим князьям, петербургской знати, богатым москвичам, — большие произошли перемены. Самые большие, самые богатые виллы, носившие русские названия, превращены в отели. На других, поменьше, поскромнее — где дощечка, извещающая, что продается или сдается в долгосрочную аренду, а на дверях иных дач — блестящие медные дощечки с выгравированными на них именами — не русскими и не французскими. Американскими и экзотическими. Куда же делись, что стало с прежними владельцами за каких-нибудь десять, двенадцать лет с начала первой мировой войны?

Жизнеописания их были удивительно однообразны. Одних уж нет, а те далече... В грандиозной склоке погибли многие, а сумевшие уехать целыми и невредимыми из России не могли вывезти сумм, каких хватило бы на долгие годы, а

главное — бюджет каждой семьи или супружеской пары и даже одиноких людей не пополнялся доходами с имений, домов или жалованием. И люди постепенно "выходили в расход", как сами говорили о себе, кто с искренней горечью, кто с наигранным цинизмом равнодушия. Носители громких русских имен, титулов, в прошлом — сановники, адмиралы, генералы — уже не гнушались местом ночного сторожа в гараже. При знании языков и представительной наружности приглашались в метр д'отели в дорогих ресторанах, заведующими баром при дорогих отелях. Кто бережливее, практичнее был — входил в какое-нибудь увеселительное предприятие с французом. Светские дамы — обладательницы достойной наружности и хороших манер — еще легко получали места в больших модных домах — Maisons de Haute Couture, — в "институтах красоты", в парфюмерных магазинах... И эти не падали духом. Верили, заверяли иностранцев, что близок день, и вернутся они туда, откуда вынуждены были уехать, и все будет, как было... В Париже русские эмигранты не так твердо уверены были в близости желанного дня возвращения к тому, что было...

В Париже рассказывали и осторожно пописывали о том, что осевшие на юге Франции носители громких, полновесных в свое время имен заблаговременно распределяют между собою ответственные места, должности, с которых были сняты волею рока люди, до войны стоявшие во главе разных учреждений, правлений, ведомств... "Сидят на чемоданах", — горько иронизировали над ними не разделявшие их оптимистических наивных упований русские парижане.

* * *

Заинтересовала меня вывеска над дверью: "НОСОРОГ" — русскими буквами, белыми по ярко-синему фону. Верхняя застекленная половина двери изнутри завешена белой кисейной занавеской. Почти рядом с дверью — окно с низким внутренним подоконником. Очевидно, срезано под витрину. В небольшой фаянсовой миске несколько помидоров и несколько зеленых огурчиков. Таких маленьких огурчиков во

французских зеленных лавках нет. Их научились выращивать на чужой земле русские огородники и любители-дилетанты. Рядом — черный хлебец и белая фарфоровая баночка с наклейкой: "ХРЕН". Тоже по-русски. "Гордый взор иноплеменный" и не разберет, и не поймет, что в этой аптечного вида баночке. Вхожу... Ресторан средней руки. Перед дверью половик, и к косяку притулен картонный небольшой квадрат с крупными черными буквами: "Просьба! Вытирайте, пожалуйста, ноги". Пол не паркетный, не навощенный, но вымыт чисто.

Усаживаюсь. Заняты уже несколько столиков. И каждый столик здесь — явление, каждый тыкающий никелевой вилкой в картофельную котлету или хлебающий борщ — эпоха.

Вваливается, шаркая истоптанными башмаками, рыхлый серый человек, ласково улыбаясь направо и налево. И — борода! Мгновенно переносит она память в — не Ленинград, не Петроград и даже не в Петербург, а в Санкт-Петербург, на Невский Проспект, в морозный день, когда по мерзлому снегу так звонко было цоканье копыт и так лихо звучали окрики толстых кучеров в огромных меховых шапках с голубыми бархатными донниками. А в санях, вперив очи в даль, сидел вот этот самый человек, ехавший "с докладом", и с этой самой расчесанной на два прямых треугольника бородою. Чего только не растерял, но бороду довез-таки до русского ресторана в Париже с желтоватыми пахнущими мылом скатерками на некрашенных столиках.

— Добрый день, ваше превосходительство...

"Его превосходительство", кивая головой точь-в-точь, как некогда "там", в своем ведомстве, следует к своему столику, у которого тотчас появляется приятной внешности опрятно одетая подавальщица. Она не "мадемуазель", она Елена Георгиевна, и его превосходительство, прежде чем взглянуть на меню — выведено оно пером на листке дешевой бумаги — целует у нее руку, осведомляется, как она изволила почивать и приходил ли уже князь У. Потом заказывает картофель в мундире и простоквашу, поясняя, что решил посидеть на диете несколько дней. Елена Георгиевна сочувственно качает головой и наклоняется к нему:

— Ну, зачем... Сегодня заведующего нет... Можно опять в кредит...

Его превосходительство, не возражая, отказывается от диеты и заказывает гороховый суп и свиную котлетку с салатом из печеной свеклы.

Ни на кого не глядя и не видя никого, двигается от входных дверей очень уже немолодая, сухощавая высокая женщина. Сколько лет ее темно-лиловой кофте, какие виды видывало ее плоскодонное, черное нечто, изображающее шляпку на ее голове — об этом лучше не делать догадок. У нее тонкие черты лица, губы красивого рисунка — синевато-бледные. Глаза, вероятно, когда-то голубые превратились в неопределенного цвета узкие щелки. Женщина тихо осведомляется у Елены Георгиевны — "есть ли сегодня макароны?" Слово "макароны" — уже в конце фразы, пониженным шопотом, и за соседними столиками получается впечатление о скромной — из деликатности — справке о редком и не всем доступном блюде.

Дальше... За столиком посредине комнаты меланхолично ест симпатичной, интеллигентной наружности господин с частой проседью в гладко зачесанных назад волосах. В железнодорожном русском буфете, в трамвае, в библиотеке без усилий можно было бы признать в нем неудачливого писателя, или учителя словесности в провинциальной гимназии, или земского статистика. Здесь, в парижском русском ресторане с зоологическим названием "Носорог", Елена Георгиевна обращается к нему: "Ватрушку, полковник, хотите?"

А новопришедшая дама, ловко — для дневного света — загримированная, ловко одетая, поравнявшись с его столиком, пожурила его и не очень мягко: "Что же не изволил придти вчера в "Крокодил"? Пришлось мной да еще гитаристом ваши номера заменить..." На что он — танцор, имитатор, куплетист? — мягким задушевным баритоном ответил: "Не мог, баронесса. Клиент хороший попался. Целую квартиру заново оклеивал..."

От одного, другого столика долетают обрывки фраз: — "Черный лебедь" — в трубу вылетел..." — "Сняли подвал под

"Жаворонка" — американский бар будет..." — "Переманили из "Кинешмы" — Что-то сногсшибательное будет..." — "Кенгуру" — будет называться..."

Елена Георгиевна подает, подает, уносит грязные тарелки и, проходя мимо дамы, шопотом заказывавшей макароны, что-то шепчет ей на ухо. Но дама плохо слышит, и ей приходится повторить уже так, что за другими соседними столиками слышно: "Эта американка — она даже не американка, а просто дрянь, — согласна купить ваш медальон. Придет к вам сегодня..." По крови, разлившейся по впалым щекам любительницы макарон, по ее задрожавшим рукам не трудно было догадаться, как важно ей продать этот медальон и как горестно расставаться с этим медальоном...

Тридцать пять минут всего просидела я за своим столиком в этом "НОСОРОГЕ" — а как просветилась...

Такова была картина русского ресторанчика в 1925-ом году. В 1930-ом году уже не то. Ресторан "прогорал" — и в витрине вместо русских огурчиков и черного хлебца появлялись голубые, розовые, оранжевые блузки и детские платьица — и вывеска, ярко-желтая, указывала на то, что русский "Носорог" превратился во французскую красильню. Бывали случаи, и нередкие, что такой вот скромный "Носорог" преображался в тесно заставленную всякими русскими соблазнительными гастрономическими специальностями лавку, и три-четыре человека в белых накрахмаленных фартуках едва успевали обслуживать покупателей, и за прилавком, за кассой, сидел сам хозяин или его жена, — и знавшие их покупатели, выходя из лавки, обменивались впечатлениями: "Ну, и разнесло же их... Дом купил на Луаре, автомобиль завел..." Или — "Ох, уж эти о России, наверно, не тоскуют... Да и некогда им... Не до "сантиментов" — когда текуший счет растет не по дням, а по часам... Вот дочь за француза выдает — приданого ей миллион..." Да, контингент русских людей, находивших, что и вне России можно очень неплохо жить, рос с каждым годом...

* * *

Русская газета, во главе которой стоял человек такого духовного склада, как П. Н. Милюков, так тесно связанный со всеми представителями русской интеллигенции, какими бы политическими оттенками ни отличались они друг от друга, должна была очень осторожно и без полемического задора отмечать нараставшее в русской литературной эмиграции отчуждение от русской, от советской литературы...

Писатели, поэты, носители громких имен, имевших в России огромные читательские аудитории, приехали в Берлин, потом в Париж с глубоко вошедшей в их сознание убежденностью, что "русская литература — это мы". Эти писатели были слепы и глухи к той новизне, которая уже шла из России. Но не желали признавать и естественность, закономерность новой поросли, какая всходила и в таких неблагоприятных для художественного творчества условиях, какими для них оказалась чужбина. Произведения молодых советских писателей, беллетристов и поэтов, изредка еще попадавшие в Париж, встречались чуть ли не улюлюканьем, насмешками. В творчестве Пастернака, которого в конце концов и эмигрантская критика в лице Адамовича, Ходасевича, Ульянова признала талантливейшим русским поэтом, Тэффи, не сделав даже усилия вчитаться в поэмы, стихи Пастернака, выудила только "Кряк, кряк, фырк..." К грубому неблагозвучию свела она поэзию многоодаренного молодого поэта...

Бунин, Шмелев, Гиппиус с Мережковским предсказывали русской литературе неизбежную гибель. И не только потому, что она была советской, а потому, что она пошла новыми путями, и потому, что авторы романов, повестей, рассказов в стране, пережившей только что грандиозную апокалиптическую бурю, не могли уже останавливаться на сюжетах, какие волновали ушедших из России писателей, имевших к тому же возможность мастерски и тонко разрабатывать их. Жизнь там, на родине, пошла другим темпом, новый ритм жизни не мог не отразиться не только на темах, но и на их внешнем оформлении.

Для Антона Крайнего (Зинаиды Гиппиус) приятие новой

русской литературы означало бы примирение с большевиками, и она "простодушно" предлагала:

Не надо к мести зовов и криков ликованья:
веревку уготовив, повесим их в молчаньи...

Еще непримиримее, пожалуй, был Бунин ко всякой литературной новизне. Он просто брезгливо отворачивался от всякой новой книги советского автора, от всякой книжки нового журнала, выходившего в России или даже здесь, вне России, но по новой орфографии. Да, было время, когда оторванные, оторвавшиеся от родины русские люди новую орфографию отождествляли с советской властью. И "твердый знак", и букву "ять" охраняли, удерживали, как религиозные реликвии. С профессиональным, но очень осторожным сочувствием относился Бунин к оставшимся в России писателям, а осталось их тоже немало. Ахматова, Соллогуб, Брюсов, Волошин, Пришвин, Вс. Иванов, Сергеев-Ценский и многие другие. Иных уж нет, а те далече. И упоминаем мы эти имена с таким же чувством, с каким смотрим, слушаем пьесу, дальнейшее развитие и эпилог которой нам уже известны.

Русские писатели в Париже облюбовали два соседних квартала — Пасси и Отей, и от центра несколько далеких, и к Булонскому лесу, к Сене довольно близких. И это не преминул отметить французский писатель Поль Моран, к русским эмигрантам не очень расположенный. "Странно, — писал он в одной из своих статей, — русские эмигранты — люди как-будто малоимущие, а лучшие в отношении гигиеническом кварталы чуть ли не аннексировали".

Это не совсем отвечало действительности. Большинство русских эмигрантов в Париже размещались в 15-ом квартале, отнюдь не живописном и не элегантном, и вокруг Площади Италии, и еще дальше от центра. Но русских обитателей этих кварталов, эмигрантскую рабочую бедноту Поль Моран не мог знать. Он знал эмигрантов по именам, изредка мелькавшим на столбцах французских газет, знал Шаляпина и Дягилева по их еще дореволюционным выступлениям в Париже.

В кафе Мюра, на углу бульвара Мюра и широкой площади,

совсем близкой от Булонского леса, по пятницам стали собираться русские писатели. Не все, конечно, но группа из десяти-двенадцати человек, еще не успевших перессориться между собою. В одну из пятниц в этом кафе состоялась знаменательная встреча Бунина с его давним другом Алексеем Николаевичем Толстым — ко времени этой встречи занявшим уже прочное положение в Советской России.

Толстой, годами моложе Бунина, боясь нарваться на резкий выпад со стороны Бунина, из угла, где сидел со своей женой, послал Бунину в другой угол зала записку: "Вспрыснем, что ли, нежданную встречу... Я здесь проездом". Бунин в ответ только кивнул головой. И первым встал из-за своего столика Толстой. Бунин пошел ему навстречу, и, к немалому удивлению очевидцев, громадный, широкоплечий Толстой заключил его в свои объятия. Расцеловались. Шампанское заказывал и оплатил Толстой. Щекотливых вопросов не касались. Вспоминали казавшееся уже таким далеким недавнее прошлое и расстались дружелюбно. Это не помешало Толстому по возвращении в Россию зло вышутить Бунина.

И это тоже не помешало интересу советского читателя к зарубежному писателю Бунину. Его стихи, отрывки из лучших его произведений входили в советские антологии, а в самое последнее время, уже в наши дни, его книги издаются в России в несметных количествах экземпляров...

П. Н. Милюков давал в своей газете место резким, порою грубым до непристойности выпадам Бунина и Гиппиус против советской литературы, но помещал и статьи Кусковой, Осоргина, Даманской, имевших смелость отмечать отрадную новизну в произведениях советских писателей — у Шолохова ("Тихий Дон" Шолохова скоро стал самой распространенной в эмиграции книгой), Лавренева, Юрия Германа, Артема Веселого, Малашкина и других. Отмечались на страницах "Последних Новостей" и первые многообещающие опыты некоторых молодых эмигрантских писателей. В самые последние годы старые эмигрантские писатели обратили внимание на советского писателя Константина Паустовского. Известно стало, что и Бунин, и Зайцев написали ему приветственные лестные письма. А было это еще при Сталине и Берии и вряд

ли оказало ему своим сочувствием, своей оценкой его прелестных книг большую услугу.

П. Н. Милюков и сам время от времени выступал литературным критиком в своей газете. Строгим, но справедливым; требовательным, но убедительно мотивировавшим свои требования. Обличая порнографический элемент в "Распаде атома" Георгия Иванова, отмечал и даровитость автора, и богатство его литературной речи. Укоряя молодую еще тогда, только начинавшую печататься Ирину Одоевцеву в излишней игривости и слишком смелом жонглировании вопросами эротики, он в то же время выражал свое сожаление по поводу легкомысленного отношения молодой писательницы к данному ей судьбою дарованию.

Только благодаря политической дальновидности и такту П. Н. Милюкова среди все расширявшегося круга читателей газеты "Последние Новости" возникала переоценка суждений о "местной" литературе и о советской. Если еще в 1920- 1923 гг. утверждали, что подлинная русская литература здесь, "у нас", а в России оставшиеся писатели наперечет, то уже в 1925-ом и в дальнейшие годы внимательные читатели стали убеждаться в том, что именно здесь, "у нас" — подлинные писатели наперечет, а большая, широкая литература, растущая, пополняющаяся все новыми именами, оказалась именно в России.

Старшие, давно признанные эмигрантские писатели ставили на вид начинаюшим русским писателям то, что темы их произведений не русские. На что один из "подававших надежды" и , увы, их не оправдавший, Евангулов, убедительно ответил печатным письмом: "Откуда же нам брать русские темы... Вы уехали из России с запасом наблюдений, с богатым грузом воспоминаний. Всего этого у нас, выросших здесь, нет и не могло быть..."

Но такое же суждение было у приехавшей в Париж советской писательницы Лидии Сейфуллиной — не о молодых только, не о начинаюших, но и о писателях старшего поколения. Сейфуллина, сама прекрасная писательница (и ее нет уже в живых), ознакомившись с последними в то время произведениями Куприна, Зайцева, нашла, что "очень хорошо пишут, но это для нас, для русских читателей — уже ино-

странцы, и для нас не интересны..." Чутьем даровитой писательницы она не могла не отметить также, что темы, взятые русскими писателями из жизни вне России, все же писателями той страны, где живут русские эмигранты, были бы как-то иначе, и ярче, и убедительнее использованы...

Дальше мы остановимся на причинах медленного, но несомненного оскудения эмигрантской литературы, на той эмигрантской действительности, в тесных пределах которой созревало и отцвело, не успевши расцвесть, пресловутое "незамеченное поколение", которому в наши дни, 1955-1956 гг., посвящено было столько печатных страниц и в журналах, и в газетах.

Эмигрантская жизнь — и не только в больших столичных центрах и независимо от явлений литературных, художественных — развивалась тем временем на разных аренах, в разных масштабах. Русские школы — искали и находили учителей и учительниц. Русский Красный Крест — искал и находил медицинский персонал. Не только давно осевшие, учившиеся в Париже врачи, но и из новых эмигрантов врачи быстро завоевывали клиентуру и право помещать своих больных во французских больницах, преимущественно в хирургических клиниках. Для того, чтобы получить право практики, русские врачи в большинстве случаев одолевали не только экзамены по своей медицинской специальности; чтобы быть допущенными к этим экзаменам, они должны были представить свидетельства о пройденном гимназическом курсе, соответствующие русскому аттестату зрелости. И одолевали французскую грамматику, держали экзамены по алгебре, арифметике, геометрии и проч. Коллеги-экзаменаторы были, конечно, не требовательны, скорее снисходительны к бородатым и даже с сединою на висках экзаменовавшимся. Но были и такие, что не находили в себе ни решимости, ни просто физических сил засесть за грамматику и учебники по минералогии и физике и если не умудрялись как-то обходить закон, то все же находили пациентов. Среди русских же земляков. А там — объединялись. Общество русских врачей. Общество русских адвокатов. Объединение русских инженеров... Среди последних было много учившихся еще до

революции в бельгийских, германских, во французских специальных школах, и эти легче других находили себе места...

Русские шоферы. Их скоро, и как скоро, развелось так много и так скоро завоевали они клиентов — не только случайных, что и они не могли не объединиться и не выработать свой статут обязанностей, статут чести и прав, которые ставили себе целью отвоевать. И так как большинство, преобладающее большинство русских шоферов были в прошлом офицерами, людьми разных либеральных профессий, то и по внешнему облику, манерам, учтивости они отличались от французских простоватых, малоинтеллигентных шоферов-профессионалов. Французов не могли не удивлять такие, например, картинки: останавливается у подъезда такси, из которого выходит нарядная дама, возвращающаяся из театра, концерта или званого вечера. Одновременно сходит со своего места у руля и одетый по-шоферски шофер, галантно целует у дамы руку и, получив сколько причитается ему по счетчику, ждет (не садится опять за руль), пока не откроется перед дамой дверь. Мне пришлось не раз быть свидетельницей игривого недоумения, с каким проходившие мимо французы наблюдали такие сценки. А объяснялось это очень просто. Шофер оказался знакомым дамы в нарядном платье, или дама, узнав в нем русского по акценту, разговорилась с ним...

На объявленном парижским муниципалитетом "конкурсе" на звание отменно-учтивых и корректных шоферов самыми учтивыми и самыми корректными и признаны были русские.

Это было. Русские шоферы — бывшие гвардейские пленители дамских сердец и лихие кутилы — свыкались с новым gagne survi (дававшим хлеб заработком), добивались натурализации, становились полноправными французскими гражданами, и слова профессионального устава — о шоферских обязанностях, правах стоянки, сигнализации — входили в домашний обиход. И детишки русских шоферов, забавно искажая французские технические слова, играли в шоферов и ажанов (полицейских), штрафовавших за то или иное нарушение устава.

Дети русских эмигрантов учились во французских коммунальных школах, в лицеях, начинали плохо говорить по-

русски, приносили — за малыми исключениями — отличные оценки и, усваивая замашки французских школьников, втягиваясь в их интересы, незаметно как будто, а там все заметнее отдалялись от своих родителей, теток, дядей и скучали, слушая их сетования, их брюзжанье, их раздраженные, подчас страстные споры о том, что напечатано в газете Милюкова или в газете Керенского "Дни", в 1925 году перекочевавшей из Берлина в Париж, и в газете Гукасова "Возрождение", где из номера в номер поругивали и Милюкова, и Керенского.

Длинная серия небольших прелестных фельетонов Дон-Аминадо о "Коле Сыроежкине" — драчуне, озорнике, с пальцами в чернилах, с ссадинами на коленях, с наглым равнодушием внимающем одним и тем же речам дома за обеденным, чайным столом, уже в двадцатых годах эмигрантской нашей жизни отмечала нарождавшийся тип будущего отщепенца, неприкаянного, "человека, потерявшего свою тень" — героя Шамиссо.

В Берлине в 20-е годы нашего века, могила Шамиссо на берлинском кладбище часто посешалась русскими эмигрантами или русскими беженцами. Перед многими из нас тогда уже вставал вопрос: Где наша родина? Страна, из которой мы вышли, или страна, куда мы ушли? Из биографии Шамиссо известно, что m-me де Сталь, у которой он гостил в замке Шомон на Луаре, укоряла его в неблагодарности: "Создатель дал вам две родины, и Германию, и Францию. Что мог Он больше сделать для вас?" На что он горестно и страстно ответил: "Две родины... Я был бы счастлив, если бы у меня была только одна". Скольким русским эмигрантам дано было пройти жизненный путь Шамиссо, духовного отца Петра Шлемиля, "человека, потерявшего свою тень"?

Шамиссо, увезенный родителями из Франции в год террора (1792) десятилетним ребенком, учившийся в Германии, полюбивший "страну мыслителей и поэтов" тогдашнюю Германию, изъяснявшийся свободно по-немецки, но еще в двадцать лет писавший по-немецки, как иностранец, Шамиссо не переставал чувствовать себя французом, особенно в моменты, когда обострялись отношения между Германией и Францией и от каждого эмигранта требовалась решимость высказаться за свою страну или против нее.

Во французских школах русские дети слышали от французских ровесников, что Россия — страна дикарей, полудикарей, что там ни в чем не повинных людей режут, расстреливают, вешают, что дети ничему не учатся, и много, много таких, которые не знают даже, что такое шоколад и апельсин.

В какой-то газете напечатано было, другими газетами был подхвачен и расцвечен близкий, вероятно, к действительности случай, когда больной русский ребенок просил шоколада, а шоколад в первые послереволюционные годы трудно было достать в русских городах. И просил еще этот ребенок, умирая, апельсина — и апельсинов тогда ни в Петербурге, ни в Москве не было. Привоза не было. <...>

Много граничивших с трагизмом впечатлений пришлось пережить в те двадцатые годы детям приехавших из России и нашедших приют в свободной Франции. В 1926-ом или в 1925-ом году заговорили в Париже об одном маленьком "вундеркинде" — Павлике Макановицком. Случилось так, что мы с ним и его матерью оказались соседями-жильцами одного русского пансиона. Мальчик был исключительно даровит, умненький и привлекательный. Слушать его, не только исполнение доступных его шестилетнему возрасту пьес, но даже гамм и всяких скрипичных экзерсисов, было одно наслаждение. Русские, очень правого толка, хозяева пансиона и жильцы — все люди русские были, очень любили этого мальчика и его мать, тихую, ласковую женщину.

Был в этом скромном пансионе со скромно обставленными комнатами большой светлый холл, в котором раз в месяц, в воскресный день, находившиеся в Париже офицеры той или другой русской войсковой единицы устраивали свои по подписке обеды. Один такой обед, нижегородских драгунов, был особенно многолюдный и шумный. Резонанс в этом двухэтажном доме с деревянной лестницей был сильный, и в дни таких обедов снизу вверх плыл смутный гул голосов с раскатами "ур-ра!" и смеха. И в такие дни жильцы без деловой надобности не выходили из своих комнат.

Помню — день был серенький, дождливый. Вдруг — быстрый и вместе с тем осторожный стук в мою дверь. Она распахивается прежде, чем я успела сказать "войдите". На

пороге бледная Макановицкая и ее мальчик Павлик, бледный и заплаканный.

— Что случилось?

Макановицкая шопотом, не закрывая за собою дверь: "Слушайте... слушайте...". Я выхожу за ними, облокачиваюсь на перила лестницы, слушаю и слышу: "За здоровье... Его императорского Величества... у-у-уу — ра-ра-ра... Присоединяюсь к словам графа..." Полушопотом успокаиваю Макановицких: "Что же... как всегда, обеденные тосты". Макановицкая удерживает меня за рукав. И до нас доплывает: "...поруганная жидами... Мы... должны... именем Его — урра... — но в Россию войдем с лозунгом... ур-ра-ра — бей жидов и социалистов..." Дальше слышим: "По кварталам разделить Париж, и тогда, как сказал..." — "Слышите, слышите, — шепчет мне на ухо Макановицкая. — Это значит — будет погром..." Мальчик ее испуганно жмется к матери. Успокаиваю их обоих, увожу их к ним в комнату, остаюсь при них несколько минут, заверяю, что эти внизу все спьяна — и что никому зла они не сделают.

На следующий день отправляюсь в редакцию "Последних Новостей". П. Н. Милюкова, находившегося в отъезде, замещал ближайший его помощник Игорь Платонович Демидов, бывший земский деятель, в литературном мире и в литературе — новичок, но в общественной работе еще в России зарекомендовавший себя человеком стойким в убеждениях. По взглядам политическим опять-таки близкий П. Н. Милюкову человек. От него отличался, впрочем, лишь глубокой религиозностью, и внешней тоже, обрядовой. К нему я и обратилась.

— Игорь Платонович, вы, кажется, в хороших отношениях с Владыкой (тогда жил еще митроп. Евлогий).

— Да, как-будто... а в чем дело?

Рассказываю ему.

— Вот такого-то полка офицеры, бывшие офицеры, после обедни, после того, как прикладывались к кресту, пришли... и т. д.

Демидов, внимательно выслушав меня, ответил: "Очевидно, вы не знаете, что Владыка человек очень умный. Этому

рассказу он нисколько не удивится и скажет мне только то, что я неоднократно уже слышал из его уст. Скажет, что эти люди совершенно безопасны. Не нужны ни эмиграции, ни России. И только очень несчастны, и что очень многие из них в отдельности люди безобидные и мягкосердечные, а вот когда соберутся вместе... Всегда есть, в толпе ли, в более или менее многочисленной группе людей один запевала, один поводырь, который ведет за собою других или за которым, вернее, идут другие, слабовольные и нерешительные на самостоятельное выступление люди".

Жизнь, повседневность, эмигрантский быт давали богатую и убедительную иллюстрацию тому, как мало было шансов у вождей, у идеологических — как они называли себя — вождей правой эмиграции завоевать большую аудиторию и создать какое-то на этой почве националистическое движение. Очень уж тесно переплетались насущные, жизненные интересы эмигрантов-евреев и эмигрантов-неевреев, и полагавшими виновниками всех обрушившихся на русских людей бед — евреев и только евреев.

Русские люди, "бывшие" тем-то, чем-то, кем-то в недалеком еще прошлом на родине, служили, работали в предприятиях, в магазинах, в мастерских бок о бок с евреями, или во главе которых стояли компаньонами люди православные и иудейского вероисповедания. В общей профессиональной работе, при расчетах ли или в процессе освоения новой профессии, нового ремесла — не до расовых было разногласий. И не могло их быть, когда задачей каждого служащего в том или ином деле было прежде всего удачное выполнение работы и связанное с этим достижение всяких повышений и большего заработка.

Любопытно отметить, например, что среди эмигрантских врачей, христиан и евреев, не было вовсе ни разладов, ни взаимоотчуждений на почве расовой. Но злой и вульгарный памфлет на евреев-врачей, преимущественно эмигрантских, написал французский писатель, врач по профессии, Фердинанд Селин в своей книге "Les beaux draps". До появления этого непристойного памфлета на врачей-евреев, оказавшихся его конкурентами в одном парижском предместьи, обратил он

на себя внимание талантливо написанной книгой "Путешествие во глубь ночи" — книгой очень левого уклона. Боязнь конкуренции выбила левизну из его головы.

* * *

В 1937-ом году, на семнадцатом году эмиграции, начинает выходить новый "толстый" журнал "Русские Записки" — и по внешнему виду, и по составу редакционной коллегии ничем не отличающийся от уже около пятнадцати лет существовавших "Современных Записок". Да и сотрудники все те же. Чем вызвано было это новое начинание? Инициатива и средства на этот журнал шли от шанхайской группы русских эмигрантов, и это должно было как-будто внести в такой новый журнал и новое содержание. Этого не случилось. Да, появились уже в первом номере статьи в новом отделе, какого не было в "Современных Записках". "Дальневосточное обозрение" озаглавлен был этот отдел. И статьи — "События в Северном Китае", "Русская эмиграция на Дальнем Востоке", "Эмигрантские писатели на Дальнем Востоке". Люди, отдаленные от Парижа — места более или менее многолюдного скопления русских эмигрантов, обвиняли парижские русские издания в невнимании к ним и еще в том, что писатели, живущие в Париже или близко от Парижа, оттесняют молодых писателей, заброшенных силою обстоятельств в глушь Китая или Японии.

Но в первой же книге "Русских Записок" помещена была пьеса Алданова, статья Бунина, рассказ Осоргина, стихи хорошо знакомых русским эмигрантам парижских поэтов, отличная статья Зензинова о советской молодежи, "идущей на Арктику", и о том, каким волшебным изменениям подвергся этот далекий край. О самом Дальнем Востоке, с которым журнал обещал знакомить читателей, очень мало. Освещение отношений между Китаем и Японией — статья интереса недлительного — ибо отношения эти менялись, как колебания температуры на барометре.

Из статьи о русской эмиграции на Д. В. за подписью Н. Ли-

дина мы узнали, из каких разнородных элементов составились кадры русской эмиграции в местах, столь далеких от Парижа, в те годы, когда не было еще воздушных рейсов, туристических бюро, зазывающих пассажиров посулами в пять-шесть дней доставить им удовольствие воздушной экскурсией в Пекин, в Токио и обратно в Париж.

Тяга русских беженцев на Д. В. началась уже в 1919-1920 гг. Уезжали из России, из мест, откуда легче было пробраться на Д. В., чем в Берлин или в Париж. Уезжали из Маньчжурии, уезжали из Сибири, с Урала — после крушения одного, другого "белого правительства". Наиболее верное пристанище, наиболее прочное обоснование представлялось русским людям в Китае. И они не ошибались. Харбин, например, в первые годы эмиграции не мог казаться чужбиной русским людям. И по внешнему своему облику Харбин больше похож был на давний русский губернский город, нежели на китайский. И социально-административный уклад жизни носил еще ярко выраженный русский характер. Русское население города, за которым к этому времени числилось уже более четверти века Истории, давало тон местной жизни. Преобладала на улицах русская толпа, русская речь. Функционировал еще русский суд, русская почта, русская полиция. Железная дорога, например, построенная русскими техническими силами, еще лет десять не меняла русского облика. А была она наиболее широким полем приложения русских сил. До признания Советов Китаем формальным владельцем ее был Русско-Азиатский банк. Из русских эмигрантов пополнялись кадры служащих на железной дороге и всяких муниципальных учреждений. Инженеры, педагоги, врачи находили применение своим силам. Очень скоро образовался русский массив, имевший в крае твердую почву под ногами. Раньше осевшие в стране рады были помочь землякам, и не только из человеколюбия, но из такого расчета, что чем больше будет русских, тем легче будет удержать завоеванные или еще завоевывавшиеся позиции.

Золотому веку русской эмиграции на Д. В. должен был раньше или позже придти конец. Он и пришел — лет десять, пятнадцать спустя. Но в те годы, о которых идет речь, эми-

гранты всех других центров могли только завидовать благоденствию своих далеких соплеменников.

Отражалось это, конечно, и на положении русских писателей, немолодых и начинающих, на Дальнем Востоке. Казалось бы, условия для творческой работы сложились для них исключительно благоприятные. Они не знали нужды, какая угнетала, и унижала, и обессиливала парижских молодых писателей, они не могли также считать себя оторванными от родины. В первые годы эмиграции и Харбин, и Шанхай были почти русскими городами. Не могли они сетовать и на отсутствие издателей и издательств. Было и то и другое. И было немало имущих, хорошо зарабатывавших людей, которые полагали своим долгом давать русским писателям возможность проявлять свои дарования. Одним из таких искренних и щедрых меценатов Михаилом Наумовичем Павловским, инженером по профессии, и предложена была группе известнейших русских эмигрантов в Париже довольно крупная по тому времени сумма — около трехсот тысяч франков на издание в самом Париже толстого журнала, в котором бы отмечались не только важные политические события на Дальнем Востоке, но и помещались произведения живших на Д. В. писателей. И что же получилось? Журнал "Русские Записки" — который уже со второго номера стал редактировать П. Н. Милюков — не мог ни поместить ни одно произведение дальневосточного русского писателя, ни отметить как-нибудь сколько-нибудь значительную повесть, роман или сборник стихов. Все, что приходило с Дальнего Востока, отличалось провинциализмом, старомодностью, тусклым дилетантизмом... Выходила и в Шанхае большая ежедневная газета "Шанхайская Заря", но заполнялась она или корреспонденциями парижских, нью-йоркских русских писателей, или перепечатками русских авторов, печатавшихся в русских парижских, берлинских и нью-йоркских газетах...

За многие годы материального благополучия дальневосточной эмиграции из вышедших там десятков книг единственно достойной зачисления в каталог подлинно художественных литературных произведений была и есть книга Нины Федоровой "Семья". Книга эта, вышедшая сначала на анг-

лийском языке, частями печаталась в журнале "Русские Записки", когда стал их редактировать П. Н. Милюков, и лишь недавно полностью на русском языке издана была в нью-йоркском Издательстве им. Чехова. В книге этой ярко, талантливо дана была картина русского рассеяния на Дальнем Востоке. И русские, и китайцы нашли в авторе, Н. Федоровой, не только верного фотографа, а и художника, сумевшего отобрать из тьмы наблюдений самые характерные и вместе с тем самые обобщающие черты.

Журнал "Русские Записки" существовал недолго. Главным русским литературным центром оставался Париж. Несмотря на то, что некоторые русские писатели оказались в Нью-Йорке, и то, что большинство из них стали издавать свои книги в Нью-Йорке, руководящая духовная роль в русской эмиграции оставалась за Парижем.

Юрий Кашкаров

СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ

Гроб из Луанды — Тем летом в Тарусе
Егорьевск — Муром — Касимов
Словеса царей и дней (князь Иван Хворостинин)
Зло — Исаакий и Евдокия
Афон

Цена книги $ 20.00, пересылка $ 1.50
Заказы направлять по адресу:
The New Review
611 Broadway, Suite 842
New York, NY 10012

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Марк Поповский

ПРИВЫЧКА СВЫШЕ НАМ ДАНА

Россию сотрясают разговоры о будущем. Что будет с нами Завтра? Куда катимся? На эти темы снова и снова размышляют журналисты и экономисты, политики, историки и философы. Свербит эта мысль и кое-кого из наших не равнодушных к оставленной родине эмигрантов. Способно ли нынешнее общество сохранить демократические формы жизни, принесенные "горбачевской весной", или страну опять понесет в царско-ленинско-сталинское Вчера? Недавно приехавшие из России интеллектуалы говорят, что предсказывать будущее сегодня бесполезно. Все ныне неустойчиво, взгляды людей меняются ото дня ко дню, от "да" к "нет" и обратно. Многие публицисты, однако, считают, что будущее предсказуемо. Для этого надо лишь установить с помощью научных расчетов, как нынешнее общество относится к ценностям демократии и насколько сильна еще в нас тяга к "сильной руке". З а в т р а, таким образом, можно разглядеть, если получить достаточно точный цифровой материал, освещающий психологический портрет России С е г о д н я.

Вера в возможность исторического прозрения через сегодняшние расчеты побудила немецких ученых из фонда имени Фридриха Эберта (Мюнхен) заказать Российскому институту социологических исследований провести массовые опросы населения на территории России и подсчитать, какие полити-

ческие тенденции превалируют и чего, таким образом, можно ожидать в будущем. Проект этот ныне уже осуществлен. В четырнадцати районах страны опрошены 2014 человек разного возраста, общественного положения и разных профессий. Цифры получены впечатляющие, хотя предсказание завтрашних событий через сегодняшние расчеты кажутся достоверными далеко не всем. В частности, историки и философы, изучавшие прошлое нашей страны, убеждены в том, что значительно больше говорят о будущем традиции, которые сложились в государстве за последние семьсот лет. Традиции эти, начиная с XVI и по конец XIX столетия, наблюдали и описывали современники. Подчас это были русские политические и общественные деятели, литераторы, но не менее важны наблюдения иностранцев. Вчитываясь в манускрипты прошлого, все яснее видишь, что ожидает страну в будущем.

Итак, взглянем на то, что принесли опросы и расчеты, проведенные социологами в конце XX столетия, и сравним полученные данные с выводами людей, подчас весьма далеких от науки, но наблюдавших Россию веками.

Сегодня коммунисты захватили бóльшую часть мест в Думе и явно берут верх над демократами и либералами всех мастей. Хотя нынешние большевики твердят, что они не походят на ленинско-сталинскую гвардию, но опыт трех поколений советских граждан показывает: захватив власть, коммунисты немедленно превращают ее во власть тоталитарную. Без Сталина-два или, на крайний случай, второго Брежнева не обойтись. Каково же отношение общества к идее всплывающего на горизонте тоталитаризма? Что говорят полученные цифры об отношении россиян к самодержавному режиму? Как видятся нашим современникам лица тех, кто крепко держал вожжи власти в прошлом? Социологи разделили взгляды опрошен-ных по пятибальной системе на пять групп: "отлично", "хорошо", "на троечку", а также на "плохо" и "очень плохо". Личность Николая Второго получила при таком исчислении положительные баллы у 42,1%. Как видим, для многих, недавно еще советских граждан, последний Государь представляется не таким уж скверным хозяином. Еще больше поклонников оказалось у товарища Сталина. Разоблачение

кровавых мерзостей этого тирана не оттолкнуло от него бóльшей половины сегодняшнего населения России. Отметки 5, 4 и 3 дали Иосифу Виссарионовичу 51,5% опрошенных. Еще более привлекательным представляется сегодня товарищ Ленин. Личность Владимира Ильича мила 57,7% жителей страны. Но что звучит уже совсем фантастично и свидетельствует о полном беспамятстве наших соотечественников, это мнение российской публики об Андропове. Бывший хозяин КГБ, а затем генеральный секретарь ЦК КПСС получил при опросе положительную оценку у 67,4% населения. Двое из трех граждан считают его наиболее совершенным руководителем страны в XX столетии.

Надо ли после всех этих расчетов задаваться вопросом, какого рода власть видится россиянам наиболее идеальной? Цифры убедительно свидетельствуют: З а в т р а мы жаждем видеть в Кремле этакого ленинско-сталинско-андроповского гибрида. Случайность? Ни в коем случае. Прислушаемся к мнению людей, размышлявших над той же проблемой в далеком прошлом.

"Неизвестно, или народ в своей загрубелости требует себе в государи тирана, или от тирании государя самый народ становится таким бесчувственным и жестоким".

Сигизмунд Герберштейн (1485-1566), австрийский дипломат, дважды навещавший Россию, автор книги о государственном устройстве и повседневном быте русских

"Без государя Московскому государству стоять нельзя, печься о нем и людьми Божиими промышлять некому; без государя вдосталь Московское государство разорят все; без государя государство не строится, и воровскими заводами на многие части разделяется и воровство многое множится".

Грамота о созыве на Собор 1613 года

"Россия должна быть государством самодержавным. Малейшее ослабление самодержавия повлекло бы за собой отторжение многих провинций, ослабление государства и бесчисленные народные бедствия".

Кн. Безбородко Александр Андреевич (1747-1799)

"Невозможно находиться в их обществе без постоянного сознания подвластности их деспотической власти, когда, по их понятиям, оказывается, что синонимами "хорошо" и "плохо" являются "угодно" или "неугодно".

Катрин Вилмот, англичанка, жившая в начале XIX века в доме князей Дашковых

"Государство без полномощного монарха — автомат".

Гоголь Николай Васильевич

Не кажется ли вам, уважаемый читатель, что те, кто еще в XVI-XIX веках размышляли о наиболее идеальной форме власти для России видели З а в т р а страны ничуть не хуже сегодняшних социологов?

Тоталитарно-имперская система предполагает не только всевластие царя или генсека, но и предопределенно низменное положение рядового гражданина. От него, рядового, в стране ничего не зависит, все решения приходят сверху, все определяется придворными или (что одно и то же) членами ЦК КПСС. Подавляющая часть сегодняшних россиян (66,1%) с такой системой соглашается. Несогласных, тех, кто желает принимать личное участие в делах страны, в три с лишним раза меньше (20%).

Продолжая опрос, социологи сделали попытку выяснить, как общество относится к таким сугубо демократическим процедурам, как выборы, парламент, свобода печати. И снова почти три четверти населения (73,1%) высказались в том смысле, что все эти институты на сегодня — пустая видимость. И только 13% выразили желание иметь в стране парламент и свободу печати. Тогда социологи поставили вопрос о демократических институтах по-другому: "Но может быть, для нормальной жизни общества свободная пресса, парламент и выборы все-таки благо?" Большинство с такой постановкой вопроса согласилось, но каждый третий (30,4%) ответил, что вопрос слишком труден для него и ответить на него он отказывается.

Исследование среди прочего обнаружило своеобразную психологическую "болезнь" российского общества, которое с трудом сознает важнейшую закономерность, от века сопровождающую российскую жизнь: добравшись до кремлевского

трона, каждый новый "хозяин" немедленно перестает уважать закон и правопорядок страны. Непонимание этой закономерности ведет к тому, что 69,6% опрошенных твердят, что России нужна в качестве первого лица непременно "сильная личность", и только она приведет общество в порядок. И одновременно 87,8% уверены в том, что люди должны научиться уважать закон. Но как, извините, это совместить? Большевистское правление с его всеобщим и повальным беззаконием, тюремно-лагерной системой и миллионами стукачей, казалось бы, должно напоминать нам, что так называемая "сильная личность", человек, владеющий всей полнотой власти, — главный враг законности. В тоталитарной системе права личности неизменно попираются. Вроде бы все ясно. И тем не менее против воплей "дайте нам сильную личность" протестует лишь 13,3%. Откуда оно у нас, это рабство? Да все оттуда же... Цитирую:

"(В России) всякий новый закон или постановление, касающееся управления, определяется всегда прежде, нежели созывается по этому случаю какое-либо общее собрание или совет".

Джайлс Флетчер (1549-1611), английский дипломат, автор книги "О Российском государстве". В 1588-1589 гг. посол в Москве

"У русских существует такой же образ правления, какой был в царствование Новухудоносора".

Адам Оленарий (1603-1671), немецкий ученый, автор книги "Описание путешествия в Московию...", богатой материалами о географии, истории, обычаях и нравах России

"Когда некий иностранец положительно ответил на вопрос Ивана Васильевича (Ивана Грозного) о том, правда ли, что европейские государи считают его тираном, царь сказать: "Они не знают обстоятельств, имея ввиду только собственные народы. Те государи повелевают людьми, а я — скотом".

Яков Рейтенфельс. Жил в Москве в начале 70-х годов XVII в. со своим родственником, царским врачом. Оставил книгу наблюдений над жизнью и бытом русских

"Жизнь в Кремле не жизнь, а оборона; гнет создает возмущение, возмущение вызывает меры предосторожности, меры предосторожности усиливают опасность, и из этого длинного ряда действий и воздействий рождается чудовище, абсолютизм, построивший себе в Москве дом — Кремль".

Маркиз де Кюстин (1790-1857), французский писатель. Убежденный монархист, он приехал в Россию, считая русскую монархию идеалом политической жизни. Сильно разочаровался, о чем подробно написал в книге "Россия в 1839 году"

"Вообще у нас как-то более заботятся о перемене названий и имен, нежели о сущности дела".

Н. В. Гоголь

"Мысль, что вся частная жизнь должна сосредотачиваться в государственной и быть управляемой государством — это главная движущая идея социализма, а поскольку эта мысль в ясном или неясном представлении угнездилась даже в самых крайних умах, то и простой заурядный человек бессознательно приобщается к социализму".

Победоносцев Константин Петрович (1827-1907), государственный деятель, юрист, обер-прокурор Синода (1880-1905)

Победоносцев поразительно точно подметил главный признак "социализма", того самого режима, к которому сегодня снова рвутся многие соотечественники. Наша так называемая "личная жизнь" от рождения до смерти оставалась под строжайшим надзором властей. Государственным чиновникам было дело до того, в каком городе я живу, какую квартиру занимаю, с кем общаюсь, какое радио слушаю и даже какой ширины брюки ношу. Не менее десятка раз я подавал прошение с просьбой позволить мне съездить за рубеж. Отказывали. "Не достоин". Сегодня, много лет спустя, социологи снова коснулись старой проблемы о праве российских граждан покидать свою страну. И вот он, "голос народа": 46,2% опрошенных считают, что "родина у человека одна и покидать ее нехорошо". Этот лагерно-тюремный принцип опровергают немногим более половины общества — 52,5%. Рабская психология, как видим, сидит в нас достаточно прочно.

Столь же не уверен российский гражданин, когда его спрашивают, "хочется ли ему выделяться среди других, быть яркой индивидуальностью". Вопрос этот для нашего уха звучит провокационно. Ведь нам всю жизнь втолковывали: "Не высовывайся!" Страх перед высовыванием четко отразился в цифрах социологического обзора. "Выделяться" согласна лишь половина граждан, а 44,3% по-прежнему убеждены: "Жить, как все, лучше, чем выделяться среди других". Пугает россиян даже возможность общественного признания. Излишняя известность, громкий успех, как всем нам известно, неизменно в России вызывает зависть и злобу окружающих. Не ровен час удачника могут и подстрелить, как уже застрелили многих директоров банков, журналистов, бизнесменов. Так что нечего удивляться тому, что лишь 8 (восемь!) процентов опрошенных сочли общественное признание и профессиональный успех чем-то для себя желанным.

Что сказать обо всем этом? Люди, прожившие свой век в тоталитарном государстве, так привыкли к своему зависимому от властей положению, что каждый второй готов вернуться в мир, где нет свободного выезда из страны, где безопаснее не выделяться и не быть яркой индивидуальностью, где доступ рядового гражданина к рычагам власти равен нулю. Новость? Отнюдь! Об этом писали и говорили люди, жившие за многие столетия до нас. Читайте!

"...Им не дают путешествовать, чтобы они ничего не узнали и не увидали бы, как живут люди в других странах. Вы вряд ли увидите русского путешественника в других странах за границей... так как их границы плотно охраняются и наказание за попытку побега — смертная казнь"

Дж. Флетчер, конец XVI века

"Русских не пускают путешествовать за границу, дабы они спокойно переносили свое рабское состояние и не знали о вольных учреждениях, заведенных в иностранных государствах".

Адам Оленарий, начало XVII века

"Уверяю вас, сэр, совсем непростое дело здесь — разузнать о чем-либо... Никаких сообщений о политических событиях, кроме тех, что двор соизволит предать гласности, никаких частных мнений, никаких рассказов о происшествиях повседневной жизни невоз-

можно почерпнуть из газет. Как это не похоже на Англию!.. Пол-России может быть разрушено, и другая половина не будет даже подозревать об этом..."

Вильям Ричардсон (1743-1814), английский ученый, в конце XVIII столетия был секретарем английского посла в Москве. Автор книги о нравах русского общества при Екатерине II

"Русское правление — это дисциплина военного стана, заменившая порядок гражданской общины, это осадное положение, ставшее нормальным состоянием общества... В России человек, возвышающийся хотя бы на вершок над уровнем толпы, тотчас же получает право, мало того, ему вменяется в обязанность притеснять других людей, которым он должен передавать удары, полученные свыше..."

Маркиз де Кюстин, XIX столетие

А как нашим предкам виделись попытки русского общества изменить существующий порядок? Надеялись ли они, как сегодня надеются многие, на решительные и благодетельные перемены?

"Россию принялись лечить разом от всех болезней: какой организм выдержит такую заботливость?"

Григорьев Василий Васильевич (1816-1881), востоковед, начальник Главного управления по делам печати (1874-1880)

"Вообще у русского человека слишком много апатии, отсутствия благородных стремлений, порывов и огненных страстей, направленных в хорошую сторону. Вследствие этого он дремлет".

Благосветов Григорий Евлампиевич (1824-1880), публицист, журналист

"Странная, странная эпоха, в которую мы живем! ...Эпоха попыток, разнообразных стремлений, движения вперед, движения назад; эпоха крайностей, одна другую отрицающих... насилия и либерализма, консервативного прогресса и разрушительного консерватизма, раболепства и дерзости, утонченной цивилизации и грубости, грязи и блеску!"

Аксаков Иван Сергеевич (1823-1886), поэт, публицист, общественный деятель, один из идеологов славянофильства

"В обществе с непривычки ощущается недостаток изобретательности в творчестве. Мы еще не раскачались. У сонных мух, коченевших долго в стуже, не расправились еще крылья".

Погодин Михаил Петрович (1800-1875), историк, писатель, журналист

Как видим, возможность серьезных принципиальных перемен в стране представлялась нашим, жившим сто и более лет назад, предкам маловероятной. Причина виделась им опять-таки в традициях народа, в его истории. Спорить не стану. Приведу лишь в заключение в высшей степени точное замечание А. Герцена: "Новое надо созидать в поте лица, а старое само продолжает существовать и твердо держится на костылях привычки".

Нью-Йорк
Март 1996

Сергей Тиктин

МОЖЕТ ЛИ ПОВТОРИТЬСЯ ЧЕРНОБЫЛЬ?

На этот вопрос не может быть однозначного ответа.

Конечно, устаревшие технически и морально реакторы РБМК (равно как водо-водяные ВВЭР) и по сей день представляют собой источники повышенной опасности. Так, в 1989 году, после всех усовершенствований и модернизаций, на ЧАЭС было зарегистрировано пятнадцать случаев отказа оборудования. Для сравнения: во всей ядерной энергетике Франции за тот же год — всего два случая. Уже не секрет, а прописная истина, что ЧАЭС, наряду с другими АЭС с опасными реакторами, следует закрыть. Украина, не имеющая своей нефти и в значительной мере выработавшая угольные запасы своей части Донбасса, без них обойтись не может. Разве что модернизировать. Как Литва, не имеющая топливных ресурсов и отнюдь не собирающаяся закрывать, теперь уже свою, неоднократно горевшую Игналинскую АЭС. И Россия тоже без существующих АЭС не сможет обходиться еше долгое время. В отличие, например, от Германии, мощная энергетическая база западной части которой позволила безболезненно закрыть АЭС с реактором "чернобыльского" типа в Грайфсвальде, в восточной ее части.

Диаметрально противоположная ситуация, однако, в Болгарии. 15 ноября 1995 г. "Новое Русское Слово" перепечатало из журнала "ВСД" статью Ж. П. Шампаня "Козлодуй — новый Чернобыль?" На этой атомной электростанции с устарелыми реакторами советского производства не раз случались серьезные неполадки. В 1991 году по настоятельной рекомендации

МАГАТЭ она была остановлена на ремонт и запущена вновь в начале 1993 г. В начале 1995 г. из-за многочисленных неполадок опять остановлена. Автор статьи пишет: "По мнению западных контролирующих организаций — да и болгарских тоже! — электростанция, введенная в строй в 1974 году, действительно представляет "значительную опасность". Последствия могут стать самыми серьезными, вплоть до "выброса в атмосферу значительной части расщепляющихся веществ, содержащихся в атомном горючем". Отсюда вывод: "Иными словами, второй Чернобыль или еще хуже". Тем не менее, болгарские власти решили снова запустить эту станцию. "Экономическая необходимость берет верх над благоразумием, — поясняет Шампань, — Козлодуйская АЭС дает стране около 40% электроэнегии. Ее закрытие может обернуться... невозможностью снабжать электричеством всю территорию страны. Игра с огнем продолжается!.." Причем с огнем атомным.

Относительно расчетных вероятностей различных аварий (как правило, они ничтожны — одна за несколько десятков тысяч, а то и за сотен тысяч лет) можно спорить до бесконечности. В действительности же чаще всего срабатывают как раз неучтенные факторы. И не так, и не там, где этого ожидают.

10 марта 1995 года в 4,5 км от Нововоронежской АЭС взорвалась сбившаяся с курса ракета "воздух-земля", запущенная во время учебных стрельб над расположенным неподалеку полигоном ВВС. Что было бы, попади она в действующий реактор, не имеющий прочного защитного колпака?

С рождения ядерной энергетики и тем более после Чернобыля внимание и широкой публики, и специалистов было в основном сосредоточено на ядерных реакторах. О других аспектах ядерной технологии говорилось (и, видимо, думалось) мало.

Но... почти накануне седьмой годовщины Чернобыльской катастрофы произошла серьезная авария на сравнительно малоизвестном радиохимическом комбинате Томск-7. Шестого

апреля 1993 года там взорвалась установка для химического разделения радионуклидов отработанного ядерного топлива. В. Челиков в статье "Ядерный шпионаж" ("Московские новости" № 16 от 18 апреля 1993 г.) сообщает, что в ней находились около 500 гр. плутония и несколько тонн урана и азотной кислоты. Взрывом была сорвана крыша здания и выбито 60 $м^2$ стены. Причиной взрыва оказалось то, что оператор (опять — "человеческий фактор") подал в ёмкость более крепкую, чем требовалось, азотную кислоту, не произвел достаточного барботажа (продувки раствора воздухом) и не открыл сдувку выделяющихся при реакции газов. Давление втрое превысило норму и разорвало аппарат. Далее следуют такие пикантные подробности: запас его прочности был рассчитан на двойную перегрузку — в целях экономии металла; прибор, контролирующий подачу воздуха, не работал к моменту взрыва уже 18 часов, так что оператор не мог контролировать барботаж. Что ж, если можно экономить на защитном колпаке ядерного реактора, то почему не сэкономить на прочности химического? Далее, судя по описанию процесса, настоящего взрыва в последнем не произошло, ибо давление поднялось не мгновенно. Так имелись ли на нем хотя бы в одном экземпляре манометр, рычажный или пружинный предохранительный клапан и сирена — как сто лет назад на паровых котлах, обслуживаемых малограмотными кочегарами? Или иные, более современные, средства автоматической защиты и сигнализации? А если имелись, то в каком состоянии они находились и контролировались ли? Как и Чернобыльская катастрофа, эта авария имела свою, меньшего масштаба, предшественницу. По словам представителя Госатомнадзора России А. Дмитриева, за пятнадцать лет до того *на этом же комбинате* с одной из таких установок сорвало крышку. Но тогда здание выдержало удар, и радиоактивный аэрозоль не вырвался наружу. В обстановке глухой секретности того времени скрыть аварию не представляло труда. Интенсивность радиации вблизи места аварии и в зоне выпадения радиоактивных осадков составляла сотни микрорентген в час. По сравнению с чернобыльскими масштабами — мизер, по сравнению с аварией на Трехмиль-

ном острове — немало. Даже если эта авария произошла вследствие сочетания "крайне маловероятных обстоятельств", то все-таки неприятно: на том же предприятии два раза за какие-нибудь пятнадцать лет (а не тысячелетий!) — взрыв.

Время от времени в прессе всплывает вопрос: не следует ли вообще отказаться от ядерной энергетики с ее урановыми рудниками, реакторами, радиохимией и захоронениями радиоактивных отходов? Возобновляются долгие рассуждения о переходе обратно на нефть, газ и уголь, о новых ГЭС, в том числе приливных, о солнечной энергии и энергии ветра, о геотермальной энергетике, о будущем (давным-давно обещанном через десять, потом через двадцать, а теперь — в течение сорока лет) управляемом термоядерном синтезе... Но затем, особенно когда речь заходит о "большой" энергетике, разговор неизменно переходит на проблемы совершенствования АЭС и использования в качестве ядерного топлива *всего* урана, а не только его легкого изотопа. А в последнее время — и накопленных избыточных запасов плутония.

В ходе Чернобыльской катастрофы не произошло *ничего*, не известного науке и не предсказанного ею. Но в ней, как в зеркале, отразились фундаментальные пороки советской системы. Она воочию показала, как *нельзя* проектировать, строить и эксплуатировать предприятия ядерной индустрии. Она показала, что эта отрасль действительно предъявляет к уровню технологии, технической культуры, познаниям и квалификации занятого в ней персонала высокие требования. Последние, однако, несовместимы не с человеческими возможностями как таковыми, а с условиями тоталитарного режима, с его жестко централизованной экономикой и управлением. Разумеется, они не более совместимы и с нынешними постсоветскими условиями всеобщего развала и безответственности. Корень зла не в ядерной индустрии как таковой, а в той общественно-политической системе, в которой эта индустрия развивается и функционирует.

В результате сорокалетнего беспредельного хозяйничанья партократического атомного военно-промышленного комплекса и обстановки абсолютной секретности свои "чернобыли"

в той или иной форме, как теперь выяснилось, существуют почти на всей территории СНГ. Не только в Белоруссии, Украине и на Брянщине, но и на Урале, в Казахстане*, на Крайнем Севере — от Белого моря до Чукотки, в Закавказье и т. д. и т. п. Языки этого пламени проникают и во внешний для бывшего СССР мир.

Избежать как новых чернобылей, так и постепенного радиоактивного загрязнения планеты, в принципе *возможно.* Но только посредством высокой технической культуры на *всех* стадиях ядерной технологии — от добычи делящихся материалов до захоронения их радиоактивного "пепла" и ликвидации отработавшего оборудования. Не меньшую роль играет нормальная, стабильная и здоровая социальная ситуация, в рамках которой только и может полноценно функционировать высокая технология.

* * *

Однако с конца 1980-х — начала 1990-х годов возникли новые, казалось бы, совершенно немыслимые до тех пор опасности. Вот что сообщает Р. Габович в статье "Супертерроризм: чем это грозит миру", опубликованной 18 марта 1993 года в израильской газете "Вести": мысли о ядерном оружии зародились в среде международных террористов политического и уголовного толка давно — чуть ли не сразу после его появления. В 1970-76 гг. было зарегистрировано 38 случаев угроз ядерным оружием с их стороны.

Немецкая террористическая группа "Движение 2 июня"

На полигоне вблизи Семипалатинска, после прекращения длившихся почти пятнадцать лет наземных испытаний ядерного оружия, в числящихся безводными водоносных слоях производились в течение более двадцати лет подземные ядерные взрывы, отравлявшие воду радионуклидами цезия, стронция, плутония и др. и вызывавшие массовые заболевания среди населения. Попытки советского военного руководства скрыть истинную причину этого бедствия были разоблачены в 1989 году (см. С. Тиктин, Подземный Чернобыль у Семипалатинска. "Русская мысль" от 1 сентября 1989 г.).

нагло заявила: "Имея атомную бомбу, можно заставить даже канцлера танцевать канкан перед телевизионной камерой". Но в те времена не только ядерное оружие (как и технология его изготовления), но и ядерные материалы, особенно высокообогащенные уран и плутоний, во всех ядерных державах находились под строгим контролем, и правительства могли с полным основанием игнорировать такие угрозы. Когда в прессе появились сообщения об авариях на АЭС и их последствиях, террористы стали разрабатывать планы захвата АЭС и взрыва их реакторов. С 1976-го по 1983 годы было 11 сообщений о попытках террористов взорвать АЭС. Однако ни в одном из этих случаев им не удалось повредить реактор или систему, обеспечивающую его нормальное функционирование. Один раз террористам удалось захватить почти не охраняемую строющуюся АЭС, на которой не было ни делящихся материалов, ни оборудования. "Новое Русское Слово" сообщило 13-14 февраля 1993 г. о таком происшествии: на АЭС на Трехмильном острове прорвался небольшой автофургон. Он беспрепятственно проскочил через первые, охраняемые(?!), ворота, протаранил другие, пробил третьи и оказался в машинном зале. Водитель спрятался в конденсаторном отделении, и его нашли почти голым (видно, там было жарко) только через четыре часа. За исключением разбитых ворот, он вреда станции не причинил. Как выяснилось, незадолго до того он был выписан из психиатрической больницы.

26 апреля 1996 г., в десятую годовщину Чернобыльской катастрофы, газета "Новое Русское Слово" поместила сообщение В. Коротича о том, что в 1992 году спецгруппа провела учения на Ленинградской АЭС. Профессиональные российские диверсанты легко проникли на станцию и произвели условный взрыв, не потревожив сигнализации.

За те же восемь лет было 34 случая обстрела АЭС. В 1982 году во Франции был обстрелян с расстояния 400 метров из противотанковых гранатометов мощный реактор — "третьего поколения" — реактор-размножитель на быстрых нейтронах "Суперфеникс" . Один снаряд попал в него и оставил выбоину на защитном колпаке. Это была попытка с явно негодными средствами. Тем не менее изучение этих операций привело

экспертов к выводу, что захват АЭС хорошо вооруженным отрядом не исключен — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Фанатиков-смертников в наше время хватает. Да и специалисты-атомники, готовые помочь инструктажем — если не прямым участием (по найму), тоже найдутся. Что может произойти в ядерной державе, находящейся в состоянии, близком к внутренней (гражданской) войне, показывает следующий эпизод. В 1988 году, вскоре после резни армян в Сумгаите (Азербайджан), отряд внутренних войск МВД СССР занял Мацаморскую АЭС, находящуюся в еще советской тогда Армении. Тогдашний командующий внутренними войсками МВД СССР генерал-полковник Шаталин прямо пригрозил постоянному представителю Армении в Москве взрывом АЭС, недвусмысленно заявив: "Мои парни держат руку на кнопке!" После он пытался оправдываться, заявляя, что он не террорист и атомных станций не взрывает. Но...

Осенью 1994 года в Литве был приговорен к расстрелу главарь банды рэкетиров "Вильнюсская бригада" Б. Деканидзе за организацию убийства известного журналиста Лингиса. Проживавший в Вильнюсе отец убийцы Г. Деканидзе объявил, как об этом сообщило 14 ноября 1994 г. агентство ИТАР-ТАСС, что в случае исполнения приговора он намеревается взорвать Игналинскую АЭС. Одновременно гражданин Литвы К. Мажуйка доставил в канцелярию премьер-министра Швеции письмо от имени подпольной террористической группировки, якобы действующей на территории республики. В письме содержалось требование выплатить 1,1 млн долларов США, сопровождаемое угрозой, что в противном случае Игналинская АЭС "взлетит на воздух". Вооруженная охрана станции была утроена. Реакторы были выключены на несколько дней, пока местная и приглашенная из Швеции группы экспертов не убедились в отсутствии каких бы то ни было следов подготовки террористического акта или саботажа.

В октябре 1994 г. российский журналист Дм. Прокофьев сообщил израильской газете "Едиот ахронот" ("Последние новости"), что российские вооруженные силы завезли в г. Томск несколько тысяч килограммовых контейнеров с плутонием и

обогащенным ураном. Как выяснилось, эти материалы были извлечены из боеголовок ракет в рамках соглашения между Россией и США о сокращении неконвенциональных вооружений. Ни областные власти, ни министерство атомной энергетики не были поставлены об этом в известность. Контейнеры были размещены на полуразвалившемся складе, стены которого, как сообщил томский губернатор в письме Совету безопасности России, можно обрушить ударом молотка. Охраняет склад один солдат.

А если бы их завезли в Буденновск или Кизляр?

В декабре 1994 года, после начала военных действий в Чечне, охрана АЭС в России и Украине была усилена. Бандитский рейд чеченского отряда Басаева на Буденновск показал, что эта предосторожность была вполне оправданной.

Между тем пресса все чаще сообщает о пресечении спецслужбами России и других стран попыток вывоза из нее ядерных материалов и техники, а также о выезде за рубеж специалистов-ядерщиков. Чуть ли не столь же часто, как о выявлении таможенниками грузов наркотиков. Но мировой наркобизнес тем не менее процветает. Так можно ли быть уверенным в том, что перехватываются *весь* оружейный уран и плутоний и прочая ядерная контрабанда? Тем более, что распад СССР привел к ослаблению контроля над ядерными материалами в России и других странах СНГ и к непредсказуемым миграциям населения. Помощник Генерального прокурора Российской федерации А. Мыцыков сообщает о плохой охране, безобразном учете делящихся ядерных материалов и их хищениях с предприятий*. Правда, в количествах недостаточных для создания подпольного ядерного рынка**.

Еще в 1986 году международная организация по предупреждению ядерного терроризма поручила экспертам проверить, можно ли в условиях подполья создать атомную бомбу.

А. Мыцыков. Ядерные хищения: что говорят документы. "Новое Русское Слово" от 25 августа 1995 г.

В. Орлов. Покупателей нет, но продавцы готовы... Там же.

Группе из четырех специалистов удалось довольно легко сконструировать относительно простое устройство, способное произвести взрыв, всего вдвое уступающий по мощности взрыву "хиросимской" бомбы. Подобный взрыв в припаркованной вблизи АЭС автомашине способен обрушить защитный колпак реактора и разметать его активную зону. И тем более — прямое попадание такого заряда, запущенного небольшой ракетой или выстреленного из орудия, спрятанного в автофургоне. В итоге — сочетание Хиросимы с Чернобылем...

Тут впору вспомнить давнее предложение акад. А. Д. Сахарова о подземном размещении АЭС. Но во сколько раз это удорожит их строительство (и так уже изрядно подорожавшее после Чернобыльской катастрофы)? Да и строить их там можно только в гарантированно безводных слоях. А сколько АЭС уже выстроены и работают на поверхности?!

Опрошенные институтом Гэллапа 1346 виднейших специалистов в области ядерной технологии считают ядерную катастрофу в результате террористического акта более вероятной, чем ядерную войну между государствами.

Так что предотвращение ядерного терроризма является в настоящее время важнейшей задачей мирового сообщества.

Юрий Дружников

НЯНЯ ПУШКИНА В ВЕНЧИКЕ ИЗ РОЗ

Няню Пушкина мы знаем с детства, будто не только поэта, но и нас самих она выходила. Ей принадлежит почетное место в любой биографии поэта. Стоит ли приниматься за такую банальную тему? Что нового удастся сказать? В очередной раз перебирая материалы, накопленные за долгие годы в толстой папке с ее именем, мы решили попытаться взглянуть на няню, так сказать, как на историко-литературное явление, одну из нерешенных загадок биографии Пушкина.

Исходные материалы о няне скудны, но, судя по всему, извлечено максимум возможного и интерпретировано по-разному, иногда не в лад с историческими фактами. По неписаному закону пушкинистики окружение великого поэта сортировали, делили на друзей и врагов с последующей гипертрофией их достоинств или недостатков. Няня чистку выдержала с честью и не раз.

1. Няня. Но какая?

Прежде всего само ставшее традиционным выражение няня Пушкина", принятое в пушкинистике, требует уточнения, ведь сам Пушкин ни разу не назвал ее по имени. В научной российской и западной литературе она именуется чаще как Арина Родионовна, без фамилии, либо, реже, под фамилией Яковлева [1].

---

[1] См.: *Пушкин. Письма.* Под ред. Л.Б.Модзалевского, Academia, 1935, т.III, с.674; Л.А.Черейский. *Пушкин и* его *окружение.* Л., 1988, *с.524;* John Bayley. *Pushkin:* A *Comparative Commentary,* 1971, pp.50-51; "Яковлева" — много источников.

Арина — ее домашнее имя, а подлинными были Ирина и, в других документах, Иринья. Ее фамилия, судя по податным спискам, Родионова. Под этой фамилией она была похоронена. В одной из поздних публикаций говорится: "Появление в современной литературе о няне Пушкина фамилии Яковлева, будто бы ей принадлежавшей, ничем не обосновано. Как крепостная крестьянка няня фамилии не имела. В документах (ревизские сказки, исповедальные росписи, метрические церковные книги) она названа по отцу Родионовой, а в быту — Родионовной. Никто из современников поэта Яковлевой ее не называл"[2]. Это вопрос спорный, считают, однако, другие, ибо детей называют по отцу, а фамилия ее отца — Яковлев. Мейлах называет ее Арина Матвеева (по мужу)[3]. Так или иначе, крепостные у Пушкина и Гоголя называются Савельич, Селифан, Петрушка, а почтительное наименование по имени и отчеству Арина Родионовна и без фамилии, широко принятое в литературе, сразу выводит няню на определенный уровень. Ведь начиная с фольклорных имен (Микула Селянинович), так принято величать в печати только героев, царей, великих князей да общеизвестных лиц (Константин Павлович, Александр Сергеевич).

Согласно метрической книге Воскресенской Суйдинской церкви няня родилась 10 апреля 1758 года в Суйде (теперь село Воскресенское), а точнее — в полуверсте от Суйды, в деревне Лампово. Это так называемая Ижорская земля в Петербургской губернии, на территории Ингерманландии, принадлежавшей когда-то Великому Новгороду, потом Швеции и отвоеванной Петром Великим. На малонаселенной этой местности насаждалось православие, лютеранство, затем снова православие. Мать ее, Лукерья Кириллова, и отец, Родион Яковлев, имели семерых детей, причем двух — с одинаковым именем Евдокия. Ребенком Арина числилась крепостной графа Ф.А.Апраксина. Суйду и прилегающие деревни с людь-

---

[2] Н. И. Грановская. *Если ехать вам случится.* Л., 1989, с. 63.

[3] Б. С. Мейлах. *Пушкин и его эпоха.* М., 1958, с. 686.

ми купил у графа Апраксина прадед поэта А. П. Ганнибал. Арина (Ирина, Иринья) Родионова-Яковлева-Матвеева прожила долгую по тем временам, за 70-й рубеж, жизнь.

В 1781 году Арина вышла замуж, и ей разрешили переехать к мужу в село Кобрино, что неподалеку от нынешней Гатчины. Через год после рождения Пушкина бабка его Мария Ганнибал продала Кобрино с людьми и купила Захарово под Москвой. Арину с семьей и домом, в котором они жили, бабушка исключила из запродажной. Ситуация не такая ясная, как о ней пишут. Одно время принято было считать, что Арине с семьей: мужем Федором Матвеевым, умершим в 1801 или 1802 году от пьянства, и четверыми детьми, — М. А. Ганнибал то ли подарила, то ли хотела подарить вольную.

Арина от вольной отказалась. Это утверждает в своих воспоминаниях сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева. Няня осталась дворовой. Кстати, толковый словарь объясняет слово "дворовый" как "крепостнои , а именно взятый на барский, господский двор (о крепостных крестьянах, оторванных от земли для обслуживания помещика, его дома)". Дочь Арины Родионовны Марья вышла замуж за крепостного и, таким образом, осталась крепостной. Арина сказала: "Я сама была крестьянка, на что вольная!"[4]

Биограф няни А.И.Ульянский утверждает, что дети вольной не получили[5]. Всю жизнь Арина считала себя рабой; "верной рабой" называет няню в "Дубровском" сам Пушкин, хотя это, конечно, литературный образ. "Отпустить на волю семью няни, — полагает Грановская, — Мария Алексеевна, видимо, собиралась... но не отпустила"[6]. Если это так, то отказ няни от вольной теряет смысл. В Михайловском, судя по спискам, Арина и дети ее снова проходят крепостными. И Пушкина, заметим мы, ситуация вполне устраивала. Никогда,

---

[4] П. В. Анненков. "Материалы для биографии Пушкина". *Соч. Пушкина*, т. 1, Пб., 1855, с. 3.

[5] А. И. Ульянский. *Няня Пушкина*. М.-Л., 1940.

[6] Грановская, с. 97.

ни одним словом он не затронул этой темы применительно к няне, хотя рабство в общем виде возмущало его гражданские чувства не раз.

Арина и дети ее оказались на особом положении. Она то оставалась прислуживать у Пушкиных, то возвращалась в деревню. По надобности ее привозили прислуживать в барском доме, но и возвращали обратно. Она нечто вроде ключницы: стережет усадьбу, выполняет поручения господ, ей доверяют, убедившись в ее честности, кое-какие денежные дела. Она house keeper, по определению В. В. Набокова, старавшегося объяснить западному читателю ее роль[7].

Как соотносится рождение собственных детей няни с рождением детей Пушкиных? Вопрос не праздный, ибо кто выкормил поэта грудью? Когда Пушкин родился, Арине был 41 год, через два года она овдовела и больше не рожала. Последний сын Арины, Стефан, родился скорей всего в конце 1797 года, тогда же (20 декабря 1797) родилась старшая сестра Пушкина Ольга, и из деревни в дом Пушкиных взяли Арину, потому что у нее было молоко. Пушкин родился через полтора года, когда она уже выкормила или кончала кормить его сестру. Скорей всего, у Арины молока уже не было, и ее отправили в деревню. Грудью тогда кормили долго. Дочь Арины Марья вспоминала: "Только выкормила Ольгу Сергеевну, а потом к Александру Сергеевичу была взята в няни"[8]. Свидетельство неточное. Для Александра Сергеевича привезли другую кормилицу.

Выражение "няня Пушкина" вбирает в себя, как минимум, двух женщин. По свидетельству сестры Ольги Павлищевой, у поэта имелось две няни. Обе теперь обозначаются как Яковлевы.

Первой нянькой поэта была Улиана (Ульяна) Яковлевна или Яковлева (рождения, возможно, 1767 или 1768 года, может

---

[7] Eugene Onegin. Trans. V. V. Nabokov. Princeton, 1975, v. IV, p. 64.

[8] Н. В. Берг. "Сельцо Захарово". *Москвитянин*, 1851, кн. 3. с. 29-32.

быть, вдова, год смерти неизвестен)[9]. Она кормила его грудью от рождения, или, как сообщает советский источник, чтобы избежать вопроса кормления грудью, Ульяна "первые два года играла бóльшую роль"[10]. Через год и десять месяцев после Пушкина родился его брат Николай (шесть лет спустя умерший), а еще через четыре года брат Лев. Ольга пишет, что "родился Лев Сергеевич, и Арине Родионовне поручено было ходить за ним: так она сделалась общею нянею"[11]. Однако Улиана оставалась с Пушкиным до 1811 года.

После Ольги Арина вынянчила Александра и Льва. но кормилицей была только для Ольги. Набоков вообще называет Арину Родионовну "более точно, старая няня его сестры", а потом "бывшая няня его сестры"[12]. Не одна она, конечно, была няней. Прислуги в доме Пушкиных было много, кормилиц без труда находили в деревне и отсылали обратно, но этой няне доверяли больше других. Мать Пушкина, когда нуждалась в ней, разрешала ей спать не в людской, а в господском доме. Позже прислуживать господам взяли и дочь няни Надежду.

Детям Арины разрешили поселиться в сельце Захарово. В 1811 году Захарово продали. В семье Пушкиных родились и умерли младенцами Софья, Павел, Михаил и Платон. Неизвестно, нянчила ли Арина кого-либо из этих детей. Родители, когда Пушкин попал в лицей, уехали в Варшаву, где Сергей Львович получил должность. Арину отправили в Михайловское.

В замыслах автобиографии Пушкина имеется строка: "Первые впечатления. Юсупов сад, землетрясение, няня". Замысел остался нереализованным, и можно спорить, какую

[9] В двух местах справочника она названа по-разному и с разными годами рождения. Л. А. Черейский. *Пушкин и* его *окружение*. М., 1988, с. 455 и 524.

[10] Ульянский, с.25.

[11] О. С.Павлищева. "Воспоминания о детстве Пушкина". *Пушкин в восп.совр.* М., 1974, т. 1, с. 52.

[12] Nabokov, v. 2, pp. 362, 454. Перевод здесь и далее наш.

няню поэт имел в виду описать во время землетрясения 1802 года. Посмотрим формальное употребление им слова "няня". Согласно "Указателю поэзии Пушкина" Томаса Шоу слово "няня" в разных падежах поэт употребил в стихах 23 раза, из них в "Онегине" 17 раз, остается 6[13]. В "Словаре языка Пушкина", включающем письма и черновики, слово "няня" отмечено 36 раз; из них в "Онегине" 19 и еще 17 слов за всю жизнь поэта. Значение Арины Родионовны в истории русской литературы базируется на нескольких тезисах, и основной из них — сентиментальный: поэт любил няню и ввел ее в свои произведения. Действительно ли она играла важную роль в его жизни?

2. В услуженье барину

Прикинем время их общения. Первое лето в своей жизни Пушкин провел в Михайловском; лишь осенью родители уехали в Петербург. Когда она начала его нянчить, неясно, но "на седьмом году", пишет Бартенев, "няню и бабушку сменили гувернеры и учители"[14]. Вряд ли они виделись, когда Арину в ноябре 1817 года привезли в город нянчить последнего родившегося у Пушкиных ребенка — Платона. С ним отправились в Михайловское, где он вскоре умер. В 17-м и 19-м годах летом Пушкин приезжал в Михайловское отдыхать, и в эти посещения она его видела, "*если* она была там в это время", — Набоков подчеркивает *если*[15]. Ее роль в его жизни относится к михайловской ссылке. Поэт после видел ее в деревне еще пару раз. Сестра Ольга уточняет: он любил ее с детства, а оценил в Михайловском. Потрясающая точность пушкинских характеристик людей (Арине Родионовне 68 лет) не оставляет никаких сомнений, что это было так:

---

[13] Pushkin. *A Concordance to the Poetry* by Thomas Show. Vol. 1, p. 661.

[14] П. И. Бартенев. "Род и детство Пушкина". *О Пушкине*. М., 1992, с. 57.

[15] Nabokov, v. 2, p. 362.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя...

Как заметил Котляревский, "Пушкин подкрашивал воспоминания"[16]. Перечитаем михайловскую переписку поэта, множество раз цитированную в подтверждение дружбы с Ариной Родионовной. Упоминания няни сперва перетекают у Пушкина из жизни в письма, затем в творчество, и трудно разделить жизненные факты и литературные преувеличения. "Знаешь ли мои занятия? — делится он с братом (ноябрь, 1824). — До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки няни и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания".

Тридцать лет спустя Анненков напишет: "Арина Родионовна была посредницей, как известно, в его сношениях с русским сказочным миром, руководительницей его в узнании поверий, обычаев и самых приемов народа..." И еще: "Александр Сергеевич отзывался о няне, как о последнем своем наставнике, и говорил, что этому учителю он обязан исправлением недостатков своего первоначального французского воспитания"[17]. Основополагающее заявление Анненкова. Но сам Пушкин, в отличие от его биографа, нигде не называет няню ни посредницей, ни руководительницей, ни последним наставником, ни учителем. Кстати, слов "проклятое французское воспитание" у Пушкина тоже нет, у него "проклятое свое воспитание". Пушкин противоречит пушкинистам, утверждающим огромную положительную роль Арины Родионовны в формировании ребенка-поэта.

В письме Д. М. Шварцу, чиновнику канцелярии в Одессе, Пушкин пишет (декабрь 1824): "...вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; вы, кажется, раз ее видели, она единственная моя подруга — и с нею только мне не

---

[16] Н. Котляревский. *Пушкин как историческая личность*. Берлин, 1925, с. 167.

[17] П. В. Анненков. *Пушкин. Материалы для* его *биографии*. Спб., 1873, сс. 112-113.

скучно". В письме приятелю Вяземскому (январь 1825) — об этом же: "...валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни". И в "Евгении Онегине":

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

Все эти отзывы о няне — после скандала с отцом, когда родители уехали, и Александр Сергеевич остался один. "Читаю только старой няне", — потому *только* ей, что еще не наладилось постоянное общение с обитателями Тригорского.

Важное письмо к Н. Н. Раевскому-сыну. "Покамест я живу в полном одиночестве: единственная соседка, которую я посещал, уехала в Ригу, и у меня буквально нет другого общества, кроме старушки-няни и моей трагедии; последняя подвигается вперед, и я доволен ею". Выходит, по письму, что ему приходилось коротать время с Ариной Родионовной *покамест,* за отсутствием Осиповой и ее компании. Как бы ни было ему с ней легко и комфортно, она скрашивала его *вынужденное* одиночество.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку...
Я пью один...

Друга нет, пью один. И через несколько строк повторяет: "Я пью один..." Это обращено к лицеистам после года пребывания в Михайловском. О няне больше не пишется. Алексей Вульф вспоминает, что стол Пушкина был завален сочинениями Монтескье и других авторов. Есть много свидетельств очевидцев, что поэт целыми днями и, конечно, вечерами, а то и ночами пропадал в Тригорском. Поставьте себя на место двадцатипятилетнего любвеобильного молодого человека: стали бы вы слушать долго, да еще ежедневно, нянины сказки, когда в трех верстах дом полон жизнерадостного женского смеха и флирта?

"Каждый день, часу в третьем пополудни, Пушкин являлся к нам из своего Михайловского", — пишет М.И.Осипова, дочь

Прасковии Осиповой[18]. Там он крутил романы со всеми по очереди, начиная с хозяйки имения. Выполняя разные поручения барина, няня ходила в Тригорское. "Бывала она у нас в Тригорском часто, и впоследствии у нас же составляла те письма, которые она посылала своему питомцу"[19]. А в Михайловском поэт больше времени проводит один, стреляя в погребе из пистолета, да, как он сам признается, пугая уток на озере чтением своих стихов.

В михайловской ссылке няня — его помощница в практических делах, в быту. Ее доброта и забота о нем и приезжающих делают ее незаменимой. Пушкин был плохим помещиком, его обманывали приказчики, хозяйство влачило жалкое существование. Няня вникала в хозяйственные дела, сообщая барину о том, что творилось в деревне.

Любовь Пушкина к Михайловскому меняется. 1 декабря 1826 года он писал приятелю Зубкову, что выехал "из моей проклятой деревушки". А после ссылки он, вольный, иногда прячется в деревне от "пошлости и глупости" Москвы и Петербурга. Пушкин сообщает Вяземскому: "Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, хамов и моей няни — ей-Богу приятнее шекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву о *умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости*, молитвы, вероятно, сочиненной при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом". Скорей всего, в конце письма шутливое преувеличение о паломничестве священников к няне. Интересно также описание компании, которая встречала поэта: дворня, хамы и няня, которая *уморительна*.

"В числе писем к Пушкину почти от всех знаменитостей русского общества находятся записки от старой няни, которые он берег наравне с первыми". Таков гимн Анненкова. Блиста-

---

[18] М. И. Осипова. "Рассказы о Пушкине, записанные М. И. Семевским". *Пушкин в восп. совр,* М., 1974, т. 1, с. 423.

[19] *Любовный быт пушкинской поры,* М., 1994, т. 1, с. 232.

тельный эвфемизм нашел он: "Мысль и самая форма мысли, видимо, принадлежат Арине Родионовне, хотя она и *позаимствовала руку* (выделено нами, — *Ю. Д.*) для их изложения"[20]. Две такие записки существуют. По-видимому, однако, Арина Родионовна "составляла", как выразилась Мария Осипова, то есть просила написать первое письмо, не в Тригорском, а нашла владевшего грамотой мужика. Письмо няня передала с садовником Архипом, которому было поручено привезти книги Пушкина из Михайловского в Петербург. Второе письмо написала для няни приятельница поэта в Тригорском Анна Николаевна Вульф, которая скучала без озорника и дамского угодника Пушкина не меньше Арины Родионовны. В нем Арина смотрится совсем иначе благодаря интеллигентности ее ghost writer. Она его на Вы, иногда на ты. Он ее, разумеется, на ты, как положено. Тон обоих писем сходный: ее ласка, любовь и забота о барине. По меньшей мере, на одно письмо няни Пушкин ответил.

Последний раз он видел няню в Михайловском 14 сентября 1827 года, за девять месяцев до ее смерти. Нет сведений, что он с ней повидался в Петербурге. Сбоку черновика стихотворения "Волненьем жизни утомленный" под датой 25 июня (1828 года) находим: "Фанни Няня † Elisa e Claudio ня". Фанни — это, по мнению М.А.Цявловского, проститутка, которую он, возможно, в этот день посетил, Elisa — название оперы в Петербургском Большом театре, на которой он побывал, а в середине крестик. Предполагается, что Пушкин узнал о смерти няни, которая незадолго до этого была взята из Михайловского в Петербург в услужение вышедшей замуж Ольге Сергеевне и, согласно одной из версий, простудилась по дороге. На похороны Пушкин не поехал, как, впрочем, и его сестра. Похоронил ее один муж Ольги Н.И.Павлищев, оставив могилу безымянной. Принято считать, что "няня †" означает у Пушкина в рукописи смерть няни[21]. Получается, что между проституткой и театром ему взгрустнулось о няниной смерти.

---

[20] Анненков, 1855, с. 4.

[21] Расшифровка М. А. Цявловского. Тетрадь 2371. *Рукою Пушкина*. М.-Л., 1935, с. 315.

Дата, однако, остается неясной. Более ста лет неизвестно было, на каком кладбище няня похоронена. Ульянский в своей книге "Няня Пушкина" доказал, что она умерла 31 июля 1828 года, о чем есть запись в церкви Иконы Владимирской Божьей матери: "Арина Родионова, 5 кл. чиновника Пушкина служащая женщина. Болезни: старость". Но как совместить это с 25 июня, отмеченным Пушкиным крестиком? Он любил няню, но местом этой любви было Михайловское; в Петербурге она была ему не нужна. Могила няни сразу затерялась. Только в конце тридцатых годов нашего века нашли регистрацию ее похорон.

3. Прототип и друзья поэта

Няня стала литературной моделью и обретает вторую жизнь в воображении и текстах Пушкина. Помимо прочего, это хороший стиль того времени и пушкинского круга — человеческое отношение к простому люду, по любимому слову поэта, к черни. Принято писать, что няня является прототипом ряда его героинь. Это Филипьевна, няня Татьяны Лариной, которую в черновиках он называет, кроме того, Фадеевной и Филатьевной. Затем — мамка Ксения в "Борисе Годунове" и — няня Дубровского Орина Егоровна (Пахомовна), которая даже писала письмо, похожее на те, что диктовала Арина[22]. Тот же тип — в княгининой мамке ("Русалка") и, пожалуй еще, в карлице Ласточке ("Арап Петра Великого"). Везде второстепенные, похожие друг на друга персонажи.

Еще Набоков искал корни прототипов няни у Пушкина. "Старушка-няня, рассказывающая сказки, — конечно же, древняя тематическая модель. В "Тоске" (1809) у Марии Эджуорт она — ирландка и ее сказки об ирландской Черной Бороде и привидении короля О'Донахью"[23]. Факты жизни

---

[22] Подробнее: Н. О. Лернер. "Арина Родионовна и няня Дубровского". *Пушкин и его совр.* Вып.VII, Спб., 1908. сс. 68-72.

самой Арины Родионовны как прототипа героини почти не использовались Пушкиным. Например, няня вышла замуж двадцати двух лет, а Филипьевна в "Онегине" тринадцати, и ее история интересней. Значит, Пушкин использовал информацию, полученную вне общения с няней. Обращаем на это внимание, ибо литературные персонажи поэта стали впоследствии обогащать легендарный образ Арины Родионовны. Неоконченный черновик широко известного стихотворения "Подруга дней моих суровых..." не имел названия. Заглавие "Няне", поставленное при первой публикации тем же Анненковым, указывалось сначала в скобках, а затем скобки стали отбрасываться, как, впрочем, и половина недописанной строки: "То чудится тебе..." Анненков опубликовал это в 1855 году, сразу связав художественный образ напрямую с Ариной.

Реальная жизнь, трагедия существования рабы Арины Родионовны, хотя она, возможно, была своей жизнью вполне довольна, почти не нашла отражения у Пушкина. Это была серьезная, не романтическая тема, потому что и "молодость, и любовь были взяты у нее чужими людьми, без спроса у ней"[24]. У Пушкина "и типы, и картины из жизни простонародья почти что отсутствуют", — пишет Котляревский. И дальше: "Добрая подружка бедной его юности, эта "дряхлая голубка" — промелькнула в его стихах как какое-то видение из, в сущности, чужого ему мира"[25]. Она осталась в его произведениях романтизированным счастливым персонажем без личной жизни и вне социального контекста, столь важного для русской литературы.

Отношение к няне Пушкина нескольких его друзей также связано с михайловским одиночеством поэта. Друзья знали о ней, в основном, из его стихов, подражали ему, их забота о ней преувеличивается. Дельвиг писал отбывшему из Михайлов-

---

[23] Nabokov, v. 2, p. 274.

[24] Н. Ф. Сумцов. *Сборник в память Пушкина*. Харьков, 1900, с. 115.

[25] Котляревский, с. 168.

ского Пушкину: "Душа моя, меня пугает положение твоей няни. Как она перенесла совсем неожиданную разлуку с тобою". Невозможно не отметить потерю чувства меры: все-таки служанка — не мать, не жена, не возлюбленная. Пущин, однако, в досаде вспоминает, что во время его визита в Михайловское Арина раньше времени закрыла задвижки в печах, и оба приятеля чуть не угорели. В 1827 году П. А. Осипова, прислав Пушкину письмо, вложила в него стихи, которые Языков прислал Вульфу. Они посвящены няне:

Васильевна, мой свет, забуду ль я тебя?..
Ты, благодатная хозяйка сени той,
Где Пушкин не сражен суровою судьбой...
Всегда приветами сердечной доброты
Встречала ты меня, мне здравствовала ты...

Понятно, что любовь Языкова к няне есть производное от его дружбы с Пушкиным. Он назвал ее Васильевной, а она Родионовна. Языкову подсказали, и строку он исправил: "Свет Родионовна, забуду ли тебя?" Но имя было не столь важно: она — "няня вообще", романтизированная героиня из народа. Родные Пушкина, которым она служила верой и правдой всю жизнь, были сдержанней в выражении чувств или благодарностей своей служанке. А. П. Керн, которая по известным причинам бывала в Михайловском в 25-м году, оставила в своих воспоминаниях о Пушкине следующую строку: "Я думаю, он никого истинно не любил, кроме няни своей и потом сестры"[26]. Керн писала это спустя более чем четверть века, и, говоря, что Пушкин никого не любил, она приравнивала свою мимолетную с ним связь к его серьезным увлечениям, включая жену. Нам же представляется, что Пушкин всех, кого любил, любил истинно.

---

[26] А. П. Керн. *Воспоминания. Дневники. Переписка.* М., 1989, с. 95.

4. "Обобщенная няня"

Один из законов идеализации, как известно, — очистка образа от мешающей информации, его обобщение, упрощение и затем романтизация. Поэтому из двух нянь была оставлена одна, а разные литературные персонажи (типичные для семьи того времени)— обрели одного прототипа. "Тип собирательной *моей няни",* — говорит Набоков. А в другом месте, — "Обобщенная няня"[27]. Всей дворни, обслуживающей молодого барина в Михайловском, было, включая "вдову Ирину Родионовну", как она значится в списках крепостных, 29 человек. И все "народное", что Пушкин вбирал в себя в ссылке (если он хоть как-то общался с простым народом) стало приписываться "собирательной" Арине Родионовне.

В биографиях Пушкина няня затмевает собой еще одного слугу, преданного Пушкину не менее, а может, и более няни — мужа ее дочери Никиту Козлова, которой сперва был ламповщиком у отца поэта. Козлову не повезло. Никита выручал Пушкина в весьма серьезных и рискованных ситуациях, он спасал его от обыска, он на руках принес раненого поэта в дом, он вместе с А. И. Тургеневым опустил гроб с телом Пушкина в могилу. "Дай, Никита, мне одеться: в митрополии звонят". Если не считать этих двух случайных строк, верный Козлов проходит в сочинениях поэта неприметным.

Надежда Пушкина в письме к Керн сообщала: "Александр изредка пишет два-три слова своей сестре, он сейчас в Михайловском, подле своей "доброй нянюшки", как вы мило ее называете[28]. Есть свидетельство, что он звал няню мамой, а она ему говорила: "Батюшка, ты за что меня все мамой зовешь, какая я тебе мать"[29]. Но дело в том, что мать он звал на французский манер maman, а "мама, мамка или мамушка", как он

---

[27] Nabokov, v.2, pp.452, 454.

[28] Керн, с. 285.

[29] П. Парфенов. *Рассказы о Пушкине, записанные К. А. Тимофеевым.*

звал няню, вполне принятое, по Далю, выражение "кормилица, женщина, кормящая грудью не свое дитя; старшая няня, род надзирательницы при малых детях". Позже тенденция биографов Пушкина подменить мать няней стала более категорической: "Вспомним Арину Родионовну — няню, бывшую для Пушкина ближе матери"[30].

Идеализацию всегда сопровождает плохая альтернатива. Если кого-то идеализируют, то кого-то другого нужно предавать анафеме. Это особенно отчетливо проявлялось в советской традиции. Классовый подход: аристократка-мать и представитель народа — няня. В процессе идеализации няня становится все лучше, а мать все хуже, няня упоминается все чаще, а мать все реже. Няня стала в литературе сублимированной матерью поэта.

Сохранилось ничтожное количество писем Пушкина к членам семьи, да он их почти и не писал. И персонально матери — ни одного письма. Однако, когда мать умерла, Пушкин поехал хоронить ее и купил себе место рядом с ней. А поскольку мать соотносится с родиной, которую надо любить, то в официальной пушкинистике няня из народа наделяется функциями родительницы, становится суррогатом матери для поэта. Впрочем, это можно найти и у самого Пушкина: по воле автора Татьяна вспоминает не могилу матери, а могилу няни, — факт, на который обратила внимание Анна Ахматова.

Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей.

Следующей тенденцией пушкинистики была ликвидация роли аристократок-бабушек поэта, включение черт бабушек в образ няни. Заметим, что речь всегда идет об одной бабушке — Марии Ганнибал, а между тем, Пушкину было два с половиной года, когда умерла другая его бабушка, мать отца, Ольга Васильевна Чичерина. Ее сестра Варвара любила Пушкина и дала ему целых сто рублей на орехи, когда мальчик отправился

---

[30] Е. В. Павлова. *Пушкин в портретах.* М., 1983, с. 26.

поступать в Лицей. О них в биографиях поэта почти не говорится. Бабушка Мария Алексеевна не раз служила материалом для укрупнения идеальной няни. Например, стихотворение "Сон" (Отрывок, начинающийся словами "Пускай поэт с кадильницей наемной"), по-видимому, часть несостоявшейся поэмы, начатой в 1816 году, содержит известные строки:

Ах, умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушки чепец
И длинный рот, где зуба два стучало, —
Все в душу страх невольный поселяло.

Традиционно, от Бартенева, считалось, что этот отрывок описывает няню. Трактовка Б. В. Томашевского в академическом десятитомнике Пушкина: "Здесь Пушкин описывает или свою бабушку М. А. Ганнибал, или няню Арину Родионовну"[31]. Однако строка "Драгой антик, прабабушки чепец" дает возможность уточнить: в стихотворении Пушкин соединяет их обеих вместе (одна — мамушка, на другой — драгоценности). Постепенно осуществляется еше одно обобщение: оказывается, Музой поэта и была не кто-нибудь, а его няня. Так, еще М.В.Шевляков писал: "Пушкин олицетворял себе музу в облике своей доброй няни"[32]. Утверждение это опирается на следующие строки поэта:

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила

---

[31] Б. В. Томашевский. Комментарии. *Пушкин*. ПСС, Л., 1977, т. 1, с. 443.

[32] М. В. Шевляков. *Пушкин в анекдотах*. Спб., 1899, сс. 6-7.

И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.

Стихотворение, о котором много написано, традиционно относят к 1822 году (Кишинев) и долгое время также считали посвященным Арине Родионовне — "веселой старушке", сидевшей перед поэтом в шушуне. Однако конец стихотворения подчас опускался при цитировании:

Прелестницы глава благоухала;
Грудь белая под желтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала...

Полувоздушный стан, локоны, благоухание (то есть дорогие французские духи или лосьоны — не французских тогда не было), декольте (мальчик запомнил на годы, как смотрел на полуоткрытую грудь), наконец, очки и жемчуг, грудь украшающий, — могла ли то быть крепостная служанка? Это Мария Алексеевна Ганнибал, аристократка-бабушка, сыгравшая в воспитании и образовании маленького внука Александра огромную роль. Она была в разводе (тогда говорили "в разъезде") с мужем Осипом Ганнибалом, и, естественно, интересы жизни ее сосредоточились на любимых внуках.

5. Нянины сказки и сказки о няне

Пушкин несомненно любил няню, а пушкинистика полюбила няню еще больше Пушкина. Прославление "народной няни" не есть заслуга одной советской пушкинской школы. Возвеличивать няню стали первые пушкинисты, высказывая мысли, созвучные официальной национальной идеологии. По Бартеневу, "Арина Родионовна мастерски рассказывала сказки, сыпала пословицами, поговорками, знала народные поверия и бесспорно имела большое влияние на своего питомца, неистребленное потом ни иностранцами-гувернерами, ни воспитанием в Царскосельском лицее"[33]. Вдумайтесь: иностранцы и

[33] Бартенев. с. 57.

лицей пытались истребить в Пушкине все наше, русское, хорошее, а няня его спасла. Однако, если говорить серьезно, невозможно выяснить, каков реальный вклад няни в воспитание поэта. Современники отмечают, что она была словоохотлива, болтлива. Анненков писал: "Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодежи с притворной строгостью оставили в Пушкине неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственною, неизменною любовью и в годы возмужалости и славы беседовал с нею по целым часам". Здравый смысл в оценке Арины Родионовны Анненковым теряется в гиперболах типа: "Весь сказочный русский мир ей был известен как нельзя короче и передавала она его чрезвычайно оригинально"[34].

Известно, что с ее слов Пушкин записал семь сказок, десять песен и несколько народных выражений, хотя слышал от нее, конечно, больше. Однако не ясно, записывал ли Пушкин сюжеты песен о Стеньке Разине со слов няни или брал их из сборника Чулкова, который читал. На это обратил внимание Лотман[35]. Спор, откуда Пушкин заимствовал сюжеты некоторых сказок — у Арины Родионовны или у братьев Гримм — продолжается. Но политическая победа при советской власти определенно оказалась не на стороне братьев Гримм.

Тот же Анненков ввел в традицию внеисторические преувеличения вроде: "Знаменитая Арина Родионовна". Он пошел еще дальше: "Родионовна принадлежала к типичнейшим и благороднейшим лицам русского мира". И оказывается, Пушкин "посвящал почтенную старушку во все тайны своего гения". Заслуга гения определена так: он поэт, "прославивший ее имя на Руси"[36]. Славянофилы поднимали Арину Родионовну, которая помогала им приближать поэта к своему лагерю. И. С. Аксаков говорил в 1880 году на Пушкинском

---

[34] Анненков, 1855, с. 4.

[35] Ю. М. Лотман. *Евгений Онегин*. Комментарий. Л., 1983, с. 384.

[36] Анненков, 1855, сс. 3, 4; Анненков, 1873, с. 112.

празднике: "Так вот кто первая вдохновительница, первая Муза этого великого художника и первого истинно русского поэта, это простая русская деревенская баба... Точно припав к груди матери земли жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа". Это сказано, когда Фрейд еще не опубликовал ни строки. В любви к ней в XIX веке олицетворились ростки народничества, вина и беда русской интеллигенции.

После октябрьского переворота миф о няне был использован для политической коррекции образа Пушкина как народного поэта. Неопровержимо, что из всех лиц холопского звания няня была поэту наиболее близка. Мифологии же свойственно неумеренное расширение сферы влияния. "Значение Арины Родионовны для Пушкина исключительно велико и общеизвестно, но полностью еще не охвачено, не подытожено..." — писал в академической монографии "Няня Пушкина" Ульянский. Он назвал ее "достойной представительницей нашего народа" — типичная формулировка советского времени. Б. Мейлах писал о Михайловском: "Здесь происходит тесное знакомство и сближение поэта с народом"[37]. Пушкин один раз надел крестьянскую рубаху и поехал на ярмарку, как писал еще Семевский[38]. Факт этот представляется теперь в качестве постоянного метода сближения поэта с народом. Тот же Мейлах далее заменяет "знакомство и сближение" на "непосредственное общение", заодно расширяя и территорию: мы узнаем, что у поэта, сидевшего в ссылке в Михайловском, "происходило непосредственное общение с крестьянами Псковщины"[39].

С годами в советской пушкинистике роль няни возрастает. Она поселяется во всех биографиях Пушкина, получает прописку в учебниках по русской литературе — с начальной школы до высшей. Няня становится одним из опорных пунктов

---

[37] Б. С. Мейлах. *Пушкин. Очерк жизни и творчества.* М.-Л., 1949, с. 57.

[38] *Любовный быт..,* сс. 203-204.

[39] Б. С. Мейлах. *Жизнь Александра Пушкина.* Л., 1974, с.198.

идеологической корректировки самого Пушкина. В передовой "Правды" 1937 года следом за постулатом о друзьях Пушкина декабристах, что делало его самого революционным поэтом, няня из народа противопоставляется аристократическим родителям и, таким образом, сближает нашего поэта с народом. Оказывается, благодаря няне Пушкин делается близким и понятным нам, простым советским людям[40]. Через год после столетия со дня смерти Пушкина торжественно праздновались еще два юбилея: 180 лет со дня рождения Арины Родионовны и 110 лет со дня ее смерти.

Няня — пример для других, она — "замечательный образец душевной красоты, мудрости и духовных свойств нашего народа". Наконец, теперь она сама стала гением: Арина Родионовна — "добрый гений поэта". Когда Сталина назвали "вдохновителем советского народа", няня стала "вдохновителем и источником некоторых творческих замыслов поэта"[41]. В советской официальной мифологии Арина Родионовна прославлялась в одной шеренге с другими народными героями, вроде Алексея Стаханова, Джамбула Джабаева, Паши Ангелиной и т. п. Ансамбль песни и пляски Советской Армии пел могучими голосами, устрашающими врагов: "Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна".

Миф набирает обороты, приобретая пародийные краски. В десятках исследований происходит обожествление этой женщины. Ведь вполне говорится серьезно, что "под влиянием няни он уже в детстве полюбил русский язык и русский народ"[42]. "Няня, скучая о "любезном друге", как она называла Пушкина, часто ездила на ближайшую почтовую станцию в надежде услышать о нем от проезжих из Петербурга"[43].

---

[40] "Слава русского народа", *Правда*, 10 февраля 1937.

[41] Ульянский, с. 5.

[42] Н. В. Каликина. *Основное в творческом и моральном облике Пушкина.* Вашингтон, 1975, с. 12.

[43] Грановская, с. 59.

Чувство меры терялось: "Через нее идут первоначальное знакомство поэта с народом, народным творчеством и освоение русского народного языка"[44]. И даже: "Если Пушкин, как решился он сказать однажды, подрастал в детстве, "не зная горестей и бед", то этим он обязан своей няне Арине..." В культе она обретает идеальные черты героини: "няня была для поэта олицетворением народной души, "представителем" народа, как сказали бы теперь"[45]. Она выступает как наставник, носитель высшей мудрости, учитель поэта, его гуру. Растет литературный талант няни. Она — "талантливая сказочница, впитавшая в себя всю премудрость народной поэзии". Пушкин пишет, а растет слава няни: "со второй половины 1820-х годов имя и самой Арины Родионовны становится известным... Но широкую популярность имя ее приобретает после того, как выходит в свет в 1827 году третья глава "Евгения Онегина"[46]. Сие особенно интересно читать, поскольку Пушкин, как известно, вскоре начнет терять популярность, а вот, оказывается, популярной вместо него становится няня.

Эта, так сказать, синтезированная народная мудрость вводится в литературоведение не случайно. Пушкинистика становится родом агиографии, каковой она пребывает и сегодня. Темы "Пушкин и народ", "Пушкин и Родина", его патриотизм объявляются фундаментальными в литературоведении, а няня — основополагающим элементом построения таких моделей. И тут имя Родионовна оказывается весьма кстати. Разумеется, этимология с этим ничего общего не имеет, ибо "Родион" происходит предположительно от греч. rodon — "роза". Но подсознательно сходное звучание одного слова накладывалось на другое: Родионовна — род — народ — родина. "Образно выражаясь, земля кормит крестьянина, будто мать кормит младенца. Земля в какой-то степени контролирует своих

---

[44] Ульянский, с. 5.

[45] Обе цитаты из: В.В.Кунин. "Яковлева". *Друзья поэта*, М., 1984, т. 1, с. 114.

[46] Грановская, сс. 60, 62.

обитателей, почти как мать свое дитя"[47]. В этом построении именно няня — правильная фигура, необходимая для формирования национального поэта № 1, без которой он не полон.

Рассуждения о народности творчества стали неотъемлемой частью науки о Пушкине. Пригодились и некоторые соображения славянофилов. В советское понимание народности вкладывалось: 1) происхождение писателя, 2) фольклорные основы его творчества и 3) выражение им интересов народных масс. С первым у Пушкина было плохо — аристократ; второе, как ни подтасовывай, далеко не укладывалось в фольклор (скажем, "Пиковую даму" из русского фольклора не произведешь), а третье было выдумкой, словесной мишурой, нужной идеологам. Тогда же появилась писательская шутка: изнародование литературы.

Арина Родионовна помогла Пушкину спастись в революцию, защитила своим простым крестьянским происхождением его, дворянина, классового врага. Она же помогала поэту соответствовать всем трем пунктам: его происхождение корректировалось близостью к простому народу, она повела его творчество в правильном направлении, дав ему фольклор, то есть народную основу. И, назвав няню близкой ему по духу, делали вывод: он выражал ее интересы, которые символизировали интересы русского народа. Посланец народа, няня становится символом России, сыном которой является поэт № 1.

Между тем, голоса западных пушкинистов давно звучали скептически. Набоков писал: "Она грандиозная фаворитка народолюбцев-пушкинистов. Воздействие ее сказок на Пушкина преувеличивается с невероятным энтузиазмом. Сомнительно, что Пушкин когда-либо читал ей "Евгения Онегина", как утверждают некоторые комментаторы и иллюстраторы"[48]. Советские критики, которым должно преувеличивать обязательные симпатии Пушкина к "широким массам", — пишут

---

[47] Интересный анализ этого явления в книге: D. Rancour-Laferriere. *The Slave Soul of Russia. Moral Masochism and the Cult of Suffering.* N. Y., 1995, p.242.

[48] Nabokov, v. 2, p. 452.

Ричардс и Кокрелл, — естественно, придали особую важность Арине Родионовне и ее роли в становлении поэта, иногда до такой степени, что она выглядит держащей на своих хилых плечах чуть ли не весь пушкинский патриотизм"[49]. Еще жестче роль няни сформулировал Джон Бейли: "Представитель народа, канонизированный в житии святого Пушкина"[50].

Читая советские работы, думаешь, что подобный подход есть оглупление Пушкина и сущности литературного процесса вообще. Один из самых умных людей в истории России, который с детства начал постигать сокровища мировой литературы, учился в лучшем учебном заведении империи и всю жизнь близко общался с выдающимися писателями, философами, политиками, — этот гениальный интеллигент знакомился с языком, фольклором и вообще с народом посредством старушки, которая не могла запомнить двух букв, чтобы написать слово "няня".

Известно, что у Пушкина "био" автора и лирическое "я" героев часто близки, почти слиты. Но это все же не одно и то же. Его литературный миф об идеальной няне, как и во многих других случаях (Мадонна Наталья Николаевна, благородные уголовники Пугачев и Дубровский, царь — кумир на бронзовом коне), задал тон. За поэтом продолжили дело первые пушкинисты. Романтизированная няня вошла в литературу, а затем литературная героиня вернулась в жизнь, постепенно потеснила в биографии поэта других нянь, бабушку, мать поэта, всех его крепостных, и представляет теперь в пушкинистике едва ли не весь русский народ.

Как Пушкин, по Аполлону Григорьеву, "это наше всё", так няня в биографиях поэта стала для Пушкина *всё*. Зимой, сообщает пушкинист, няня заменяла даже печку: "В Михайловском доме морозным зимним вечером... его согревает лишь любовь няни"[51]. Хотя советской власти уже нет, правильная с

---

[49] D. J. Richards, C. R. S. Cocrell. "Introduction." In: *Russian Views of Pushkin*. Oxford, 1976, p. xi.

[50] Bayley, p. 50.

[51] Е. В. Павлова. *Пушкин в портретах*. М., 1983, с. 98.

точки зрения официальной мифологии няня заполняет не только массовую литературу о Пушкине, но и, за редким исключением, исследования. Круг замкнулся: литературный образ стал биографическим, великая няня — важной частью мифологизации великого народного поэта — национальной святыни. В доказательство влияния, роли, важности няни приводится стихотворение "Вновь я посетил" (1835):

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.

За этими строками следует продолжение, которое служит наиболее важным аргументом защитников няни:

Не буду вечером под шумом бури
Внимать ее рассказам, затверженным
Сыздетства мной — но все приятным сердцу,
Как песни давние или страницы
Любимой старой книги, в коих знаем
Какое слово где стоит.
Бывало
Ее простые речи и советы,
И полные любови укоризны
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой...

"Какие еще нужны доказательства и характеристика той роли, которую сыграла неграмотная Арина Родионовна в жизни великого поэта? — эмоционально вопрошает литературовед. — И не дал ли сам Пушкин ответ тем мемуаристам, которые говорили о преувеличениях?"[52] Пушкин действительно дал ответ пушкинистам: он сам вычеркнул эти строки. Поэтические свидетельства используются в качестве доку-

[52] В. В. Кунин, с. 120.

ментальных, а в них няня — образ. Он-то и выполняет историческую роль. Проще говоря, няня рассказывала Пушкину сказки, а его биографы стали сочинять сказки о няне. Народ безмолвствовал.

6. Наглядная мифология

17 февраля 1918 года разоряют и сжигают Тригорское, 19 февраля грабят и затем поджигают Михайловское, или, как написано в советском путеводителе, "После Великой октябрьской социалистической революции в пушкинские места пришел настоящий, заботливый хозяин — народ"[53]. Фашистами имение было разрушено еще раз. Дизайн помещений, в которых якобы жила Арина Родионовна, планировался и восстанавливался лучшими архитекторами. Флигель был переименован в "Домик няни". На том месте, где когда-то стояла "ветхая лачужка", создана творческая мастерская Великой Хранительницы русского народного духа, фольклора, языка, музы поэта и создательницы его гения. В перестроенном под музей барском доме девичью переименовали в "Комнату няни". На стенах, как говорится в путеводителе, — "литературная экспозиция, рассказывающая о дружбе Арины Родионовны с Пушкиным". Порядок имен изменился: теперь няня стала дружить с поэтом.

Избу в Кобрине, как утверждали некоторые источники, нашли подлинную, бревна XVIII века. Говорилось, что тут жили дальние потомки няни, и не говорилось, что они бросили дом, сумев перебраться в Ленинград. На стенах появились "изображения" няни, сделанные художниками. В магнитофонной записи зазвучал голос сказочницы, который "мог напоминать" голос няни. Разумеется, вся обстановка "подлинного дома няни" — чистая декорация: что и как могло и должно было бы быть, эдакий, мы бы сказали, музей наглядной мифологии. Случайно услышали, как дети, войдя в музей, спросили пожилую экскурсоводшу: "Это вы — Арина Родионовна?" В последнее время и подлинность самой избы

---

[53] В. С. Бозырев. *По пушкинскому заповеднику.* М., 1977, с. 9.

няни ставится под сомнение. Часть этой показухи — "Избачитальня имени Арины Родионовны". Интересная мысль: читальня имени того, кто ничего не читал, потому что читать не умел. Памятники няне сотворены в Кобрине и даже в Пскове, где Арина Родионовна, кажется, вовсе не была. В соседнем с Кобрином музее, дворянской усадьбе Суйда, вотчине Ганнибалов, на мемориальной доске няня причислена к родным Пушкина отцу, матери и сестре.

Понятно, что серьезным изъяном, снижающим роль незаменимой наставницы Пушкина, оставалась иконография, точнее, отсутствие таковой. Портретов няни не было, но хотелось, чтобы были. В музее Пушкина в Петербурге портрет неизвестной женщины неизвестного художника со значительной степенью вероятности выдается за портрет Арины Родионовны. Горельеф женщины из моржовой кости (который кто-то подарил Горькому, а последний отдал его в музей) тоже вряд ли имеет отношение к реальной няне.

Описаний внешности, если не считать осиповского "старушка чрезвычайно почтенная — лицом полная, вся седая", нет. Если няня была так близка Пушкину, то почему он не изобразил ее профиль, — он, который рисовал в рукописях даже и не очень близких людей? Существует женский профиль, набросанный Пушкиным и многократно обсуждавшийся. Рисунок находится в рукописи рядом со стихотворением "Предчувствие" и наброском "Волненьем жизни утомленный". Может быть, говорится об этом изображении, "Пушкин в рисунках оплакивал няню"[54]. А может быть, и нет, добавим мы. Иллюстрации к биографии и произведениям Пушкина, изображающие "дряхлую голубку" похожей на королеву, имеются в изобилии, но они — только фантазии художников, не более того.

7. Помехи в идеализации

Начиная с тридцатых годов нашего века, централизованно заматчиватись иные взгляды на Арину Родионовну, а ведь кри-

---

[54] В. В. Кунин, с. 119.

тические голоса раздавались и на заре пушкинистики. Л. Н. Павлищев, племянник Пушкина, в своих "Воспоминаниях", какими бы путаными их не считали, заявил, что биографы и друзья поэта непомерно раздули роль неграмотной крестьянки в формировании детских впечатлений Пушкина. Некоторые из биографов поэта, кто неумеренно восхвалял ее, по прошествии времени начинали перечить самим себе. Анненков после дифирамбов вдруг одергивает себя, комментируя рассказы няни: "Они поражают вообще хитростью и запутанностью содержания, которые иногда трудно и разобрать". Или: "Выходит так, как будто добрая и ограниченная старушка Арина Родионовна играла нечто вроде роли бессознательного мистического деятеля в жизни своего питомца". И дальше: "не ее слабая и немощная рука указала поэту ту дорогу, на которой он очутился"[55]. В. Н. Майков писал: "Будем же беспристрастны и не станем преувеличивать влияния Арины Родионовны на Пушкина..."[56]

Вряд ли няня понимала, что именно пишет барин, и неумеренные хвалы выглядят пародийно. Ульянский пишет: "Пушкин часто читал ей свои произведения и интересовался ее суждением. К сожалению, до нас не дошли ее отзывы о произведениях поэта"[57]. Впрочем, эта мысль просто заимствована у Анненкова: "К несчастью, мы ничего не знаем, что думала няня о стихотворных забавах своего питомца"[58]. Тогда в чем же ее гениальность? Впрочем, умение слушать, тоже талант, свойственный, правда, в еще большей степени, чем людям, собакам и кошкам. Лицеист Пушкин помянул в шутливых стихах женщину, которую иногда в литературе называют Ариной Родионовной:

Оставя книг ученье,
В досужный мне часок

---

[55] Анненков, 1855, с. 122.

[56] В. Н. Майков. "Сказка о рыбаке и рыбке" и ее истоки. Спб., 1892, с. 3-5.

[57] Ульянский, с. 43.

[58] Анненков, 1873, с. 112.

У добренькой старушки
Душистый пью чаек.

Разумеется, это не она, ибо дальше говорится, что он целует у нее ручку, а она читает газеты, выуживая оттуда сплетни. А главное, вовсе не чаек любила пить няня. Многие знакомые Пушкина, вспоминая ее, подчеркивают страсть Арины Родионовны к выпивке. Воспоминания Пущина: "Незаметно полетела в потолок и вторая пробка; попотчевали искрометным няню..."[59] "Послание к няне" Языкова посвящено загулу:

Ты набирала нам затейливый обед!
Сама и водку нам, и брашно подавала,
И соты, и плоды, и вина уставляла...

Стихи Языкова "На смерть няни А. С. Пушкина" — тоже не печаль об ушедшем человеке, а воспоминание о трех гуляющих приятелях (Вульфе, Пушкине и себе):

Садись-ка, добрая старушка,
И с нами бражничать давай! (1830)

Добрая старушка только что умерла, а поэт приглашает ее в собутыльники. К концу Языков отмечает, что няня "как вино, красноречива". Вдохновленный ее горячительными наливками, Языков написал о няне Пушкина больше строк, чем сам Пушкин. "Это была старушка чрезвычайно почтенная, — придется повторить цитату из воспоминаний М.И.Осиповой, — лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца..." Следующая далее часть фразы в ряде изданий вырезана: "...но с одним грешком — любила выпить"[60]. Советский биограф объясняет склонность няни к алкоголизму в марксистско-ленинском духе: "Этот грех являлся отзвуком исконной

---

[59] И. И. Пущин. Записки о Пушкине. *Пушкин в восп. совр.* М., 1974, с. 109.

[60] М. И. Осипова. Рассказы о Пушкине, записанные М. И. Семевским. *Пушкин в восп.совр.* М., 1974, т. 1, с. 426. Пример урезанного текста см.: Н. И. Грановская. 1989, с. 57.

черты всего села Суйды и тяжелых условий рабской жизни"[61].

Проблему эту мы обсуждали с коллегой-фрейдистом, и его взгляд, возможно, тоже уместно привести. Согласно психоаналитической концепции, oral gratification — оральное наслаждение — идет у поэта не от матери, а от мамушки, то есть теоретической кормилицы, которая, за отсутствием настоящей кормилицы, остается для него во взрослые годы синтезированным образом в лице Арины Родионовны. Разница в том, что мастерица делать настойки потчует его теперь не молоком и не чайком, а самогоном. Почти классический вариант эдипова комплекса, в котором, однако, мать подменена мамкой, а сын получает наслаждение не прямо, а косвенно, соответственно платя за это любовью не матери, а няне.

Во время андроповско-горбачевской кампании борьбы с алкоголизмом вырубались не только виноградники в стране. Поступило указание пересмотреть классиков в учебниках для средней школы и вуза с точки зрения борьбы с алкоголизмом. Вслед за виноградниками стали вырубать и строки стихов. Из Министерства просвещения поступили указания редакторам учебников "Родная речь" и хрестоматий. У Пушкина было изъято:

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя, где же кружка,
Сердцу будет веселей[62].

Другой аспект деятельности Арины Родионовны также замалчивается, хотя он был важен для Пушкина. Когда поэт подсчитал, что Н.Н.Гончарова его 113-я любовь, крепостные девушки и прочие случайные связи в список вошли не все. Разумеется, не следует смотреть на это современными глазами. Например, приятель Пушкина Вульф практически открыто держал гарем, а Соболевский хвастался, что у него было 500 женщин. Пущин, посетивший михайловского от-

---

[61] Ульянский, с. 53.

[62] В. Д. Свирский, автор учебников по русской литературе. Личное сообщение, Рига, 1985.

шельника 11 января 1825 года, вспоминает: "Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая однако Пушкину моих заключений... Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понятно без всяких слов... Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках"[63].

Девушек этих, когда они беременели, спроваживали от барина подальше, а сам поэт просто объяснил: "У меня детей нет, а все выблядки"[64]. П. Е. Щеголев восклицает: "Ох, эта Арина Родионовна! Сквозь обволакивающий ее образ идеалистический туман видятся иные черты. Верноподданная не за страх, а за совесть своим господам, крепостная раба, мирволящая, потакающая барским прихотям, в закон себе поставившая их удовлетворение! Ни в чем не могла она отказать своему неуимчивому питомцу". Комплекс Дон-Жуана, эротомания, кратко говоря, обычно объясняется фрейдистами тем, что Дон-Жуан не удовлетворен матерью и не может ее найти. Интерес Пушкина с молодости к женщинам намного старше себя (Карамзина, Голицына, Осипова, Собаньская, Хитрово и др.) при таком взгляде соотносится с его сыновней любовью к Арине Родионовне. А она опосредствованно выполняет прихоти своего барина.

Будем справедливы: некоторые пушкинисты даже в трудные советские годы придерживались умеренности. Но в целом сегодня миф об Арине Родионовне существенен для многих, он — часть воспитания человека в российской культуре и в определенном духе. Не разрушать, а понять его было нашей задачей. И все же возникает простой, как глоток воды, вопрос, который автор обращает к самому себе, но он может

[63] И. И. Пущин. "Записки о Пушкине". *Пушкин в восп. совр.* М., 1974, т. 1, с. 109.

[64] *Русский библиофил*, 1911, № 5, с. 34. Подробнее о крепостных возлюбленных поэта и няне в качестве сводни см., например, комментарии Б. Л. Модзалевского к: *Пушкин. Письма*, М.-Л., 1928, т. II, с. 153.

вызвать негодование поклонников няни: нужно ли тратить быстротечное время, чтобы столь подробно ее рассматривать? Мне кажется, если няня не играла такой важной роли в жизни поэта, писать о ней в его биографиях лучше короче и в скромных тонах.

"РУССКАЯ_ МЫСЛЬ"
Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе.
Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти.
Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré. 75008 Paris

ПОДПИСКА НА "РУССКУЮ МЫСЛЬ"

(В указанные цены входят почтовые расходы)

	6 мес.	1 год
Обычной почтой:		
Франция:	280 F (56 $)	450 F (90 $)
Другие страны:	450 F (90 $)	700 F (140 $)
Авиапочтой:		
Европа и Сев. Африка:	500 F (100 $)	800 F (160 $)
Израиль, Иран:	580 F (116 $)	850 F (170 $)
Америка, Южная Африка:	620 F (124 $)	950 F (190 $)
Австралия, Япония:	720 F (144 $)	1000 F (200 $)

Е. Н. Чернолуцкая

"ФЕНИКС" ВОССТАЕТ ИЗ ЗАБВЕНИЯ

(*Страницы жизни и творчества российского эмигранта С. Г. Шахматова*)

Герой моего очерка — Самсон Григорьевич Шахматов — был одним из организаторов и редактором издававшегося в 1935-1936 гг. в Шанхае эмигрантского журнала "Феникс". С материалами о нем я столкнулась почти случайно, знакомясь в архиве Управления бывшего тогда Министерства безопасности России по Приморскому краю с "Архивно-следственным делом по обвинению С. Г. Шахматова", которое было заведено в 1949 г. в г. Дальнем (Китай) контрразведкой МГБ СССР [1].

К сожалению, в приложенных к делу литературных материалах, изъятых у С. Г. Шахматова при аресте, ни одного экземпляра самого журнала "Феникс" не оказалось. Нет их и в Государственном архиве Хабаровского края, располагающим фондами документов дальневосточной российской эмиграции. И мне не удалось выяснить до сих пор, сохранился ли данный литературный источник в каких-либо архивных коллекциях или библиотеках. Таким образом, делая сообщение о журнале, приходится оперировать лишь вторичными сведениями о нем.

И тем не менее ввиду почти абсолютной неразработанности проблемы истории литературно-издательской деятельности российских эмигрантов на Дальнем Востоке представляется важным воспользоваться даже столь скромной информацией, которая в свою очередь послужила поводом для некоторого расширения сюжета. История создания и выпуска журнала "Феникс" и про-

фессионально-биографическая справка о его редакторе потребовали и характеристики той литературной среды, которая окружала С. Г. Шахматова и являлась одной из составляющих эмигрантской культуры в целом.

Самсон Шахматов родился в 1897 г. в сибирском селе Алзамай Нижнеудинского уезда Иркутской губернии в семье зажиточного крестьянина. Начальное образование получил в церковно-приходской школе, а после переезда семьи в Томск самостоятельно подготовился к сдаче экзаменов по курсу гимназии. Однако в связи с начавшейся мировой войной он успел сдать лишь экзамены за 4 класса и 18-летним юношей добровольно ушел в армию.

Окончив иркутскую школу прапорщиков, воевал в Галиции, получил ранения; был представлен к боевым наградам. В годы гражданской войны сражался в Забайкалье, Приморье и на Камчатке в частях Семенова, Савельева, Бочкарева, Пепеляева.

Осенью 1922 г., когда гражданская война на Дальнем Востоке близилась к завершению, а белая армия агонизировала, молодой штабс-капитан Шахматов вместе с пепеляевцами на пароходе "Томск" бежал с Камчатки в Японию. Так, имея за плечами семилетний военный опыт и пройдя фронтовыми дорогами всю Россию с запада на восток, 25-летний Самсон Григорьевич ока-зался в эмиграции.

Дальнейший его маршрут, разделенный с молодой женой, полный лишений и поисков заработка, проходил через Китай (Шанхай), Японию (Хокодате, Кобе) и вновь Китай, куда семья приехала в 1929 г., имея на руках годовалую дочь.

Ко времени второго приезда Шахматовых в Шанхай русская колония города на реке Вампу, по данным В. Петрова, насчи-тывала 13 тыс. человек. В 30-е годы она быстро росла за счет большого притока мигрантов из Маньчжурии, бежавших от установившегося там японского военного режима. И уже в середине 30-х годов в Шанхае проживало от 25 до 50 тыс. выходцев из России [2].

Среди прибывавших было много представителей творческой интеллигенции, что способствовало культурному расцвету русской колонии Шанхая, который стал вторым (после Харбина) центром эмигрантской культуры в дальневосточном зарубежье.

Здесь были театр драмы, опера, оперетта, балет, симфонический оркестр, гастролировали знаменитые русские артисты и музыканты. Бурно развивались эмигрантская литература и журналистика. Издательства "Слово", В. Камкина, "Новая жизнь", "Заря"[3] наладили выпуск книг местных русских авторов. Большое количество литературных материалов печаталось в периодических изданиях, перечень которых в 30-е годы постоянно расширялся. Так, в 1937 г., по данным Э. Штейна, в городе издавались четыре большие ежедневные газеты, одна вечерняя, пять еженедельников, ряд журналов — "Новый путь", "Новости дня", "Вечерняя заря", "Русский авангард", "Русское знамя", "Эмигрантская мысль", "Путевой знак", "Свет", "Дальневосточный вестник" и др. А по количеству "толстых" журналов "русский" Китай намного опережал "русскую" Америку[4]. Среди газет особой популярностью и стабильностью отличались "Шанхайская заря" и "Слово"[5]. Все это свидетельствовало о довольно высокой концентрации в городе эмигрантских литературных сил. Шанхайцы имели оживленные контакты с Харбином и Тяньцзинем, читали издаваемый в Харбине литературно-художественный журнал "Рубеж", печатали в нем свои произведения.

В отличие от "русской" Европы, почти не знавшей о литературной жизни соотечественников на востоке и относившейся к ней с некоторым пренебрежением, эмигрантам-дальневосточникам были хорошо знакомы поэтические и прозаические творения "европейцев". В Китай поступали многие эмигрантские журналы, литературные сборники, книги, изданные в Париже, Берлине, Праге. Поэт В. Перелешин, много лет проживший в Китае, вспоминал, как во время долгих бесед харбинских любителей литературы "...произносились десятки имен, комментировались произведения Бунина, Алданова, Шмелева, Осоргина, Зайцева, чуть ли не все стихи и статьи в "Современных записках"[6]. В журнале "Рубеж" часто появлялись отзывы поэтессы и журналистки Натальи Резниковой на новые книги, выпущенные в европейских издательствах.

Но тоненькая ниточка литературной связи протянулась и в обратном направлении — из Китая в Европу и Америку. Некоторые писатели-дальневосточники вели переписку с со-

братьями по перу, проживавшими в других странах. Поэты "русского" Китая А. Несмелов, А. Ачаир, Н. Щеголев изредка печатались в парижских и пражских журналах. Из Парижа одобрительно отозвался о харбинской "Чураевке" Г. Адамович[7].

Однако в целом становление русской литературы Китая проходило долго и трудно. Здесь не оказалось, как в Европе, имен мировой величины, не сложилось своей авторитетной литературной школы. Вместе с тем отсутствие мэтров способствовало большей творческой активности литераторов "средней руки" и начинающих. К началу 30-х годов в Китае появилась целая плеяда талантливых и энергичных авторов, которые неутомимо заботились о сохранении на чужбине очагов русской национальной культуры и создавали уникальную русскую творческую атмосферу. Особое своеобразие и очарование этой атмосфере придавало окружение другой цивилизационной культуры — экзотического и загадочного Востока.

Эта благодатная среда не могла не способствовать развитию литературных задатков Самсона Шахматова, который принял живейшее участие в журналистско-литературном общении и творчестве. Приезд Шахматовых в Китай совпал по времени с активизацией литературно-издательской деятельности эмигрантов, началом ее критического самоосмысления, созданием первых творческих объединений и союзов. Н. Резникова так писала об этом периоде в 1931 г.: "В то время как западная русская эмиграция оказалась чрезвычайно богатой литературными силами и дала за годы изгнания немало блестящих художественных произведений — русский Дальний Восток до последнего времени не дал почти ничего. Лишь за последние годы здесь ясно наметилось усиление интереса к художественному слову. Появился спрос на книги, оживилась и издательская деятельность. Целый ряд молодых писателей и поэтов выпустили свои книги..."[8]

Потребность в творческом общении, могла быть удовлетворена в литературно-художественных содружествах. В Шанхае появились объединения "ХЛАМ", "Шанхайская Чураевка", "Шатер", "Понедельник", "Восток". К последним двум из них герой нашего очерка имел непосредственное отношение.

"Понедельник" был первым из этих творческих союзов.

Организаторы его, среди которых были М. Ц. Спургот, В. С. Присяжников, М. В. Щербаков, видели свою основную задачу в том, чтобы "объединить русских работников искусства, создать ядро, вокруг которого могло бы выкристаллизоваться все живое и творящее, что занесено из России на Дальний Восток"[9].

Собирались по понедельникам, отсюда и название этого содружества. Правление состояло из 3-5 человек во главе с председателем, а всего число членов "Понедельника" доходило до 20-30 человек. Среди них были журналист Н. Иваницкий (барон фон Грюневальюс), поэтесса И. Ф. Фрюаф, журналистка А. А. Иваницкая (Анна Дальняя), писатель-драматург Павел Александрович фон-Ольбрих (Павел Северный) и другие[10].

В сентябре 1930 и декабре 1931 гг. "Понедельник" на средства своих авторов выпустил два номера "толстого" журнала (тиражом 600 экземпляров), которые благожелательно были встречены русской литературной общественностью. Так, журнал "Рубеж" в разделе "Книжные новинки" писал: "Вышел, наконец, в свет долгожданный шанхайский "Понедельник". Выход каждого нового "толстого" журнала — событие в литературном мире. Выход "Понедельника" для нас — событие вдвойне: это — первый толстый русский журнал на Дальнем Востоке. С огромным интересом берешь в руки эту книжку размером свыше сотни страниц и начинаешь ее перелистывать... Что касается его содержания, то приходится признать, что далеко не все в нем равноценно. Пожалуй, не все даже заслуживает помещения в номер..." Далее следовал критический разбор помещенных в журнале произведений, который не помешал автору оптимистически закончить свою рецензию словами: "Пусть не все в первом "Понедельнике" ценно, тем не менее журнал удачен, и мы искренно приветствуем его выход"[11].

"Понедельник" поместил на своих страницах поэзию и прозу не только шанхайских авторов, но и харбинцев. В нем приняли участие М. Щербаков, Вс. Иванов, А. Несмелов, Л. Гроссе, В. Валь, М. Спургот, В. Янковская и др. Первый "толстый" литературный журнал дальневосточных эмигрантов отразил и специфическую цивилизационную среду, в которой он создавался. Авторы "Понедельника", как пишет Э. Штейн, — "отмечали пробуждение Востока и ратовали за достойное заим-

ствование всего того, что он может дать. "Восточные" публикации журнала приводят читателя к трудно разрешимым вопросам: "Россия — самый ли восточный из западных миров или самый западный из восточных? Участники "Понедельника" в этом вопросе стремились к синкретизму"[12].

В 1929 г. "Понедельник" вместе с редакцией газеты "Слово" выступил инициатором конкурса поэтов. Жюри состояло из председателя "Понедельника" М. В. Щербакова, поэтов В. С. Валя (Присяжникова), Л. В. Гроссе, художников Н. К. Соколовского и Г. А. Сапожникова.

По итогам этого литературного состязания был выпущен поэтический альманах "Восток" (Шанхай, 1930), включивший в себя 30 наиболее интересных из 107 присланных на конкурс стихотворений. В предисловии к книге М. Щербаков писал: "Целью конкурса было, с одной стороны, выявить те молодые силы, которые находятся среди русских эмигрантов, осевших на Дальнем Востоке, а с другой, — выяснить вопросы, наиболее их волнующие..." В газете "Слово" тот же М. Щербаков отмечал, что конкурс достиг своей цели и "выявил несколько совершенно неизвестных дальневосточных поэтов, вещи которых не стыдно показать и на Западе".

Высшей награды за стихотворение "Чаша страдания" была удостоена поэтесса из Кореи Виктория Янковская, дочь известной в Приморье до революции семьи Янковских. Премии также получили несколько молодых поэтов, в том числе Самсон Шахматов, который предложил на конкурс свое стихотворение "Вагабунд".

К сожалению, ничего не известно о том, как С. Шахматов пришел в литературу, пробовал ли он в ней свои силы до приезда в Шанхай. "Вагабунд" — первое упоминаемое в документах его произведение. Ниже приводится его полный текст (в документах — вырезка из газеты "Слово", без даты):

ВАГАБУНД

Жизнь моя несложна и проста:
За плечами сумка из холста,

На ночлег в заброшенный пустырь
Приведет меня кленовый поводырь.

Там любовно я, от жизни вдалеке,
На своем дырявом армяке,
Чуждый лести, чуждый пафоса и бурь, —
Стану пестовать небесную лазурь.

И глазами обнимая темный лес,
Буду думать о величии небес,
О богатстве творческих щедрот,
О безгранности божественных высот.

А когда меня окутает волна
Легковейного живительного сна, —
Буду видеть я дворцы из хрусталя,
Буду гостем я в чертогах короля.

Ночь пройдет, и с птичьей серенадой,
Освеженный утренней прохладой,
Напитавшись жизненных щедрот,
Я воздену руки на восход,

И привет свой солнцу посылая,
И свою судьбу благословляя, —
Ароматный корень воскурю,
Поплетясь к другому пустырю.

Итоги первого конкурса русских поэтов в Китае не остались незамеченными в литературных эмигрантских кругах. Из Харбина на него откликнулся наиболее авторитетный поэт дальневосточного зарубежья Арсений Несмелов. В журнале "Рубеж" он, скрывшись под инициалами "А. Н.", опубликовал рецензию на альманах "Восток". В ней А. Несмелов выделил стихи М. Щербакова "как поэта вполне сложившегося, давшего ряд прелестных вещей, явившихся подлинным украшением сборника". Критик отметил молодых поэтов — С. Шахматова ("с прелестной первой строфой его "Вагабунда"), В. Портнягина, Эмму

Трахтенберг и Н. Янковскую ("У последней, — пишет А. Н., — замечательно хорошо: В усталых сумерках линяет/ Потухшая стена"). В рецензии обращалось внимание на "акварельную прозрачность" стихотворения Льва Гроссе "Заснувшая страна": "...Четырехстопный ямб звучит у него с обаятельной простотой и точностью:

И скоро промчатся над спящей долиной
Весенние ветры и крик лебединый".

Однако А. Несмелов не разделил мнение жюри конкурса о стихотворении В. Янковской "Чаша Страдания": "С эпиграфом из Апокалипсиса, начинающееся с обращения к Богу, оно в дальнейшем заводит речь о ГПУ, Трехречье и прочем. Переплетение "гражданского элемента" с высоким запевом и с финалом опять из Апокалипсиса. Оно декламационно, но отзывается газетной дешевкой. В присуждении премии этому стихотворению несомненно сыграли роль не столько его художественные достоинства, сколько политическая актуальность. "Скала Будды" той же В. Янковской в художественном отношении, несомненно, выше".

Некоторых авторов альманаха критик оценил как безнадежно слабых. Но в целом, по его мнению, конкурс поэтов и альманах достаточно полно отразили молодые поэтические силы дальневосточного зарубежья и ту специфическую духовную атмосферу, в которой они формировались — "под солнцем Востока, где бумажное окно фанзы неизмеримо роднее, чем зеркальная витрина".

Сразу после конкурса, в июне 1930 г., Самсон Шахматов получил послание от содружества русских работников искусства "Понедельник" за подписью его председателя М. Щербакова и секретаря Н.Соколовского, в котором говорилось:

" Милостивый государь!

Настоящим имеем удовольствие сообщить Вам, что на основании словесного согласия Вашего Содружество на заседании своего правления единогласно постановило избрать Вас Действительным членом "Понедельника".

Содружество надеется иметь в лице Вас энергичного со-

трудника, знания, опыт и талант которого окажут Содружеству существенную помощь в деле укрепления национальной культуры на далекой чужбине."

Так, С. Шахматов, став членом "Понедельника," окунулся непосредственно в бурную, полную страстей и творческих исканий литературную среду, состоявшую из писателей и поэтов разной степени дарования и активности. "Понедельник", как в капле, отразил в себе состояние русскоязычной литературы в Китае первой половины 30-х годов. Попытаюсь дать хотя бы краткие характеристики членам Содружества, опираясь на библиографическую информацию[13] и отзывы некоторых современников шанхайских литераторов.

Одним из организаторов "Понедельника", а впоследствие и другого творческого союза — "ХЛАМа", был поэт Михаил Спургот, которого В. Петров называет "непререкаемым главой поэтического Парнаса в Шанхае". С 1930 г. он работал поэтом-фельетонистом в газете "Шанхайская заря", а до этого сотрудничал в Харбине в газетах "Речь", "Вечерний телеграф", журналах "Синий журнал", "Пилюля", "Вал", "Рубеж". "До своего появления в Китае, — пишет В. Петров, — он жил в Петербурге, Одессе, Париже. Стихи Михаила Спургота — это жемчужная нить с мелкой вязью нанизанных поэтических жемчужин. Нет никакого сомнения в том, что Михаил Спургот был мастером стиха... В сборнике стихов "Желтая дама" (Шанхай, 1931 — *Е. Ч.*), может быть, и видна некоторая вычурность, надуманность, даже неестественность и манерность (не подражание ли Игорю Северянину?!), но это, тем не менее, были творения мастера стиха.."[14]

Другой найденный мной отзыв о М. Спурготе — менее лестный. М. Р-ов говорит о черновых эскизах его поэмы "Сергей Есенин", опубликованных в первом номере "Понедельника" как об очень неровных. "...Впрочем, — сожалеет рецензент, — этот поэт, кажется, никогда не заканчивал своих стихов отделкой, и это жаль..."[15]

Довольно критическое к себе отношение вызывал первый председатель "Понедельника" Валентин Сергеевич Присяжников (Валя Валь). В. Перелешин едко называет его "тоже поэтом" [16]. Отрывок из романа В. Валя "Гуси-лебеди", опубликованный в

первом номере "Понедельника", был оценен рецензентом из "Рубежа" как "вещь, еще далеко не проработанная", а его стихи "памяти Маяковского" как совершенно сумбурные [17]. Но Валя Валь отличался продуктивностью. В шанхайском издательстве "Слово" вышли его книги "Арабески любви" (стихи), "Женщина из тьмы" (роман, до 1931 г.), "Дорога к счастью" (сборник рассказов, Шанхай, 1937), "Как Пилсудский погубил Деникина" (1938), "Сны" (рассказы и стихотворения, до 1931 г.).

Неординарной личностью был второй председатель содружества "Понедельник" М. В. Щербаков. О нем известны некоторые подробности, благодаря владивостокскому исследователю В. Ф. Печерице, который пишет в своей книге, что энергия и инициатива Михаила Васильевича помогала поддерживать огонек русской культурной жизни в Шанхае. М. В. Щербаков имел высшее техническое образование. В годы первой мировой войны стал первоклассным летчиком. После революции попал во Францию и пошел добровольцем во французскую армию. Получил французское гражданство, но уехал на работу в Китай, где провел два десятилетия своей жизни. Здесь он активно занимается писательским трудом, участвует в организации литературных объединений, печатается в "Шанхайской заре", "Шанхайской правде", журналах "Понедельник", "Багульник". Все рецензенты неизменно отзывались о Щербакове как о талантливом авторе. Известно, по крайней мере, о трех его книгах — "Vitraux" (Иокогама, 1923), "Корень жизни" (рассказы, Шанхай, 1931), "Черная серия" (повесть, Шанхай, 1931). После окончания Второй мировой войны М. Щербаков в отличие от многих соотечественников из Шанхая не уехал и оставался там еще до 1956 г., но находился под гнетом тяжелых личных переживаний и серьезно болел. Умер во Франции после переезда туда из Китая...[18]

Большой писательской продуктивностью отличался Павел Северный. В его литературном багаже были драма "Смерть императора Николая II" (Харбин, 1922), несколько романов и повестей — "Тургеневская сказка" (Шанхай, 1936), "Женщина у полярных звезд" (Шанхай, 1936), "Лэди" (Шанхай, 1938), "Озеро голубой цапли" (Шанхай, 1938) и др. Много толков вызвала его повесть "Косая мадонна" (Шанхай, 1934; Шанхай, 1937. Изд. 2-е,

доп.), посвященная жене А. С. Пушкина Наталье и опубликованная к 100-летию гибели поэта. Оценки творчества Павла Северного были не всегда лицеприятными. Так, М. Р-ов, отзываясь о помещенном в первом номере "Понедельника" рассказе П.Северного "Молитвы старых лам", писал, что это "вещь, попавшая в журнал явно по какому-то досадному недоразумению. Это — не фольклор, это — такая же "клюква о Китае", как княжна Петрушкина, пьющая водку из самовара" [19].

Интересным поэтом слыл в литературных кругах Николай Александрович Щеголев. В Шанхай он приехал из Харбина, где был активным участником литературного объединения "Чураевка" и где выпустил сборник своих стихов "Искры минувшего" (1929).

Бывшим харбинцем был и молодой поэт Николай Светлов, автор сборника стихов "Сторукая" (Шанхай, 1934). К сожалению, сведения о многих других участниках "Понедельника" до нас не дошли. Далеко не все из них имели возможность публикации своих произведений отдельными изданиями. В лучшем случае им приходилось довольствоваться страницами газет и журналов. По этой причине целый ряд авторов, особенно молодых, остались незапечатленными даже в скупой информации библиографических указателей. Некоторые имена, возможно, потеряны для нас безвозвратно.

Творческая и возрастная неоднородность "Понедельника" привела к тому, что в 1933 г. содружество раскололось на две части. Группа молодых литераторов образовала новое объединение "Восток". В него вошли М. Щербаков, К. Батурин, Н. Светлов, Н. Щеголев, С. Шахматов и некоторые другие.

"Восток" поставил перед собой задачу способствовать творческому росту литературной молодежи. О содержании собраний этого содружества можно судить по одному из объявлений, данных в местной газете (в архивном деле — вырезка из газеты, 1934 г.):

"В среду 25 апреля состоится закрытый вечер литературного объединения "Восток". В программе:

С. С. Аксаков. Доклад "О китайской музыке" с иллюстрациями китайских музыкантов.

М. В. Щербаков. Стихи Несмелова.

С. Шахматов прочтет свой новый рассказ "Буран".

Вход по приглашениям правления."

В середине 30-х годов "Восток" издал два номера литературно-художественного сборника "Врата". Э. Штейн отнес к заслугам этих сборников, "...во-первых, публикацию поэмы Арсения Несмелова — "Неронов Сестерций", во-вторых, тончайшей прозы безвременно умершего Бориса Беты ("китайский" Агеев) и, в-третьих, воспроизведение картин с китайской тематикой таких мастеров кисти, как В. Засыпкин и М. Лобанов"[20].

С. Шахматов опубликовал во "Вратах" свои рассказы "Трое" и "Буран", которые критика встретила благосклонно. Так, редактор "Шанхайской зари" Л. В. Арнольдов писал в своей газете:

"К еще незавершенным, но несомненно стоющим внимания авторам нужно причислить и С.Шахматова. Его рассказ "Трое" интересен по замыслу, ярок и силен. Он разворачивает перед нами картину человеческого падения: люди постепенно теряют лучшие человеческие черты во имя идеи, оказавшейся в конце концов несостоятельной. С большой художественной зоркостью сделаны описания природы, и выдвинутые на этом фоне отличительные черты героев С. Г. Шахматова отчетливо остаются в памяти."

В первой половине 30-х годов С. Шахматов активно пробовал свои литературные силы и в других изданиях. Он опубликовал рассказы "Тайное общество", "Жизнь солдатская", "Святая непосредственность". В "Понедельнике" вышел его рассказ "Пробуждение", в газете "Слово" — "Рисунок крестом" и "Это было в Тапсе", в журнале "Рубеж" — "Капитан с гвоздем".

Позже, будучи арестованным, на допросе он так характеризовал свои литературные произведения:

"... в них в художественной форме передавал и фиксировал факты из личной жизни, в основном, которые сам пережил или был свидетелем этого, ... из жизни людей в старой дореволюционной России, во время Первой империалистической и гражданской войны."

Для того чтобы дать представление о стиле и языке шахматовской прозы, не лишним будет воспроизвести фрагмент из его рассказа "Рисунок крестом", опубликованного в газете

"Слово" (8 апреля 1934 г.). Рассказ представляет собой бытовую зарисовку из жизни одного из полков царской армии в день празднования Пасхи.

"...Наконец, равнение доведено до совершенства. Подается команда:

— Стоять вольно! Оправиться!

Это означает, что можно согнуть одну ногу и положить винтовку в сгиб локтя, выпереть пот с лица и высморкаться. Но, Боже, сохрани того солдата, который позволит себе хотя бы на один миллиметр сдвинуться с того места, на которое он определен.

Батальонный, остановившись в некотором расстоянии перед фронтом, наскоро пробегает заготовленный адъютантом рапорт, потом прячет его за борт шинели на груди, оправляет шашку с полосатым георгиевским темляком и, оглянувшись и скосив глаза, вдруг начинает медленно пятиться на нас. А когда высокий, сильный круп Васьки (конь командира — *Е. Ч.*) останавливается в трех-четырех шагах перед барабанщиком полковник бросает тихим, заговорщическим голосом:

— А, ну-ка, Фунт, грянь-ка, батенька мой, в свою музыку.

Фунт довольно ухмыляется, поправляет широкий наплечный ремень и неожиданно, из всей силы, лупит колотушкой в тугую шкуру барабана. И вслед за тем тотчас же рассыпается оглушительной, длиннейшей дробью.

Сухопарый англичанин Васька, против которого этот заговор составляется каждое утро, правду сказать, давно уже изучил коварные роли и своего хозяина, и барабанщика Фунта, но он отлично знает, как ценятся в полку порядок и традиция и потому для вида делает "козла" и, ловко закусив удила, вихрем выносится вперед.

Весь полк начинает приглушенно хохотать, а полковник Свистунов или попросту "батенька мой", как его называет вся дивизия, с налившимся кровью лицом, с надувшимися на лбу и на шее толстыми жилами, со съехавшей на затылок фуражкой — рвет повода и вонзает в поджарые Васькины бока огромные колена своих пехотных, высоко загнутых шпор.

Чутьем подлинного актера понимая, что "спектакль" удался и пора кончать, чтобы не слишком утомлять внимание зрителей, —

Васька, вытанцовывая штуки, грациозно взмахивает точеной головой и, разбрызгивая пену с удил, возвращается на старое место.

"Батенька мой", изрыгая проклятья и страшно вращая белками своих черных глаз, разглаживает лайкой бобровый ус и кричит капитану Цамутали:

— Нет, вы только подумайте, Леонид Александрович, какова скотинка! Продам, непременно продам его к чертовой матери!.."

Будучи членом "Востока", С.Шахматов проявлял не только писательскую, но и организаторскую активность. Он подал мысль о выпуске постоянного журнала, доступного для начинающих литераторов, который к тому же мог бы служить источником доходов для авторов и литературного содружества в целом.

Предложение было поддержано, для организации журнала собралась комиссия. В нее вошли, кроме С. Шахматова, М. В. Щербаков, художник В. А. Засыпкин, капитан дальнего плавания Алексей Филиппович Качимов, архитектор Томашевский, И. М. Алтадуков, издатель газеты "Слово".

Журнал было решено назвать "Феникс" и поначалу, пока он не окрепнет, выпускать его на паевых началах. А. Ф. Качимов и Томашевский обещали денежную поддержку, а И. М. Алтадуков взял на себя его печатание в своей типографии. Заинтересованное участие в новом журнале проявили не только дальневосточники. Поддержать журнал своими литературными материалами согласились блестящий эмигрантский писатель, беллетрист Михаил Осоргин (Париж), жители Калифорнии Борис Волков и Петр Балакшин, с которыми из Шанхая вел переписку М. Щербаков.

В сентябре 1935 г. вышел первый номер "Феникса". В нем были напечатаны стихи А. Несмелова, рассказ П. Балакшина "Человек с заячьей губой" и другие материалы. К сожалению, не известны ни тираж, ни объем этого журнала, ни география его распространения. Но о некоторых достоинствах и недостатках нового издания можно судить по письму П. Балакшина, присланного С. Шахматову из Сан-Франциско, датированному 13 октября 1935 г.

"Дорогой Самсон Григорьевич!

Получил Ваше письмо на этих днях и несколько номеров "Феникса". Журнал мне нравится, желаю ему полной удачи, то есть полного оперения, мощных крыльев и — для нужды крепкого клюва (не знаю, была ли эта порода птиц хищной, но в наше время такое оружие необходимо!).

Напрасно Вы так недовольны первым номером. Он очень интересен, внешний вид у него значительно лучше "Рубежа". Конечно, можно спорить относительно материала, ведь такие споры неизбежны. Я бы, например, поставил Вам в упрек — не обижайтесь, пожалуйста, — выбор темы. Мне кажется, что Шанхай такой интересный город, жизнь русских полна таких радостей, драм, так насыщена всем, что тема сегодняшнего дня значительно ближе нам, а следовательно, и интереснее нежели темы уже канувших лет и прошедших положений. Но есть читатели, а Вы, как редактор, конечно, должны считаться только с этим фактором!, которым близки рассказы в духе Вашей "Лебединой песни".

Я понимаю, что не всегда можно писать о сегодняшней теме; я понимаю, например, почему Несмелов идет в Рим, я понимаю, что действительность может просто для успокоения и отдыха толкать в другие времена и эпохи. Но он последователен, он откинул два десятка веков, чтобы никто не мог обвинить его ни в каких пристрастиях. У Вас же, на мой взгляд, нет этих чисто несмеловских положений — тягость жизни Харбина, бедность, может быть, принижение и генеральная линия победителей. У Вас свободные крылья, никто не может давить в выборе тем и т. д. Мне кажется, что на писателях Шанхая лежат определенные задачи, как на писателях других эмигрантских мест: связь с этим местом, связь с людьми этого места, понимание их, изображение их быта, всех особенностей его.

Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Я сам враг всяких проповедей, но здесь просто хотелось поделиться с Вами этими мыслями — о чем же мы, в сущности, должны писать. Прав Адамович, сказавший что у нас замечательные условия для работы, нет никаких давлений в большинстве случаев, нет цензуры, мы свободны в полном смысле этого слова, не как несчастные советские писатели, обязанные выводить эту призрачную генеральную линию..."

"Феникс" выходил в течение семи месяцев. В нем печатались М. Щербаков, М. Осоргин, Б. Волков, Т. Баженова, К. Батурин, Н. Светлов, Н. Щеголев, Л. Хаиндрова и др. По просьбе редактора из Токио присылал переводы произведений японских писателей талантливый переводчик Михаил Петрович Григорьев. Сам Шахматов поместил в журнале свой рассказ "Лебединая песня" и писал театральные рецензии. Однако в марте 1936 г. из-за нехватки финансов издатели вынуждены были прекратить выпуск "Феникса". В том же году распалось и литературное содружество "Восток".

Закрытие "Феникса" означало для С. Шахматова не только потерю рабочего места (а эта проблема была для эмигрантов постоянно актуальной), но и окончание наиболее плодотворного, творчески насыщенного периода его жизни. Через два года он уезжает в Маньчжурию, где и остается вплоть до прихода советских войск, проживая в городах Дайрене, Харбине, Мукдене. Ему приходилось работать в дайренском представительстве Министерства общественной безопасности Маньчжоу-Го (куда С. Шахматову помог устроиться атаман Семенов), в отделе печати управления Южно-Маньчжурской железной дороги "Мантэцу", в культурно-просветительном отделе мукденского отделения ГБРЭМ.

Помимо служебных дел С. Шахматов продолжал выкраивать время и для занятий литературным творчеством. В этот период им были написаны и частью опубликованы в газетах и журналах рассказы "Оборотень", "Смерть Митрофанова", "В старой казарме", "Пятнистый волк", "Учитель Су", "Ночной смотр" и другие. По замыслу автора, многие из его рассказов, объединенные общими действующими лицами, должны были лечь в основу его романа "Иностранный легион", который он начал, но не успел продолжить в связи с новыми обстоятельствами его жизни.

После победы советской армии над японской в 1945 г. С. Шахматов остался в Мукдене и в 1946 г. принял советское гражданство. Однако период полноправного гражданства продлился недолго: в 1949 г. герой нашего очерка был арестован контрразведкой МГБ СССР и после недолгого следствия приговорен к 25 годам лишения свободы на основании нескольких пунктов статьи 58 Уголовного кодекса РСФСР (за помощь

контрреволюционной буржуазии, шпионаж, антисоветскую пропаганду и т. п., независимо от срока давности свершенных им деяний, начиная с времен революции и гражданской войны).

С. Г. Шахматов отбывал наказание в Казахстане в спецлагере Степном для особо опасных преступников. По горькой иронии судьбы лагерь находился относительно недалеко от того места, где будущий писатель родился и провел свои юные годы. Так драматически состоялось его возвращение на родину и так сомкнулся круг его скитаний.

Из заключения С. Шахматов был освобожден в 1959 г. как инвалид. Долгая переписка с официальными инстанциями по вопросу реабилитации в 1960 и 1961 гг. никаких результатов не принесла, и как сложились его последние годы, нам не известно.

Однако несмотря на столь печальное завершение жизненного пути нашего героя, закончить свой очерк мне бы хотелось на более оптимистичной ноте. Следует отметить отрадный факт все возрастающего интереса к истории и культуре дальневосточной российской эмиграции со стороны отечественной науки. И в этом плане название журнала "Феникс", вернувшегося к нам из забвения, кажется символичным.

Владивосток

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В основу статьи легли показания С. Г. Шахматова на допросах и в судебном заседании, переписка по вопросам реабилитации, а также приложенные к делу в качестве вещественных доказательств личная переписка подследственного и некоторые литературные материалы, в том числе рукопись его неопубликованного рассказа "Ночной смотр", вырезки из газет с рецензиями, опубликованным рассказом "Рисунок крестом", стихотворением "Вагабунд" (большей частью без указания номеров и дат) и т. д.

Автор ограничивается вышеприведенной ссылкой на указанные материалы, имея ввиду, что они являются единственным архивно-документальным источником предлагаемой статьи. Далее в тексте размещены сноски только на дополнительно использованную литературу.

2. В. Петров. Шанхай на Вампу. Очерки и рассказы. Вашингтон. 1985. С. 17, 29; Э. Штейн. Журналы русского Китая. // Знамя. 1990, № 5. С. 232.

3. Сведения об издательствах почерпнуты автором из: А. Д. Алексеев. Литература русского зарубежья. Книги 1917-1940. Материалы к библиографии. С.-Петербург, 1993.

4. Э. Штейн. Указ. соч. С. 232.

5. В. Петров. Указ. соч. С. 32.
6. В. Перелешин. Два полустанка.// Литературная учеба. 1989, № 6. С. 114.
7. Там же. С. 117.
8. Рубеж. 1931, № 44. С. 23.
9. М. Р-ов (так в тексте; возможно, М. Рокотов – *Е. Ч.*). "Понедельник" – журнал содружества работников искусств, – № 1. Шанхай.//Рубеж. 1930. № 45. С. 20.
10. В. Петров. Указ. соч. С. 35.
11. М. Р-ов. Указ. соч.
12. Э. Штейн. Указ. соч. С. 235.
13. Выходные данные указанной в тексте литературы эмигрантов приводятся согласно: А. Д. Алексеев. Указ. соч.
14. В. Петров. Указ. соч. С. 34, 37-38.
15. М. Р-ов. Указ. соч.
16. В. Перелешин. Указ. соч. С. 116.
17. М. Р-ов. Указ. соч.
18. В. Ф. Печерица. Восточная ветвь русской эмиграции. Владивосток, 1994. С. 172-174.
19. М. Р-ов. Указ. соч.
20. Э. Штейн. Указ. соч. С. 236.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Дмитрий Бобышев

РАЙСКИЙ ГРАЖДАНИН ЮРИЙ ИВАСК

Прошло 10 лет со смерти Юрия Павловича Иваска, известного многим поколениям славистов прежде всего как корреспондент и заочный друг Марины Цветаевой. "Вы — стихолюб и архивист", — сказала ему великая поэтесса, одним этим высказыванием закрепившая за ним место в истории отечественной поэзии. И все-таки ограничить исключительно богатый творческий и научный вклад Иваска в литературу одним лишь знакомством с Цветаевой было бы несправедливым. Да и сами эти слова, относящиеся к началу 30-х годов, когда состоялось их знакомство, определяли только особенности натуры, склонности таланта молодого человека, находящегося в самом начале своей творческой жизни.

Родившийся в Москве, Иваск был с отрочества разлучен с родными местами и испытал на себе многие из несчастий XX века: революцию, оккупацию, эмиграцию. Но во всех странах, куда его загоняла судьба, в Эстонии ли, в Германии или в Америке, он оказывался прежде всего в стенах университетов: Тартусского, Гамбургского, Гарвардского, где продолжал писать и совершенствоваться. Так с годами цветаевский "стихолюб и архивист" развился в оригинального поэта и подлинного просветителя.

На его первую книгу стихов "Северный берег", вышедшую в 1938 г., отозвался маститый критик П. Бицилли. Он нашел в молодом поэте устремленность не к пушкинскому идеалу, а скорей к образцам поэзии Баратынского: "та же философическая направленность, те же гамлетовские вопросы о жизни и смерти, о значении и правах разума, та же тоска о каком-то разрешении всех загадок".

Но Муза увлекает развивающегося поэта еще далее от классицизма к могучему архаисту Державину, в шишковскую "Беседу", в барочный

XVIII век. Формула адмирала Шишкова, по которой церковнославянизмы в стихах должны "приятно обниматься с просторечием, пришлась ему по душе. В этом он нашел больше единства с Цветаевой, чем со своими сверстниками, которые придерживались точного, но несколько унылого камертона "Парижской ноты". Стихи Иваска отличались от других большей мажорностью и словесной игрой. Это было замечено Г. Адамовичем в его рецензии на книгу "Золушка": "Со словами он делает, что хочет, играет ими с вызывающей вольностью... Есть любовь к миру, крепкое доверие ко всему доброму... В соединении с большой литературной и общей культурой это придает стихам подкупающую, неподдельную прелесть". Адамович точно угадал и выделил из всего сборника стихотворение "Гласные", и в самом деле, удивительное произведение Иваска, счастливо сочиненное, даже как бы готовым услышанное им в просодии русского языка:

Пели — пели — пели,
Пили — пили — пили,
Поле — поле — поле,
Пули — пули — пули,
Пали — пали — пали.

По словам Адамовича, "за дразнящей игрой звуков в нем рассказана целая повесть". Повесть трагическая, — добавим от себя, — в которую умещается, например, вся история Добровольческой белой армии, да и не только она. Впрочем, игровое начало Иваска приподнимает над землей как трагедию, так и скуку жизни, и сообщает им устремленность к возвышенной радости, к небесному, райскому притыну. То же свойство он ценит у других поэтов, отмечая, например, в стихах И. Чиннова "игру щемящих воздыханий и резвых радостей". Беседы на эти темы с другом ранних лет поэтом К. фон Гершельманом привели Иваска к замыслу его главного произведения – поэмы "Играюший человек (Homo Ludens)".

В основе этого стихотворного, вычурно задуманного путешествия по времени и пространству лежит обаятельный образ Луиджи Гонзаго, святого юноши, играющего в мяч. Эта игра, происходящая не от темного азарта, а от радостного бурления сил, нисколько не опровергает аскезы, она является просто еще одним путем к высокой радости, средством, достигающим эту радость прямо сейчас и здесь.

Рай на земле не только возможен, он существовал и существует:

Материнский из детства распев
Свете тихий, и сызнова дома
Неужели в раю, неужели?
По-ка-чи-ва-е-ма-я колыбель.

Поддерживаемый философским учением Г. П. Федотова о культуре как строительстве Вечного Града Иваск вносит в него свое игровое начало.

И с юношей Гонзагой быстрый мячик
Подбрасывайте, девочка ли, мальчик...
Прочь, страх! Строй Град! Рай игр!
Что смерть? Есть жизнь!

Игра спондеев, особенно заметная в последних строках, вообще является одним из самых излюбленных метрических приемов поэта. Другой интересный прием — гиаты, имитирующие "ангельскую" речь, состоящую из одних гласных звуков. Иваск составляет из них "глоссолалии" и даже целые строки: "Её ой-ёи и её ау!" В этом он приближается, с одной стороны, к хлебниковской зауми, а с другой — выходит за пределы русского языка, внося в свою игру полюбившиеся ему португальские и эстонские дифтонги.

И еще один прыжок вне родной культуры — в "Религию-игру-затею" английских поэтов-метафизиков Донна, Герберта, Крашо, игравших сакральными понятиями и именами. И — в те страны, где причудливость старинной архитектуры вызывает у поэта-"раеверца" блаженное изумление: Мексика, Португалия, Голландия, Испания.

Все-таки родное — милей. Внутри поэмы Иваск выстраивает круг стихотворных портретов, посвященных тем друзьям-собеседникам, поэтам и критикам, с которыми так хороши разговоры о главном: о поэзии, о рае, о России. Эти разговоры поэт называет, используя пушкинское намеренно-сниженное выражение, "дружескими враками". Снижением он играет постоянно, дразня читателя контрастом, находя, например, на экзотическом полуострове Юкатан совершенно обыкновенные приметы: "герани, канарейка, кошка".

"Райский толк" он видит даже в самом заурядном:

Грибки, евангельские рыбки, водка,
и рай графический блаженно пестр.

Кто-то, наверное, найдет этот рай мещанским. Это нисколько не задело бы Иваска, не оскорбило бы его. Наоборот, он писал:

Образовали бы Россию Бати,
Мещанами клеймимые некстати,
Поймите, им бы только не мешать.

Мешали им жить и обустраиваться, клеймили и эстетически, и классово в течение всех "десятилетий-веков Чеки". По убеждению Иваска, если бы не это, мещане сделали бы Россию тем, чем стала Чехословакия в пору экономической деятельности предпринимателя Бати или тем, чем стала Америка Форда, — свободной процветающей страной. Но есть в этой апологии мещанства также и дразнящая читателей перекличка с В. Розановым, которому и в раю подавай малосольного огурчика с прилипшими к нему усиками укропа. "Я — мещанин", повторяет вслед за дворянином Пушкиным дворянин Иваск и с вызовом называет так сборник своих лучших стихов, оказавшийся его последним прижизненным изданием,

Вышедшая перед самой кончиной Иваска малым тиражом (к тому же почему-то на зеленой бумаге), эта книга по существу осталась не замеченной ни критиками, ни читателями. А между тем она написана вдохновенно, она изобилует тем, чем так силен поэт Юрий Иваск — изобретательной игрой слов, неожиданными образами и, конечно, глубокими, а иногда смелыми до дерзости философскими идеями. В книге три географических центра — университетский городок Амхерст в Америке, где Иваск жил и писал, Рим, куда он наезжал часто и подолгу, и еще один город, о котором я скажу позже, и в каждом из этих центров тема рая получает свое развитие.

Амхерст — это рай домашний, обихоженный, одухотворенный творческим трудом и напоминающий горациевы Сабины или державинскую Званку.

В "Римских строфах" у Иваска вновь появляется его излюбленный образ "игреца" Гонзаго, а с ним и райская тема. Но здесь она другая, не игровая, а скорей строительная, "богорабочая", поскольку сам образ города поражает своей не созерцательной, а могуче-деятельной вечностью. Этот мощный цикл стихотворений (всего в нем 7 частей, по

числу римских холмов) вполне может называться поэмой и является, наряду с "Играющим человеком", одним из самых значительных произведений Иваска. Но самый парадоксальный рай появляется у него в стихотворении, примыкающем к этом циклу, и которое прямо так и названо: "Пьяцца Парадизо в Риме". Здесь, в самом центре не классического (и мертвого), а мещанского и живого Рима, где "...на Райской площади вонючей: барахло, мальчишки, водомет", его опрыскивает роса "из луговины рая".

И все-таки совершенно особенным райским местом оказался третий центр его книги — город, который он воображал и о котором мечтал, но где удалось ему побывать только однажды, за год до смерти, — Санкт-Петербург. Он увидел этот город барочным и праздничным, с золотыми куполами на белом и голубом "среди вод многих". Он увидел в нем славу России и подтверждение своей постоянной веры в нее. Но не только торжественность объединяет стихи петербургского цикла. Есть в них "мера большая", и эта мера обладает совсем не имперскими, а человеческими, лучше сказать, — человечными пропорциями. Это — во Христе юродивая блаженная Ксения Петербуржская, поклонение которой настолько захватило Иваска, что она даже явилась ему во сне. Свое, несомненно, мистическое переживание поэт стремился изложить как можно понятней, добавив к стихам страницу, и не одну, подстрочных пояснений. Блаженная Ксения явилась ему несущей кирпичики, чтобы что-то строить, что-то "неведомое нам", — храм ли, райский ли город, и поэт бросился ей помочь. "Куда тебе, квелый..." — с самоиронией приводит Иваск обращенный к нему упрек блаженной Ксении. И как-то созвучно ей он восклицает:

Спасется ею от уничтожения
Град оный...Или лгут сии стихи?

Образ святой Ксении замкнул в себе все основные темы поэзии Иваска. В ней совместились и игровая, и трудовая хвала Творцу. Из каких-то "жалких кирпичиков" она строит неведомый Райский град, гражданином которого мне представляется Юрий Павлович Иваск. Или лгут сии стихи?

Май 1996

Амир Хисамутдинов

ПИСАТЕЛЬ В ИЗГНАНИИ

Почему так мало переиздают русских дальневосточных писателей, которые были вынуждены покинуть родину при известных событиях 1922 года? Ведь среди них было немало тех, чьи имена в свое время блистали на литературном небосклоне русского зарубежья. Например, Яков Львович Лович-Дейч, о творчестве которого немало спорили.

Яков Дейч родился 28 декабря 1896 года (по старому стилю) в Вильно в семье известного революционера. В 1915 г. он окончил Благовещенскую мужскую гимназию, а затем продолжил учебу в Московском университете. Весной 1916 г. Яков был призван в действующую армию. Пройдя обучение в Царицынском студенческом учебном батальоне, бывший студент окончил затем 3-ю Московскую школу прапорщиков. На фронте офицер проявил незаурядную храбрость. Летом 1917 года в бою под Ригой он был контужен в голову. Вступив позже в армию адмирала Колчака, в боях с Красной армией получил легкое пулевое ранение. Поправившись, до 1920 г. он служил следователем при военно-полевом суде, а также занимал должность прокурора по политическим и уголовным делам.

9 ноября 1922 года Яков Львович Дейч приехал из Иокагамы в Маньчжурию. До 1926 г. он работал в харбинской библиотеке Д. Н. Бодиско, затем стал журналистом газеты "Рупор". Тогда-то и изменил свою фамилию на Лович. В автобиографии он писал: "Я — сын правого социалиста (плехановца) Льва Григорьевича Дейча, но встречался с ним в своей жизни всего два раза и никогда не разделял его убеждений, что, как мне кажется, и доказал, пойдя на войну и борясь за Родину. Отец принадлежал к правым социалистам, а потому подвергался преследованиям со стороны большевиков. В 1918 г., когда армия развалилась, я бежал в Петербург, где встретился с отцом во второй раз в жизни, и он, зная, что я никогда не смогу работать с большевиками, помог мне достать солдатские документы, дал мне денег, и я уехал в Амурскую область. С тех пор я никогда отца не видел, ибо в Россию не возвращался. В 1923 г. в Харбине, служа в библиотеке Бодиско, я прочел в журнале "Русская мысль" (книга III, с. 63), что мой отец арестован чекистами. В библиотеке брали книги и чины советского консульства. Через Бодиско я узнал, что отца арестовали за то, что его сын (т. е. я) работал в полевом

суде. Г-ну Бодиско было сказано (через некоторое время, по-видимому, после сношения с Москвой), что моего отца расстреляют, если его сын не принесет повинной, не сдастся на милость победителей-большевиков и не поедет в РСФСР. "Долг платежом красен" — и я решил ответить отцу тем, что он сделал для меня в Петербурге, рискуя своей головой. Я пошел в консульство и подал прошение о совподданстве"[1].

К счастью для Ловича, его заявление не получило никакой реакции от советского консульства, и в 1927 г. он решил переехать в Шанхай, где стал работать в газете "Шанхайская заря". Он сотрудничал в харбинском журнале "Рубеж" со времени его основания, а также печатал свои рассказы в журнале "Грани" (Шанхай). В 1931 в Харбине он выпустил рассказы о любви "Ее жертва". Как было написано в рецензии, "для Харбина выход книги Я. Ловича стал большим событием, ибо в эмигрантском существовании издать книгу, да еше художественно издать — вещь далеко не легкая"[2]. А вот что писал известный поэт Арсений Несмелов в харбинской газете "Рупор" об этом сборнике: "...книга волнует тем, что обстановка, среди которой действуют и любят герои Ловича, — это бытие нашего сегодняшнего эмигрантского дня. Когда герои его бывают пошлы, на губах автора чувствуется насмешливая улыбка. Но улыбка эта не злая. Лович фотографирует, бытописует, но никогда не осуждает. Там же, где его герои страдают, где они решаются на подвиг, — автор сочувствует им, и стиль его прозы становится напряжен от пафоса сострадания"[3].

Через год в Харбине вышел роман Я. Л. Ловича "Что ждет Россию". Это нашумевшее произведение было написано еще осенью 1921 г. в японской рыбачьей деревне Минега-Ха-ра, где Лович оказался по пути из Японии в Китай. Русский писатель из Китая предсказывал убийство президента Франции Поля Думера. "Возможно, — писали в Шанхае, — что способность заглядывать в даль, в тьму неизвестного будущего окажется характерной и для остальных, заключительных, глав романа "Что ждет Россию". Почему, угадав многое, ему не угадать бы и дальнейшее? Тогда сердца русских националистов должны воспрянуть и возликовать. Ибо финал романа Ловича говорит нам о крахе советской грандиозной авантюры в самом зените. Красные знамена над русскими армиями сменяются национальными!" На этот роман было опубликовано несколько откликов и в советской России. Книга была переведена на несколько иностранных языков.

В 1936 г. в соавторстве с харбинцем Георгием Мурашовым Я. Лович издал в Харбине книгу "Белая Голгофа", посвященную Белому

движению. Рецензент отмечал: "Оба автора — Мурашов опубликовал стихи, а Лович рассказы — удачно дополнили друг друга... Рассказы Ловича имеют еще одно ценное качество: все они без исключения фабульны и читаются с неослабевающим интересом. Не претендуя на стилистические новшества, автор пишет хорошим простым русским языком".

Особой темой для писателя Ловича были кровавые события в 1920 года в Николаевске-на-Амуре, когда бандиты красного партизана-анархиста Якова Тряпицына уничтожили этот старый дальневосточный город. Этой трагедии был посвящен роман "Враги", который Яков Лович создал на основе расследования, проведенного им во время гражданской войны. Средства на издание дал его земляк — предприниматель А. М. Нетупский[4].

Я. Л. Лович продолжал заниматься темой гражданской войны, стал редактором книги Константина Емельянова "Люди в аду" и написал к ней предисловие. "В начале лета 1922 года, — вспоминал Яков Львович, — судьба забросила меня в Николаевск-на-Амуре — вернее на то место, где был когда-то этот цветущий город. Черная, страшная равнина, устланная печными трубами, грудами кирпича, ржавого кровельного железа, горелыми бревнами. Кое-где в разных местах новые легкие постройки, возведенные японцами. Остатки русского населения ютятся по разным сараям, баракам и лачужкам. Прошло уже два года после кровавых событий, но печать ужаса и горя осталась у этих людей. Я был на фронтах Великой войны и гражданской бойни, видел много страшного, но о таких ужасах, какие вытерпели эти люди, я никогда не слыхал. Мне рассказывали, как партизаны пороли, пытали, расстреливали, жгли, кололи штыками, рубили шашками и топорами, насиловали, грабили, убивали колотушками для глушения рыбы, вспарывали животы, разбивали черепа грудным младенцам. Рассказчики спаслись чудом: один бежал в лес и жил неделю на снегу, другой прожил больше недели под... тротуаром, правильно рассчитав, что никому не придет мысль искать беглеца в таком месте. Третий в момент ухода партизан из города и избиения ими всех оставшихся в городе, спрятался в помойную яму. Способы спасения были разнообразны и необыкновенны: когда угрожает смерть, человек становится изобретательным... Я получил от дирекции фирмы командировку в Александровск-на-Сахалине и здесь поселился у Константина Александровича Емельянова, члена Петропавловского окружного суда, в прошлом судебного

следователя. Узнав, что он и его жена пережили николаевские события, я начал расспрашивать их. Муж отвечал неохотно, а жена, обычно очень молчаливая, говорила много и с необыкновенным подъемом. Емельянов, когда мы с ним остались одни, сказал:

— Я очень прошу Вас не упоминать о Николаевске при жене. Когда она вспоминает эти события, то...

Туг он выразительно покрутил пальцем около лба. С тех пор мы при жене никогда не упоминали о событиях. Но зато во время прогулок по Александровску вдвоем с Емельяновым и особенно во время охоты, на которую мы часто ходили, я выслушал полный отчет о том, что произошло в Николаевске. Узнав, что Емельянов изложил все это систематически на бумаге, я попросил его снять копию с записок и переписал их от руки, так как машинки не было".

В тридцатые годы К. А. Емельянов был расстрелян советской властью на северном Сахалине. По поводу этой книги рецензент "Рубежа" Н. Резникова писала: "Записки Емельянова написаны скорее даже сухо и сжато — чувствуется, что составлял их судебный следователь, каковым и был в России Емельянов, но беспристрастность и добросовестность подкупают читателя и производят сильнейшее впечатление".

Яков Лович написал еще несколько книг, которые широко читались в русском Китае. Газета "Шанхайская заря" отметила издание сборника рассказов "Офицерская шинель": "Все эпизоды, выбранные им, не являются художественным вымыслом, а взяты из архивов о жестокой борьбе братьев, ставших врагами". Я. Л. Лович написал детективный роман "Дама со стилетом", по поводу которого критика писала: "Интригующая завязка, пестрое и живое развитие увлекательной фабулы, ярко очерченные типы, элемент неожиданности сцен и положений... Шанхайский фон "Дамы со стилетом", развертывание действия в знакомых местах придает роману особый интерес для местных читателей, а также и для более широкой аудитории, мало знакомой с ярким колоритом нашего города и единственной в своем роде "романтикой Шанхая".

В 1951 г. через о. Тубабао Я. Л. Лович эмигрировал в США. Его жену в Америку не пустили из-за туберкулеза и вскоре она скончалась в Париже. Ненадолго пережил ее и муж. 27 августа 1956 г. Яков Львович Лович-Дейч скончался от рака легких в больнице Стэнфордского университета[5]

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ГАХК, ф. 830, о. 3, д. 17497, л. 3 об. Интересно, что личное дело Я. Л. Ловича-Дейча, побывав в архиве Хабаровского управления КГБ, уменьшилось вдвое (согласно заверительной записи архива от 6 октября 1981 г.). Пока неизвестно, какие документы постарались уничтожить дальневосточные журналисты.

2. Н. Р. [Наталья Резникова]. Книжные новинки // Рубеж. Харбин. 1931. 21 марта. С. 21.

3. Арсений Несмелов. / Лович Я. Враги: Роман в трех книгах. Шанхай: Изд-во "Дракон", 1941. С. 518.

4. University of Hawaii. Hamilton Library. Нетупский А. М. Воспоминания: рукопись. С. 103-104.

5. Скопиченко О. Некролог: Кончина Я. Л. Ловича // Русская жизнь. Сан-Франциско. 1956, 29 авг.

Владивосток

Екатерина Филипс-Юзвиг

Л. К. ДОЛГОПОЛОВ — ПРОФЕССОР, УЧЕНЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

В Петербурге весной 1995 года скончался Леонид Константинович Долгополов — доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института русской литературы, автор ряда книг и многочисленных статей и один из лучших специалистов по истории русского символизма и модернизма. В его лице мы потеряли видного литературоведа и талантливого критика, который способствовал общению России с Западом. Он был участником международных конференций в Италии, Франции и США. В Америку он приезжал дважды.

Американские слависты знали о профессоре Долгополове главным образом как о видном беловеде. Андрею Белому, теоретику символизма, писателю и поэту, он посвятил книгу "Андрей Белый и его роман *Петербург*". Он также подготовил и издал в академической серии *Литературные памятники* этот известный всем роман, который Набоков считал одним из пяти лучших романов мировой литературы. Леонид

Константинович провел громадную историческую, литературную и текстологическую работу над этим романом. Благодаря усилиям Долгополова, а также его незаурядной эрудиции оказалась открытой дорога также и для других ученых в смысле дальнейшей исследовательской работы и широких обобщений в вопросах истории, литературы, философии и эстетики.

Среди важных научных статей профессора Долгополова недавнего времени следует указать на его работы об абсурде у Гоголя, а также на статью "Миф о поэте и *Поэме без героя*". Эту поэму Ахматовой Леонид Константинович рассматривает в русле историко-философских и литературных традиций начала века. Более ранний труд Долгополова, книга "Поэмы Блока и русская поэма конца 19 — начала 20 веков" (издательство "Наука", 1964) была пионерской работой в области изучения жанра лирической поэмы в то время, когда символизм еще серьезно не изучался в СССР. Одним из первых стал Леонид Константинович также разрабатывать проблему мифологии города в историко-литературном аспекте.

О выдающихся заслугах Долгополова в области русской литературы на рубеже веков пишет его близкий друг, ученый и литературовед, Всеволод Келдыш: "К русской "литературе рубежа" у Долгополова было отношение совершенно особое. Он рыцарски служил ей на протяжении всей научной деятельности. И служение ей начал тогда, когда в отечественных критических штудиях это литературное время еще продолжали в "добрых" советских традициях именовать кризисным и упадочным. В работах Долгополова оно предстало крупнейшей вехой, осуществившей смену литературных эпох" (из вступления к статье Долгополова "Время, сорвавшееся с координат. Белый и Блок в водовороте истории". "Литературная газета", 17 января 1996 г.).

Во время своего первого визита в США на симпозиуме, посвященном Пастернаку, при Русской школе Норвичского университета в Вермонте, Леонид Константинович прочел доклад под названием "Странный доктор. К вопросу личности и характера жизнедеятельности героя романа *Доктор Живаго*". Докладчик связал этот роман с общей философией "переломной эпохи 20 столетия". Оценив эстетику Пастернака, всю многослойную символику романа, он отметил, что из эстетики автора вытекает и характеристика эпохи, и ее нравственное суждение. (Доклад Долгополова напечатан в серии "Норвичские симпозиумы по русской культуре и литературе", том 1, *Борис Пастернак, 1890-1990.*)

В своих письмах в Америку Леонид Константинович неоднократно упоминал о препятствиях, с которыми ему приходилось сталкиваться в СССР в его научной деятельности. "В Москве (люди, занимавшиеся началом века)... не подпускали меня к своим изданиям и публикациям ни на шаг... Меня отстранили от участия в блоковской группе", хотя потом "застряли на первых же томах собрания сочинений Блока". В одном из писем в Америку в августе 1991 года Леонид Константинович пишет о своем состоянии в последние годы: "То ли я устал от жизни и вечных поражений, то ли утратил контроль над собой, но в последние два-три года я как-то сдал душевно и физически, и вот эта моя усталость сильно сказывается на моих отношениях с людьми". Удивительной чертой этого ученого было то, что он умел признавать свои слабости.

Основные статьи профессора Долгополова собраны в книге "На рубеже веков", вышедшей двумя изданиями в 1977 и 1985 годах. Заглавие сборника его новейших статей, в котором он подводит итоги своим занятиям русской литературой первой половины 20-го века — "Литература — реальность — история". Само название еще раз говорит о широком диапазоне научных интересов и достижений Леонида Константиновича.

Научные заслуги профессора Долгополова признаны теперь не только в России, но и далеко за ее пределами. После совершившихся перемен в России, особенно в последние годы, Леонида Константиновича постоянно приглашали на конференции и съезды во Францию, Италию и США. После его первого приезда в США летом 1990 г. между коллегами по обе стороны океана завязалась оживленная профессиональная и дружеская переписка. В своих письмах Леонид Константинович не только касался отдельных вопросов русской литературы, но также сообщал о своих выступлениях на конференциях в Москве, Париже и Милане, о поездке в Израиль и об ухудшении условий жизни в России. В последние годы его рассуждения о литературе стали все чаще перемежаться с описанием условий жизни в Петербурге. Между тем, уезжая после симпозиума в Вермонте домой в Петербург, он еще надеялся на возможные улучшения, подчеркивал: "Да, у вас туг хорошо, удобно, но в Петербурге (он, правда, чаще сбивался на "Ленинград") я знаю все ходы и выходы. Там я сам себе барин".

В общей сложности Леонид Константинович, кроме книг, опубликовал более ста статей, включая публикации в журналах "Русская

литература", "Вопросы литературы", "Известия АН СССР, серия литературы и языка", "Новый мир", а также в альманахе "Литературная панорама", в "Новом Журнале", в "Краткой литературной энциклопедии" (статья "Символизм", т. 6, Москва, 1968) и в газете "Русская мысль".

Как сообщают его близкие друзья, у Леонида Константиновича, скончавшегося в возрасте 66 лет, оставалось еще много неосуществленных исследовательских планов.

Милуоки

Артур Лурье

(1892-1967)

АРТИСТЫ И ГРЕХ

Жизнь почти каждого подлинного артиста — грешная жизнь; тем самым она замечательна и всегда приковывает внимание. Почему? Потому что она является выражением наибольшей полноты и свершенности человеческого существования, — и в смысле положительном, и в смысле отрицательном.

Конечно, говоря об артистах, подразумеваются люди, живущие творческим сознанием и непрерывно пребывающие в нем, а никак не артисты экрана, телевидения, а также оркестранты, виртуозы всех родов и дирижеры. Все последние являются не артистами-творцами, но просто исполнителями того или иного качества.

Итак, кому много дано, с того много и спросится. И если человек есть творец вещей из ничего, то артист стоит на самой вершине этого претворения небытия в сущее, из нематериального в материальное. То, что в рядовой человеческой жизни проявляется лишь редкими вспышками, в жизни артиста идет сплошным потоком, ни на минуту не останавливающим своего течения. Художник не может остановиться; остановка означает падение, которого не прощает ни он сам, ни те, кто требуют от него непрерывного созидания.

Жизнь артиста, во-первых, ответственна тем, что, обладая большей полнотой свободы, она отдана на суд, открыта для всех; во-вторых, оттого, что артист сознает грех с гораздо бо́льшим мучением, чем тот,

кто непричастен к искусству. Художественная совесть — если только она не формальна — это совесть одновременно и человека, и художника. Они нераздельны, а если совесть артиста разъединена и человек в ней одно, а артист другое, и один не ответственен перед другим, то это становится не искусством, но эстетизмом, игрой и самолюбованием.

Все это — азбучные истины, давно забытые, но о них пора вспомнить, потому что перед нами стоит вопрос: быть ли еще искусству или не быть ему вообще — в том смысле, как оно понималось на протяжении веков. Теперь, больше чем когда-либо, артист живет в состоянии непрерывной растерзанности перед всеми конфликтами бытия: преодолением соблазнов, столкновением с самим собой, борьбой с окружающей действительностью, утверждением своего постижения, обязательно *своего*, т. к. если не иметь своего постижения, значит не иметь никакого — формулы чужие не есть постижение. Если такая полнота свободы становится необходимостью, как природа самой жизни, то тем самым для артиста законы становятся как бы "неписаными", даже если они внешне подчиняются им: внутренне он от них свободен.

Тем не менее в действительности выходит, что нарушение этических и моральных законов отражается на артисте гораздо больше, чем на ком бы то ни было. Когда, например, на политических международных конференциях по вине тупой безответственности министров целые страны проваливаются в рабство, о роли политиков в подобной катастрофе скоро забывают; в худшем случае они уходят в тень личной жизни или пишут мемуары. Никто не скажет, что подобные политики грешны перед Богом и людьми, и вряд ли сами политики задают себе подобные вопросы. В то же время усиливающаяся несправедливость и сгущение зла в мире гнетет живое сознание каждого артиста — художника, поэта или музыканта. Сам артист тайно защищен благодатью, которая есть не что иное, как его талант или его гений; как происходит эта божественная механика, никто не мог и не сможет объяснить, но спасение осуществляется путем подлинного страдания. И когда "священная жертва" приносится Аполлону, то она является не "произведением искусства", которое само по себе ничего не значит, ибо артист, создав, забывает о своем творении, изжив его, — но самим человеком, отдавшим себя в жертву, "чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар".

Старая истина говорит о том, что где святость, там и грех. Принято думать, что истина эта относится только к отшельникам, которым

являлись соблазнительные видения. Конечно, святые хорошо знали опасность жизненных соблазнов, но у святых не было проблемы материализации несуществующих ценностей, как это присуще артистам. Кроме того, святые спасались от соблазнов, артисты же эти соблазны вызывают сами, т. к. назначение искусства состоит в отыскании красоты, то есть нового ощущения мира в каком бы то ни было преломлении и при любых условиях; без этого нет искусства. Не возводя артистов в святые, можно с уверенностью сказать, что между теми и другими есть общее: ни святой, ни подлинный артист никогда не могут быть лицемерами, т. к. в творческом опыте обмануть никого нельзя. Поэтому ни в подлинном искусстве, ни в подлинном духовном опыте и не существует лицемерия, абсолютно не существует, а не просто так, условно.

Целью и святых, и артистов является самоизживание до предела, совершенно бескорыстное, а спасение заключается в самоуничтожении. Если художник не принесет АБСОЛЮТНО НОВОГО постижения мира в результате личного опыта, он не достигнет никакой цели, а искусство его не выйдет из предела забавы. Необходимо, чтобы мир изменился СОВЕРШЕННО благодаря творческому преображению. Подлинный художник создает эпоху, и она проходит под его знаком. Так, была эпоха Шекспира, Шиллера, Байрона, Бетховена, Вагнера, Бальзака, Пушкина. В равной мере эпоха создавалась и святыми, отличавшимися друг от друга тем, что каждый новый святой приносил в мир НОВУЮ ФОРМУ духовного опыта. И поэтому опыт, в котором прожили св. Франциск Ассизский, св. Тереза или преп. Серафим, не применены к последующей эпохе. В этом и заключается смысл святости: новый святой своим опытом освобождает мир от косных формул и создает новый, реальный, конкретный, прямой и действенный путь приближения к Истине и преображению темной действительности. Подлинный духовный опыт так же редок, как и подлинное искусство: новый духовный опыт есть новое духовное творчество, и оно ничем не отличается от того, что названо гениальностью в искусстве. С тою разницей, что в искусстве это делается путем создания новой красоты, в то время как опыт святости ведет к освобождению людей и оправданию их страданий.

Общность между святыми и артистами и в том, что как одни, так и другие, творят чудеса. От артистов всегда ожидают чуда, и произведение искусства вызывает разочарование, если оно не принадлежит к категории чудесного. Но когда в искусстве создается подлинно чудесное, то оно сперва встречает яростное сопротивление, продолжающееся до

тех пор, пока время не утвердит его. У чудотворцев-святых зачастую такая же судьба: сомнению подвергается самый факт духовного опыта и сам человек, им обладающий.

Несмотря на общность опыта артиста и святого, с точки зрения церковной и религиозной, почти все артисты живут и жили в грехе. И в смертном грехе. В нем жили Леонардо, Рафаэль, Бенвенуто Челлини, Виллон, Шекспир, Байрон, Бодлер, Рембо, Верлен, Мопассан, Пушкин, Лист, Вагнер, Шопен — этот список можно вести без конца.

Артисты обычно довольно легко исполняют все заповеди, не задумываясь над ними, кроме... седьмой и десятой. Конечно, они не желают ни вола, ни осла, ни иного живота своего ближнего, но очень часто желают жену ближнего. Пушкин, у кого, кажется, можно найти ответ на решительно все вопросы эстетики и этики, со свойственной ему чисто пушкинской пленительной грацией говорит о десятой заповеди:

Обидеть друга не желаю
И не хочу его вола,
Не нужно мне его села,
На все спокойно я взираю.
Ни дом его, ни скот, ни раб,
Не лестна мне вся благостыня.
Но ежели его рабыня
Прелестна... Господи! Я слаб!
И ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти, —
О, Боже праведный! Прости
Мне зависть ко блаженству друга.
Кто сердцем мог повелевать?
Кто раб усилий бесполезных!
Как можно не любить любезных?
Как райских благ не пожелать?..

Следовательно, артист нарушает десятую заповедь в той ее части, где она имеет то же значение, что и седьмая: "Не прелюбы сотвори". Кроме этих двух, артисты исполняют остальные заповеди не задумываясь, легко, т. к. они защищены от их нарушений чарами и магией своего искусства, обведены волшебным кругом. Они не убийцы, не воры, чтут отца и мать, идя в этом почитании дальше обычной

привязанности к роду: помимо своих родителей артист чтит и свое отечество, свой народ, с которым связан кровно.

Что касается заповедей блаженства, то артисты находятся с ними в согласии более, чем кто-либо. Артисты и ниши духом, и чисты сердцем, и милостивы — скупость и жадность сама по себе антиартистична, — они изгнаны правды ради, они и плачущие. Быть может, они в какой-то мере не миротворцы, но несмотря на свой бунт, искусство служит миру.

Итак, неужели главный "грех" артистов состоит в... блуде? Конечно, имеется в виду не вульгарно-обывательская точка зрения о распутстве художественной богемы, а взаимоотношения между установленной церковью и артистом, да еще при условии, что артист не безразличен к церкви.

Католическая церковь считает нарушение седьмой заповеди грехом смертным; православная церковь рассматривает нарушение этой заповеди не столько как грех, сколько падение. Но если все почти артисты находились в состоянии блуда, то ведь в том же состоянии живет бо́льшая часть обывателей. В чем же состоит различие между блудом обывателей и блудом артиста?

Для первого блуд — это просто смена впечатлений от похотливости, ничего не созидающей. Обыватель бежит в "беззаконие" от приевшейся ему "законной половины". Что же касается артистов, то всякий подлинный артист бессознательно упраздняет этическое своей творческой волей. Самый факт творчества упраздняет этику или же, если артист подчинен ей и ставит ее над собой, то тем самым он убивает творческую возможность в отношении к жизни и к искусству. Вечно неразрешимое противоречие неслиянности и нерасторжимости реальной действительности и творческой мечты освобождает его от этического рабства.

Поэтому, поскольку творческая жизнь есть жизнь подлинная, она свободна от лицемерия. Самый грешный артист не примирится с лицемерием, условным разрешением проблемы своего существования, а именно это и только это предлагает ему историческая, установленная церковь, т. е. нормальную мораль и этику, понимаемую как абсолютное и неизменное в мире. Церковное отношение к жизни артиста такое же, как и вообще в человеческой жизни — отвлеченное. На практике же церковь находится перед невозможностью разрешения проблемы самой жизни. Церковь не отказывается от жизни, но и не принимает ее. Священное Писание ничего об искусстве не говорит, не считается с ним, обходит его как самостоятельную силу в жизни и мире. Церковь

замалчивает искусство и к нему безучастна (оставляя в стороне церковное искусство, обслуживающее культ). Тем временем именно в ЦЕРКВИ находятся все подлинные и ценные проявления человеческого духа; подразумевается, конечно, мистическая Церковь, а не кафедральный собор, католический или православный. Творческий труд, созданный путем страданий, кому он принадлежит как не Церкви, поскольку она есть хранительница всемирной благодати?

Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра...

(О. Мандельштам)

Не говоря ничего об искусстве, мистическая, невидимая Церковь очищает его как стихию жизни и соединяет искусство с благодатью, если артист обладает духовным опытом. Артист спасается страданием, т. к. подлинное искусство требует всего человека, и путь этот настолько бескорыстен, что человек становится жертвою. Таким образом происходит уравнение между опытом духовным и опытом эстетическим, если только это есть подлинный творческий опыт: художник идет до конца, не защищая себя ни от какой опасности.

Но поставить эстетическое в подчинение этическому значит упразднить эстетическое и тем самым убить искусство, обеднить его и обескровить. Эстетический опыт в жизни артиста обнаруживает борьбу этического с эстетическим как страшную реальность, в то время как всякое отношение вне эстетического опыта (как опыта, создаваемого самой жизнью) есть суждение со стороны, безответственное и лицемерное. "Старцы не посягают", — писал В. В. Розанов.

Проблема любви ("блуда", с точки зрения официально-церковной), поскольку она была центральной проблемой искусства в прошлом, вскрывала дар артиста больше всего: "И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю..." Только в искусстве проблема любви получала свое живое разрешение; в религии же, исповедуемой исторической церковью, только привычное лицемерие и условное упрощение, схематика и формулы.

Как уже было сказано, лицемерия в настоящем искусстве не существует. Оно имеет место в историческом христианстве. В искусстве — бездарность и пустота, которых ничем не прикроешь и которыми никого, кроме себя, не обманешь. В историческом христианстве пустота закрывается лицемерием настолько тонким и вооруженным, что его

невозможно оторвать, как приросшую вторую кожу. Так называемые христиане ничего не чувствуют, абсолютно ничего, и с ними ничего не происходит; для того, чтобы убедиться в собственном существовании, им все время приходится питаться чужим страданием, быть "приват-доцентами чужого страдания", как говорил Киркегардт. Поэтому им так нужны постоянные "обращения". Перефразируя соловьевского старца Варсонофия ("Три разговора"), можно сказать, что ханжи залезают в чужую душу оттого, что в своей пусто.

Итак, перед нами парадокс: все "грешное" становится положительным в подлинном эстетическом, творческом опыте. Чем сильнее творчество, тем оно греховнее. Чем оно этичнее, тем оно слабее как искусство. "Чем хуже живешь, тем лучше творишь", — говорил Блок. Художник соблазняется красотой, потому что отказаться от нее — значит отказаться от самого искусства. В этом и заключается вся его метафизика. Явление новой красоты происходит всегда в новом аспекте, неизменно вызывающем скандал.

Органический переход от эстетического в этическое представляет уже иную трудность. Это искусство, более зрелое и глубокое, уже труднее понимается и оно... скучно. Оно уводит от искусства и вводит в... религию, т. е. останавливается перед пропастью духовной борьбы и всех соблазнов духа, где снова подстерегают лицемерие, фарисейство, ханжество и пр. Это — или проторенная дорога, где все сливается и где царят формулы, или же пытка артиста становится еще больше, т. к. борьба уже идет на два фронта: с эстетическим, ограниченным в себе, и с этическим, т. е. мертвым, условным и лицемерным.

То, что в наши дни не делают священники, должны были бы делать артисты. В 19-ом столетии искусство вторглось в область религии и старалось заместить ее. Искусство пыталось быть первичной ценностью (Рихард Вагнер) и стало ею. В 20-ом веке это было выравнено и искусству отведено в категории духовных ценностей второе место. В наши дни опять все опрокинуто, и сейчас искусство должно было бы иметь все права и основания стоять на первом месте в иерархии духовных ценностей. Историческое христианство настолько скомпрометировано, что ничему уже не служит. Художник, артист Божьей милостью, должен был бы заменить священника. Но есть ли в нашу эпоху такие артисты? То есть, артисты, обладающие полным мужеством, силой духа, творческой одержимостью, непреклонностью поведения, неспособностью идти на компромиссы, чистотой внутреннего слуха и т. д. Хотя в наши дни ни один артист не заменяет священника,

претензии у многих (на нечто большее, чем их профессиональное занятие искусством) очень велики. В силу этого развивается повышенный эгоцентризм, самогипноз от приписывания себе своих "качеств" и все то, что Тютчев характеризовал как "нарциссизм собственной чернильницы". Сентиментальное утешение или пустая забава не есть искусство: истинное искусство имеет свою материальную и духовную природу. И то, что в эту природу не включено, ничего общего с искусством не имеет.

Греховность артиста не в том, что он "прелободей", а в том, что он живет и творит в соблазне, создавая "идолопоклонное", или либо сам соблазняется, либо соблазняет других. Художник, соблазняясь красотой, разрушает жизнь свою и своих близких, считая, что он обладает особыми правами в жизни, а это неверно. Кумир, которому артисты служат, их ревнивое божество и есть искусство. Это погоня за химерой, "охота за духовным", как говорил Рембо. В таком случае понятно, отчего Св. Писание обходит искусство. Но битва с ангелом, сумма страданий, все выраженное ценой их, становится достоянием невидимой Вселенской Церкви, которая и есть духовный мир в его целом.

Ценою человеческих страданий искусство очищено от греха. Это и есть религиозное, т. е. насыщенное страданием искусство. Религиозен не сюжет, конечно, а именно насыщенность страданием. Таким образом, религиозное искусство Бодлера, Рембо, Блока, Моцарта, Достоевского и Шопена. Леон Блуа, артист исступленный и прошедший грешный путь до своего духовного рождения, говорит, что если музыка не освящена церковью, то она подобна грязной воде, полной демонов.

Становление подлинного артиста — это творческое отчаяние, находящееся всегда на краю бездны, в эсхатологическом ожидании преображения темной и косной действительности. Несмотря на всю свою искушенность грехом, подлинные артисты в силу своей духовной чистоты и беспомощности перед жизнью остаются детьми, которых ожидает Царство Небесное, т. е. приобщение к мистической невидимой Церкви, этому "зернохранилищу вселенского добра".

БИБЛИОГРАФИЯ

Юрий Дружников. "Русские мифы". Нью-Йорк: Liberty, 1995, 328 сс.

Слово *миф* проделало длинный путь в современных языках. Когда-то миф освящал обычаи, корни которых уходили в глубокую древность, и объяснял загадочные явления природы. Потом мифы стали синонимами сказок о богах и героях, и тогда же *миф* приобрел значение "досужий вымысел". Еще более размыли значение слова *миф* литературоведы, придумавшие мифопоэтику, мифологическую интерпретацию художественного произведения, индивидуальные писательские мифы и т. п., но в народном сознании укрепилось только значение "нелепица, в которую верит большинство людей". В словаре под редакцией Ушакова находим примеры: "Его сведения оказались мифом. Это чистейший миф"; *миф* в них определен как что-нибудь легендарное, фантастическое, баснословное; вымысел, выдумка". Именно такие мифы, а не славянские древности интересуют Юрия Дружникова. Не о Перуне и Даждьбоге, а о Пушкине, Гоголе, Куприне, Хлебникове, Трифонове идет речь в его новой книге.

Нет ни одного народа, в среде которого не бытовали бы апокрифы, тем более, что люди склонны в любую эпоху поверить самой вздорной выдумке. Но советское обшество — особый случай. В нем люди не только сочиняли сказки и принимали их за истину, как заведено испокон веков: они жили в обстановке намеренно воспроизводившихся мифов о героях-правителях, об их прозорливых предтечах, о светлом будущем, кошмарном прошлом и кознях врагов. С начала перестроечной поры повсюду стали говорить о белых пятнах. Стирать белые пятна — занятие почтенное, но, к сожалению, приходится обрабатывать пятна и всех других цветов, замазывая и перекрашивая их на ходу. Чтобы раскрепоститься, народам бывшей империи пришлось прежде всего выбросить из головы труху, накопившуюся за 70 лет. Образовался вакуум, который при желании легко заполнить новой трухой. Даже когда Дружников касается

предметов вроде бы известных, всегда оказывается, что мы знаем о них либо мало, либо не самое главное, либо вообще нечто не соответствующее истине. Но есть у него и другие сюжеты, известные лишь узкому кругу лиц.

Дружников — превосходный рассказчик. В его книгах счастливым образом сочетается талант кропотливого исследователя и мастера детективного жанра. Эти его свойства хорошо известны тем, кто читал сразу же ставшее знаменитым "житие" Павлика Морозова. Без риторики и пафоса идет умное и захватывающее повествование. Автор не скрывает ни своей любви, ни ненависти, ни иронии, но никогда не манипулирует читателем, не сбивается на роль проповедника и не взывает к эмоциям. Рассказ поведан, и мы вольны думать об услышанном, что хотим.

Книга открывается вступлением, за которым следует девять глав:

1. "Пушкин, Сталин и другие". Один из лучших знатоков биографии Пушкина, автор двух книг о тщетных усилиях Пушкина съездить на Запад, Дружников посвящает своему любимому герою две главы. В первой он рассказывает об использовании Пушкина в целях наглядной агитации: и до войны ("Пушкин — борец за народовластие"), и во время войны ("Защитим Пушкина от варваров"), и после, когда праздновали стопятидесятилетие со дня рождения ("Пушкин близок и дорог людям сталинской эпохи") и когда корифей всех наук сообщил, что со времени смерти Пушкина прошло свыше ста лет, а русский язык не очень изменился. Это было открытие эпохальной важности. Так наблюдение вождя и было понято. Дружников цитирует программное заявление, подписанное всем Институтом русской литературы: "Совершенно очевидно, что изучение сталинских работ о марксизме в языкознании имеет решающее значение не только для исследования языка Пушкина, но и для подъема на высшую ступень всего пушкиноведения", — и резонно заключает: "Итак, главным пушкинистом теперь становится лично товарищ Сталин" (29). Я хорошо помню вопрос в школьном экзаменационном билете: "Учение товарища Сталина о языке Пушкина". Все учение состояло из одной фразы. Пушкин боролся и с фашизмом, и с безродными космополитами, и с отжившими колониальными режимами, укоряя Байрона и разоблачая западников Александра Тургенева и Петра Вяземского. И, видимо, долго еще ему придется идти рядом со своими странными истолкователями в угоду политическим авантюристам.

2. "113-я любовь поэта" — небольшая, местами очень забавная повесть о взаимоотношениях Пушкина и Натальи Гончаровой. Сотрудница музея Пушкина на Мойке рассказывала, что экскурсанты вежливо выслушивают текст беседы, терпеливо осматривают экспозицию, но интересует их только одно: спала ли Наталья Николаевна с царем. Действительно интересно! А вы прочитайте книгу Дружникова и узнаете.

3. И третий миф ("С Пушкиным на дружеской ноге") — естественно, не только о Гоголе, но и о Пушкине. Со времен раннего Шкловского известно, что история литературы не прямая линия, а скорее зигзаг. Пусть закон Шкловского ("не от отца к сыну, а от дяди к племяннику") и не универсален, но он лучше эстафетной модели, по которой "декабристы разбудили Пушкина", Пушкин породил Лермонтова и Гоголя, те породили Некрасова с Чернышевским и т. д. до последнего председателя Союза советских писателей — все по крутому склону наверх. В этой эстафете нежно любивших друг друга классиков есть особо важное звено: от Пушкина к Гоголю. Никто не приложил бóльших усилий к пропаганде дружбы двух писателей, чем сам Николай Васильевич. Но как непохоже все было в жизни! И как безжалостны гении в пародировании своих слабостей! Лебедев в "Идиоте" рассказывает, что похоронил свою ампутированную ногу и сделал надпись: "Покойся, милый прах, до радостного утра!" Эта буффонада ужасна: точно такие слова написал Достоевский на надгробии горячо любимой матери. Давно замечено, что в Хлестакове много черт самого Гоголя. Это Гоголь обожал мистификации, мечтал "управлять департаментом" и, будучи несравненным рассказчиком, исходил в косноязычии типа: "Для чего же близко? все равно и далеко. — Отчего же далеко? все равно и близко". Дружников приводит отрывок из письма Гоголя от 2 ноября 1831 года: "Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе... Почти каждый день собирались мы: Жуковский, Пушкин и я". Высказывание Гоголя — главное доказательство его тесных отношений с Пушкиным. Дружников прослеживает образ жизни Пушкина в то лето (101-102), и ничего не остается от прекрасной выдумки. Он мог бы еще добавить поразительно похожую фразу из монолога Хлестакова на обеде у городничего от том, как составился при дворе "свой вист": "министр иностранных дел, французский посланник, немецкий посланник и я".

В работах Дружникова встречаются неброские, но на редкость

верные наблюдения над стилем Пушкина. Широко известны воспоминания Гоголя о том, как смеялся Пушкин, слушая первую главу "Мертвых душ", а потом воскликнул: "Боже, как грустна наша Россия!" Уже Набоков подозревал, что весь эпизод придуман Гоголем, но никто не заметил, что "это эмоциональное "Боже!" постоянно встречается в текстах Гоголя и его вообще нет в "Словаре языка Пушкина" (105). О скверном характере Гоголя, о его угодливости и высокомерии, о его безудержном вранье писали многие. Есть соблазн найти пятна на солнце, унизить великого человека, показать, что хотя нам до его высот никогда не подняться, но падал он еще ниже нас. Дружников никогда не поддается этому соблазну. Его повествования о Пушкине и Гоголе тактичны и сдержанны. Он не подглядывает за ними в замочную скважину, но и не видит проку приукрашивать истину. Пушкин знал Гоголя и ценил многое из написанного им, а кое-что ему не нравилось. Нет уверенности, что он "подарил" Гоголю сюжеты "Ревизора" и "Мертвых душ", но одно ясно: "на дружеской ноге" с ним Гоголь никогда не был. Пассаж о Пушкине вставлен в текст "Ревизора" после 1837 года (99), и любопытна двусмысленность и крайняя лапидарность отзыва о Пушкине в устах словоохотливого Хлестакова: "Большой оригинал!"

4. В начале 70-х годов Дружников купил у букиниста книгу Альбера Робидá "Двадцатое столетие: электрическая жизнь" в переводе В. Рандова. В Петербурге она вышла в начале 1894 года и имела большой успех. В этом романе говорится о торжестве электрификации и о страшной катастрофе (типа чернобыльской), вызванной "сорвавшимся с цепи" электричеством. Робида предсказал будущее точнее лучших социологов; не все, конечно, сошлось, но многое. Однако не эта черта французской антиутопии интересует Дружникова, а удивительное сходство мыслей Робида и помощника присяжного поверенного Владимира Ульянова, приехавшего из Самары в Петербург в конце августа 1893 года. В столице молодой человек бегал по книжным лавкам и библиотекам и искал для кружка единомышленников полезную литературу (121). Почти невероятно, чтобы он тогда же не прочел романа Робида. Прочтем его и мы и вслед за Дружниковым подивимся и идее электрификации всей страны, и приставке *архи-*, и прозорливости Робида, надолго опередившего Хаксли и Оруэлла.

5. "Две жизни Константина Вентцеля" не "миф", а рассказ о жизни выдающегося педагога, задушенного советской властью. Дружни-

ков нашел его бумаги, сумел тайно переснять часть документов (другую часть затопило, когда в здании архива прорвало трубу) и написал о нем подробный очерк. Его рукопись сначала сгинула в конфискованном портфеле парижской "Памяти", а потом в столе Георгия Владимова: КГБ каждый раз опережал Дружникова. Но один экземпляр не погиб, не утонул в воде, не сгорел в огне, и очерк увидел свет. Он открывается едва ли не единственной уцелевшей фотографией Вентцеля. Дружников сравнивает Вентцеля с Джоном Дьюи. Поклонники Януша Корчака и его книги "Король Матиуш Первый" найдут у Вентцеля много сходных мыслей о свободе детской воли, но Корчак смотрел на вещи более грустно и более трезво. Идея же "Толстого и Вентцеля учить в свободной школе труду была реализована Крупской и Макаренко в виде принудительной детской трудовой колонии" (171).

6. Отношения Советской власти с эмигрировавшей после революции интеллигенцией определялись требованием минуты. Сначала всех эмигрантов ругали и пытались переманить на свою сторону. Потом всех запретили и вычеркнули из истории. Еще позже кое-кого разрешили, например, Рахманинова и Шаляпина. А по Гречанинову учились фортепианной игре поколения советских детей, не подозревавших о его месте жительства. Не сообщалось ничего и о "лингвисте и стиховеде" Ромке Якобсоне, о котором почему-то ночи напролет болтали Нетте и Маяковский. Возвращение, если за ним не следовал ГУЛАГ, не гарантировало "реабилитации". Цветаева вернулась и даже повесилась на родине, а о ней все равно говорить не полагалось. Бунина, так и не взявшего советского паспорта, разморозили в оттепель одним из первых. Куприну повезло. Он приехал в Советскую Россию смертельно больным и, кажется, не совсем вменяемым и был сразу же переведен из злобствующих врагов в классики. Об этом глава-миф "Куприн в дегте и патоке".

Как обычно Дружников знает о своем предмете массу интересного. Он не только читал произведения передовой марксистской мысли о Куприне, в частности, Воровского, Воронского, Луначарского и Волина, но и беседовал с С. И. Фонской, которой в 1937 году были поручены заботы о Куприне. Получился рассказ, в котором много нетривиальных мыслей о Куприне как о личности и писателе. Кстати, петля манила вернувшихся домой не только в Елабуге. Через пять лет после смерти Куприна, весной 1943 года, его вдова "повесилась в Гатчине от голода, холода, тоски и бессмысленности существования" (193).

7. "Нет на свете уголка такого, Нет такого места на земле, Где бы не слыхали слова, Сказанного Сталиным в Кремле", — уверял нас поэт Александр Жаров. Но с 1934 года Сталин в Кремле не жил; его постоянной резиденцией стал дом в подмосковном Кунцеве. После марта 1953 года там некоторое время был музей — странный музей ("Нельзя отставать ни на шаг, нельзя фотографировать, нельзя записывать, нельзя между собой разговаривать. При выходе из автобуса нельзя брать с собой никаких сумок, свертков или книг. Нельзя курить. Мужчины должны оставить шапки на сиденье". 209), и Дружников в нем побывал. Его новелла "В гостях у Сталина без его разрешения" — это экскурсия по Дому Хозяина и по коридорам власти, где наследники тирана то сражались с его тенью, то объявляли себя усыновленными ею. В конце он пишет: "Моя б воля, я музей Сталина в Кунцеве сейчас бы опять открыл. Правдивый или лживый — не имеет значения. Чем лживей, тем, как ни парадоксально, реальней. Музей не столько скромного, сколько примитивного мизантропа. Национальный коммунистический парк. Музей Политбюро, то есть их всех, власть предержащих в несчастной стране, музей торжества и убожества советской идеологии" (231).

8. Дружников всегда ощущает себя соучастником описываемых им событий. Такое отношение характерно для тех, кто чувствует себя частью литературы, а не ее сторонним наблюдателем. Тынянов мог бы поддерживать разговор с Пушкиным о редакционной почте "Современника", Цветаева и Ахматова ревновали его к Гончаровой. Для советской власти было глубоко характерно сокрытие истины. Люди бесследно исчезали из жизни, а потом искоренялась и память о них. О некоторых из наших современников мы знаем меньше, чем о Дмитрии Донском. Одним из них был Велемир Хлебников. "Тайна погоста в Ручьях", посвященная Хлебникову, написана не случайно. "У меня с малолетства интерес к Хлебникову, — говорит Дружников. — Бабка моя рассказывала, что Хлебников близко сошелся с дедом: дед учился в Горном институте и бегал на лекции по литературе в университет. Объединял их интерес к спорам и свойство ума, которое бабка называла инженерно-поэтическим. Они шатались по Петербургу, точа лясы, потом голодные приходили домой, и бабка на сносях (ей было 22) помогала прислуге кормить их. Оба строчили стихи, причем дед — консервативные, плавные, о любви, над чем холостяк Хлебников посмеивался, но явился с букетом еловых веток

на крестины моей матери (она родилась 19 декабря 1908 года, стало быть, крестины были чуть позже). На каждой ветке колыхался листок бумаги со стихами. Жизнь деда закончилась в ноябре 17-го года: восставшие пролетарии на ртутном руднике в Никитовке сбросили инженера в шахту, жену его с двумя маленькими дочерьми выгнали из дому, а дом сожгли. Сгорели и листки со стихами Хлебникова, и письма, и весь дедов архив" (234-235).

В бесконечную кампанию перезахоронения великих людей попал в конце концов и Хлебников. Но если вы думаете, что его могила на Новодевичьем кладбище, то мимо, читатель, мимо! Отправляйтесь вслед за Дружниковым. Он провел собственное расследование и дознался, где покоится прах Председателя Земного Шара.

9. Из всех своих персонажей Дружников знал лично только Юрия Трифонова ("Судьба Трифонова"). Судьба эта отнюдь не "миф", а скорее обыкновенная история. От "Студентов" был путь не только к "Дому на набережной". В том романе герой еще обрывал на полуслове "медовый тенор Александровича" (не Лемешева же было обрывать!) и мог бы и дальше глушить вражеские голоса, но умер Сталин, и обнаружилось, что Трифонову есть что сказать. Со страниц книги Дружникова встает невероятно осторожный и вполне советский писатель. Но его успех определил не один лишь всеобший конформизм, на фоне которого и полуправда потрясала интеллигенцию (а только интеллигенция его и читала); он все же рассказал о горестных событиях в жизни людей, которым полагалось излучать счастье.

В университете Калифорнии Дэвис, где преподает Юрий Дружников, в 1978 году побывал и Трифонов. Сохранилась видеозапись его выступления; здравствуют и помнят о визите и его слушатели. Странный это был визит! Трифонов даже не делал вид, что ему интересно. Он ничего не посмотрел, ни о чем не спросил, односложно отвечал на вопросы, прочел скучнейшую лекцию (вместо запланированных двух) и нетерпеливо ждал, когда можно будет уехать. Он и приезжать не хотел. Может быть, слава делает людей черствыми? Или, дойдя до вершины, можно больше не притворяться, что оставшиеся внизу — все же люди, а не муравьи? Новеллу "Трифонов в Калифорнии" я мог бы дополнить своей — "Бродский в Миннесоте", да уж очень получилось бы похоже на плагиат. Боже, как грустна наша Россия!

"Русские мифы" — это и художественная литература, и научный труд; поэтому библиография, именной указатель и краткое резюме по-английски совершенно уместны в нем. Каждая глава открывается превосходной иллюстрацией или неизвестной фотографией. Особенно хорош впервые публикующийся портрет Гоголя работы Анатолия Зверева. В книге почти нет опечаток; только в английском слове harassment (56) их сразу две, но это такое отвратительное слово, что его не жалко.

Анатолий Либерман, *Миннеаполис*

Э. И. Боброва. Ирина Одоевцева. Поэт, прозаик, мемуарист. Литературный портрет. М, "Наследие", 1995, 154 стр.

Ирину Одоевцеву всего более помнят как мемуариста. Автор двух томов воспоминаний, содержательных и увлекательных, переизданных немалыми тиражами в России, Одоевцева видится в одном ряду с такими эмигрантскими писателями-воспоминателями, как И. Бунин, В. Ходасевич, К. Померанцев, В. Яновский, Н. Берберова, А. Бахрах, Г. Адамович, Ю. Терапиано, Георгий Иванов. Некоторых из этих мемуаристов Одоевцева в чем-то даже превосходит — не психологизмом, конечно, не глубиной мысли, но особенной живостью повествования, тонкостью виртуозного рисунка. «На берегах Невы» и «На берегах Сены», обе эти книги Одоевцевой останутся — точнее уже остались, вошли в золотой фонд русской мемуаристики. «Добрых, светлых книг в современной литературе все меньше и меньше», — говорила Одоевцева. Светлыми и чаще всего добрыми остались в памяти читателей ее мемуары.

Еще каких-нибудь четверть века назад Одоевцева была известна в другом своем творческом амплуа. Один за другим выходили ее поэтические сборники: "Контрапункт", "Стихи, написанные во время болезни", "Десять лет", "Одиночество", "Златая цепь", "Портрет в рифмованной раме". В ее жизни было, собственно, два поэтических периода. Первый прошел в Петрограде (занятия в литературных студиях, знакомство с Гумилевым, перешедшее в дружбу, "особенный свет" трагической эпохи). Этот период увенчался книжкой "Двор чудес". Об Одоевцевой писали как о поэтессе с резвой "ребячьей ду-

шой", говорящей с простотой и непосредственностью о своих женских чувствах и вместе с тем о титаническом своем жизнелюбии. В пору цветения эмигрантской литературы, в двадцатые и тридцатые годы, поэтический талант Одоевцевой заглох. С новой силой лирическое дарование пробудилось в конце сороковых годов, и именно тогда явился перед читателями значительный эмигрантский поэт Ирина Одоевцева, которая — на первый взгляд — имеет так мало общего с автором "Двора чудес".

Что же касается двух предвоенных десятилетий, то в ту пору Одоевцева утвердилась в литературе и в сознании читателей (не только русских) как писательница-прозаик. Просто ли было привлечь к себе обостренное читательское внимание в годы, когда одно за другим появлялись произведения крупных прозаиков, таких как Бунин и Зайцев, Шмелев и Ремизов, Куприн и Осоргин, Мережковский и Алданов, а за ними еще шла целая когорта "младших": Поплавский, Ладинский, Газданов, Фельзен, Сирин, много других? Место на литературном Олимпе для Одоевцевой нашлось сразу — фактически после выхода в свет ее первого романа "Ангел смерти". Успех пришел даже раньше. Первый же опубликованный рассказ — "Падучая звезда" (напечатан в широко читавшемся замечательном журнале "Звено") вызвал лестный для автора отзыв Ивана Бунина. А роман "Ангел смерти" стал событием литературной жизни и вышел двумя изданиями по-русски (что само по себе в эмиграции было редкостью). Книгу перевели на семь языков, а в США ее разрекламировали как лучший переводной роман года. Появилось более полусотни рецензий. Критика даже переусердствовала, ставя Одоевцеву в один ряд с Чеховым и утверждая, что "в отношении ее книги никакие похвалы не кажутся чрезмерными".

О трех сторонах таланта (прозаик, поэтесса, мемуарист) и соответственно о трех аспектах литературной судьбы пишет в своей монографии лично знавшая Одоевцеву, дружившая с ней Элла Боброва. Между первоначальным замыслом написать книгу об Одоевцевой и выходом в свет монографии прошли десятилетия. Первоначально книга мыслилась как "свободная от канонов поэтическая импровизация". Э. Боброва начала писать поэму, но перешла в конце концов к жанру «литературного портрета». В итоге появилась самая первая монография об Одоевцевой — не литературоведческое исследование, а свободная от регламентаций цеха литературоведов попытка понять

свою героиню, разобраться в ее литературном наследии.

Как лирический поэт Одоевцева сложилась в змиграции. Ранее, в Петрограде, под влиянием Гумилева, ее интересовал лиро-эпический жанр. Известность она заслужила своими балладами. Э. Боброва говорит о ее стихах как об искрометных, идеализирущих прошлое, утверждающих "неразрывное с миром родство". И хотя у Одоевцевой встречаются горестные ноты, лейтмотив ее поэзии оптимистический и, согласно Э. Бобровой, отчеканен в двух запоминающихся строчках: "Я́ во сне и наяву/ С наслаждением живу". С этим следует согласиться, спорить можно об ином. Например —с характеристикой ее стихов как написанных "в одной тональности и без скачков мысли". Когда-то Г. Адамович писал в "Новом Журнале" о стихах Одоевцевой как сплошь состоящих из скачков, догадок, намеков, неожиданностей. Знавший ее более полувека, Адамович называл Одоевцеву мастером произвольности и приблизительности. Стих ее, —говорил Адамович, —легкий, рвущийся к свету; он соз-дает иллюзию освобождения, но в глубине царит "древний ужас". Еще точнее чем Адамович самую суть поэзии Одоевцевой выразил писатель и критик, редактор парижского журнала "Возрождение" Я. Горбов. Главное свойство ее стихов в том, – писал он, – что их автор словно каждую секунду ощущает то ли чудо, то ли тайну мира и человеческой личности. О вере в чудо и оптимизме как главных свойствах ее художественного дара писал и другой критик — недавно умерший Вячеслав Завалишин.

Творчество Одоевцевой привлекало на протяжении десятилетий почти преувеличенный интерес критики. Кто только не писал о ней в эмиграции. Кроме упомянутых Горбова, Завалишина, Адамовича, назову еще несколько имен, зная, что этот перечень не только не исчерпывающий, но попросту минимальный: Айхенвальд, Алданов, Вейдле, Газданов, Рубисова, Юрасов, Пильский, К. Зайцев, Вл. Сирин, Бахрах, Фесенко, Зноско-Боровский, Гуль, Г. Струве, Померанцев, А. Седых, Берберова, Яновский. Такое пристальное внимание не бывает случайностью; причины таятся либо в достоинствах таланта, либо в особенностях личности и биографии. О себе самой Одоевцева писать не любила. В эмигрантской антологии "Содружество" (1966), в которой более пятидесяти страниц занимает раздел "Поэты о себе", под именем Одоевцевой находим только одну строчку: "Ни библиографии, ни биографии — я, как правило, избе-

гаю их". Вот и все. Как бы следуя этому завету, Э. Боброва свела биографию Одоевцевой к минимуму. Не находим мы в ее книге и попытки показать Одоевцеву "в зеркале критики", хотя сам перечень имен критиков, приведенный выше, обещает исследователю обильную жатву. Подробнее же всего Э. Боброва говорит об Одоевцевой как о прозаике, авторе пяти романов.

Когда-то эти романы широко читались и обсуждались. Не только "Ангел смерти", но и второй роман "Изольда" вышел двумя изданиями. В конце двадцатых, в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы проза Одоевцевой представлялась принадлежащей магистральному руслу литературы зарубежья. Эмигрантская литература, ее история, казалась неполной и, пожалуй, немыслимой без романов «Зеркало» или, скажем, "Год жизни". Глеб Струве, вероятно, самый эрудированный из критиков и при этом, прямо скажем, на дух не переносивший Одоевцеву, как и Георгия Иванова, все же не смог обойти ее молчанием в своем исследовании "Русская литература в изгнании" (1956). Потом, в шестидесятые годы, романы Одоевцевой стали постепенно забываться и вот оказались полностью забытыми. В чем же была причина? В том ли, что, начиная с шестидесятых, об Одоевцевой заговорили как о блестящем мемуаристе? Или все сложилось иначе — просто романы эти "морально устарели", как не раз случалось с достойными произведениями. (Назову хотя бы "Беатриче в аду" Н. Оцупа — роман во всем соизмеримый с книгами Одоевцевой.)

С 1986 года, когда сначала тонким ручейком, но очень скоро широким потоком хлынула в Россию эмигрантская словесность и когда не только московские издательства и журналы, но даже провинциальные газеты заговорили о "забытых именах", — романов Одоевцевой в числе тысяч переопубликований не оказалось. Сама Одоевцева к тому времени жила уже на Невском проспекте. Вернулась она в город своей юности после пятидесяти с лишним лет жизни в эмиграции — в апреле 1987 г. У нее брали интервью, она выступала на литературных вечерах, ее окружили заботой, ее воспоминания в отрывках или полностью перепечатывались опять и опять. — Но не романы. Именно поэтому Э. Боброва и поставила себе целью возродить интерес к забытой прозе писательницы, чему и уделяет она максимум места в своей монографии.

О чем писала Одоевцева-прозаик, как писала она? Э. Боброва называет книгу "Ангел смерти" уникальной. Главная героиня — че-

тырнадцатилетняя Люка, нечто вроде до-набоковской Лолиты, увиденной к тому же глазами женщины. Мужские персонажи проявляются лишь на периферии. В центре событий — романтическое соперничество сестер. Характер Люки весь объясняется ее влюбленностью в любовь, а соперничество кончается смертью старшей сестры. Критика писала о живости характеров, о трагической красоте, разлитой в книге, об "опасной теме", разработанной с изяществом, о надолго запоминаемой прелести, тонкости, воздушности повествования.

Героиня романа "Изольда" — тоже девочка-подросток, четырнадцатилетняя Лиза, родившаяся, как и Люка, в России и выросшая, как и она, во Франции. О России обе сохранили смутные, грозоподобные воспоминания. Для обеих влюбленностью исчерпывается содержание жизни. Но сюжетная канва в "Изольде" напоминает детективный роман, тогда как в "Ангеле смерти" дело как бы и вовсе не и динамике событий, а в тоне повествования, атмосфере, красках. В романе "Зеркало", вышедшем накануне Второй мировой войны, опять встречаем уже известную нам Люку. Теперь ей двадцать лет, она замужем. Благодаря знакомству с "открывшим ее" режиссером она становится кинозвездой и живет жизнью "высшего света". Для Э. Бобровой эта книга, благодаря особенностям ее языка и стиля, вопреки своему "высокосветскому" сюжету, читается как "сборник необыкновенных стихов". Для читателя, способного разглядеть их, — пишет Э. Боброва, — они радостно вспыхивают, заставляют насладиться их сиянием.

Роман "Год жизни" написан в послевоенное время. Начало появилось в "Новом Журнале", — но не в феврале 1957-го, как сказано в книге Э. Бобровой, — а раньше, в 1953 г. Здесь напечатан был отрывок, а полный текст, кроме заключительной главы, опубликован в парижском "Возрождении". Отдельным изданием "Год жизни" никогда не выходил. Если "Ангел смерти" — роман любовно-психологический, если два последующих романа — соответственно полицейский и светский, то в "Годе жизни" впервые находим у Одоевцевой политические и идеологические мотивы. Но в главном и этот роман, как и более ранние, повествует о любви и трагедии русских эмигранток во Франции, а любовная история, поданная в остросюжетном обрамлении, кажется до предела насыщенной сценами соперничества, коварства, измены, ревности, душевных мук, раскаяния, разочарования, утрат.

Роман "Оставь надежду навсегда", вскоре после окончания войны переведенный на английский, испанский, французский, стал известен русскому читателю только в 1954 г. Он вышел в нью-йоркском издательстве имени Чехова, незадолго до того выпустившем "Петербургские зимы" Георгия Иванова. "Оставь надежду" раскрыл еще одну сторону таланта Одоевцевой — умение создать произведение подлинно проблемное. Это книга о трагедии России между двумя мировыми войнами, о "тьме в полдень", как назвал эту всенародную беду Артур Кестлер, чей блестящий роман, в чем-то подобный книге Одоевцевой, появился в печати позднее, но привлек, конечно, более широкое внимание.

В наше время инфляция слов велика, и некуда вроде бы ей расти, но растет, и обесценивает слово. Изредка видны элементы этой инфляции и в рецензируемой книге, в целом столь дельной и добросовестной. "Поистине рембрандтовской кистью", — говорит Э. Боброва, — написаны портреты Гумилева, Белого, Мандельштама, Сологуба. Сказано это о мемуарах "На берегах Невы", бесспорной удаче Одоевцевой. Сравнение легкого писательского почерка мемуаристки с рембрандтовой кистью — очевидная гипербола. Но вот вывод, с которым нельзя не согласиться: Ни в одной из книг Одоевцевой, написанных прозой, — говорит Э. Боброва, — поэзия не доминирует в такой степени, как в мемуарах "На берегах Невы". Действительно написаны эти воспоминания с желанием сохранить живые черты великих поэтов, с которыми Одоевцевой довелось встречаться в молодости. "Я одна из последних, видевшая и слышавшая их", — говорила она. Сразу после того как эти мемуары вышли в 1967 г. в Вашингтоне, Р. Гуль писал о них: "У прозаика Одоевцевой редкий природный дар: если вы раскрыли ее книгу, вы от нее не оторветесь, пока не дочитаете до конца".

"На берегах Сены" — второй том, с первой ее мемуарной книгой формально не связанный. В первой книге речь идет более всего о Гумилеве, но немало страниц посвящено его современникам. Новая книга оказалась еще более содержательной и столь же увлекательно написанной. Герои этого тома — русские писатели в изгнании. Помимо тех, кому посвящены отдельные главы (Бальмонт, И. Северянин, Зайцев, Цветаева, Бунин, Мережковский, Гиппиус, Адамович, Тэффи, Г. Иванов и др.), на страницах книги эпизодически появляются еще десятки литераторов-эмигрантов. Авторское настроение, которым насквозь проникнута эта книга, лучше всего запе-

чатлелось, пожалуй, в словах Одоевцевой о героях ее повествований: "Все они нуждаются в еще большей любви не только потому, что "горек хлеб и круты ступени земли чужой", но и потому, что еще больше, чем хлеба, им нехватало любви читателя, и они задыхались в вольном воздухе чужих стран".

В качестве приложения к своей монографии Э. Боброва представила подборку посвященных Одоевцевой стихотворений, из которых мне хочется процитировать не Гумилева, посвятившего своей ученице стихотворение "Лес", и даже не Георгия Иванова, прожившего со своей женой Одоевцевой тридцать семь лет, а стихи казачьего поэта Николая Евсеева, большая часть жизни которого по воле судьбы прошла не в донской станице, а во французской столице. Вот строфа из его стихотворения "Поэзия"; говорится в нем о русской поэзии вообще, но говорится не без мысли об Ирине Одоевцевой и ее творчестве:

Ты была всегда лишь тайной,
Музыкой поющих слов
В мире хрупком и случайном,
В мире лучшем из миров.

Вадим Крейд

Труд настоящего американца

Марк Поповский. На другой стороне планеты. Тт. 1-3. Филадельфия, 1996.

"В среде русско-эмигрантской так много интересных людей, событий, неожиданных ситуаций..."
М. Поповский, т. 2, с. 190

Издательство "Побережье" в Филадельфии выпустило три тома очерков Марка Поповского о русской эмиграции "На другой стороне планеты". Три тома, приблизительно 1250 страниц убористого шрифта. До этого очерки печатались в основном в "Новом Русском Слове", которое, как говорит сам Поповский, "читают по всей Америке, а также в Канаде, Австралии и в тюрьме штата Нью-Йорк" (т. 3, с. 266).

Уже один размах работы вызывает уважение. Чтобы написать все вошедшие в три тома очерки, нужны были десятки часов интервью, десятки часов обработки материала, неиссякаемое любопытство и доброжелательность по отношению к героям очерков, даже к тем, с кем автор не согласен.

Идея всех трех томов — дать некий социологический "портрет" русской эмиграции, основанный на результатах анкет, бесед, формальных интервью. Возможно ли создать подобный портрет? И да, и нет. Это приблизительно так же легко, как описать то, что вы видите в калейдоскопе. Всегда что-то остается "за бортом", кто-то не влезет в анкетные рамки и ни в какие рамки вообще. И все же калейдоскоп существует, его изменчивость всегда привлекательна, а разрозненные материалы, собранные воедино, начинают, как цветные стеклышки в калейдоскопе, играть новыми красками, приобретают новую глубину.

Каждый том разделен на пять отделов с более или менее постоянными названиями, которые сами по себе многое говорят и об авторе и о материале: "В Америку с идеями", "Эмигрантские будни", "Вкусы, нравы, характеры", "Проблемы? Сколько угодно" и "Мы здесь не первые".

Через все три тома проходит идея, что "эмиграция — испытание не из легких" (т. 2, с. 190), что это трагедия. Во втором томе появляется даже высказанное американскими психологами мнение, что по шкале страданий (есть и такая!) эмиграция лишь на одно деление легче смерти собственного ребенка (т. 2, с. 190). Ох, уж эти мне американские психологи! Хорошие они люди, но не все, что они говорят, стоит брать целиком на веру. Трехтомник Поповского прекрасно иллюстрирует, что эмиграция действительно трудное дело. Но ведь любой переезд, отрыв труден. По собственному опыту могу сказать, что переехав из Москвы в маленький поселок на Чукотке, человек оказывается в гораздо большем одиночестве, чем любой эмигрант в Нью-Йорке.

Шкала страданий американских психологов вызывает сильное сомнение. По ответам на анкету, разосланную Поповским (т. 1, с. 28), получается, что 93,7% ответивших заявили, что, выехав на Запад, поступили совершенно правильно, а 24% даже эмоционально добавили "Да, да!", "Конечно" и "Ура". Вряд ли все эти выехавшие из Союза люди мазохисты, наслаждающиеся своими страданиями.

Трудности? Как справедливо говорится в названии одного из отделов, "сколько угодно", особенно у тех, кто приехал без языка. И все же стоит посмотреть на эту проблему с другой стороны. А было ли легко в стране исхода? И если сравнить тамошние трудности (не по сути, а по силе воздействия и необходимого противодействия) и эмигрантские, что легче? Судя по материалам, собранным Поповским, многие ответили бы на этот вопрос: "тут легче", что вовсе не означает, что каждому была приготовлена вымощенная желтыми кирпичиками дорога, ведущая в волшебную страну Оз. Мостим дорогу мы сами в поте лица.

Поповский отмечает со слов работающих с эмигрантами психологов, что те, кто приехал недавно, страдают гораздо больше, чем те, кто выехал в 70-е и 80-е годы. Думается, что дело не в эмиграции как таковой, а в точке отсчета. В последней, 90-х годов, эмиграции гораздо больше тех, кто очень неплохо жил в России, кто и не помышлял об отъезде, кого выпихнули обстоятельства или отъезд детей. Они действительно страдают.

У книги Поповского кроме названия "На другой стороне планеты" есть еще и подзаголовок — "Рассказы о российской эмиграции". Сам Поповский, проживший уже 18 лет в Штатах, почти четверть жизни, говорит о себе: "Я — эмигрант из Советского Союза, один из сотен тысяч бывших советских граждан, которые, хотя и не легко и не просто, но получили возможность покинуть страну своего рождения" (т. 1, с. 21). И в другом месте: "После 17 лет пребывания в Соединенных Штатах я понимаю, что по внутренней конструкции своей подлинным американцем никогда не стану".

Антоним термина "эмигрант" — "иммигрант". В "Толковом словаре русского языка" Ушакова этот термин определяется так: "ИММИГРАНТ — иностранец, поселившийся в какой-то стране на постоянное жительство". Так что строго говоря, книга Поповского должна была бы называться не рассказами о российской эмиграции, а рассказами о российской иммиграции, ибо все мы поселились тут постоянно, настолько постоянно, насколько вообще позволяет современная жизнь, к постоянству не располагающая. Не говоря уж о том, что в трехтомник вошли очерки о людях, которые вообще никакие не эмигранты и даже не иммигранты, а уроженцы Америки. А уж если и эмигранты, то не из России.

И что такое "подлинный американец"? Белый англо-сакс, про-

тестант, родившийся в Штатах? Таких меньшинство в Америке. И, как мне кажется, сам того не заметив и не отметив в своих очерках, Поповский давно уже, как большинство из нас, стал самым настоящим американцем, таким, как многие другие миллионы, — говорящий по-английски с акцентом (как Киссинджер), но болеющий за свою страну, проповедующий необходимость обращаться к психологу, если у вас возникли душевные проблемы, любящий киви, концерты в Карнеги Холле и многое другое.

В одной статье, перепечатанной НРС из московской газеты, журналист говорит про кого-то, что он "неправильно" носит бейсбольную шапочку. Видимо, он имел в виду, что его герой носит ее козырьком вперед. Но ведь в Америке-то носят и так и эдак, пять будут носить козырьком назад, другие пять — вперед, а еще через какое-то время вообще начнут носить козырьком набок. Нет "правильного" и "неправильного" ношения бейсбольной шапочки, как нет "подлинного" и "неподлинного" американца. В этом-то и прелесть здешней жизни.

Жанр короткого журналистского очерка-портрета очень сложен. Невозможно в несколько страниц вместить детальный психологический портрет даже самого примитивного человека, а герои очерков Поповского в основном люди далеко не примитивные. Из-за этой ограниченности жанра возникают трения и недоразумения — "не доотразил", "упростил", — упрекают автора. Упрекают, как мне кажется, зря. Газетный очерк, как прожектор, направленный на актера, стоящего на сцене. Он выхватывает, высвечивает отдельные детали, оставляя многое в тени. И когда прожектор освещает лицо актера, мы же не кричим "а где ноги?" Точно так же не можем мы ждать от короткого очерка полноты многотомного исследования.

Некоторые герои очерков остаются недовольны своими портретами и, как говорит Поповский, "хлопают дверью". Недовольны, например, оказались герои очерка "Теперь так носят", молодая пара из канадского поселка в провинции Квебек. Дело, видимо, в том, что многие соглашающиеся на интервью считают, что уж коли у кого-то берут интервью, то автоматически должны хвалить. А этот очерк не хвалебный. Хотя он и не ругательный. Это размышления журналиста над полученным материалом. Принцип своей работы Поповский формулирует четко: "Я не искажаю сообщенные мне в беседе факты, и если герой просит какой-то эпизод не упоминать, не спорю с ним.

Но... правдиво изложив все, что мне сообщено, я оставляю за собой право высказать также и собственную точку зрения, взглянуть на героя собственными глазами" (т. 3, с. 269). Он поднес молодым людям зеркало, и им не понравилось то, что они там увидели. Сами себя они видят по-другому. Но ведь иногда полезно понять, как тебя видят другие. Тем более, когда смотрят доброжелательно.

Второе название этого очерка — "Заметки пожилого человека", оно еще раз подтверждает, что автор стал американцем. Только в Сев. Америке человек на восьмом десятке жизни считает себя не старым, а лишь пожилым. На этом континенте, на этой стороне планеты мы становимся стариками гораздо позже, если становимся вообще. И до чего же это замечательно.

Еще одну симпатичную черту очерков Поповского хочется отметить — частое, дружелюбное и уважительное упоминание не русских американцев, тех, кто помогает русскоговорящим в трудную минуту, кто поддерживает в беде, финансирует, хлопочет из сочувствия к чужим трудностям и бедам, от доброты сердечной, от щедрости общества, частью которого мы теперь являемся ("Любовь Томаса Уитни" и др.).

Сконцентрированность на проблемах русскоязычной эмиграции, однако, приводит в иных случаях автора к некоторой зауженности взгляда. Это относится, например, к проблеме антагонизма между отдельными эмигрантскими группами. "Слышу со всех сторон: "Мой тебе совет — держись подальше от русских..." Кажется, одни только мы, русские, по этому принципу живем. Как-то не могу себе представить, допустим, китайца, советующего новоприбывшему соотечественнику: "Держись дальше от китайцев, они, понимаешь, такие-сякие..." Тема немаловажная, но я не помню, чтобы ее кто-то обсуждал на газетной полосе" (т. 3, с. 153).

Тема эта обсуждалась, и не раз, как в газетах, так и в журналах, и толстых книгах, но не по-русски в основном. Разделенность, антагонизм присущи практически всем политическим эмиграциям. В моем полуторамиллионном городе целых три лаосских общины, не желающие иметь друг с другом ничего общего. Сколько вьетнамских, я даже не знаю. Хорошо объединены и организованы обычно давнишние экономические эмиграции — греческая, итальянская и им подобные. А вот эмигрантов из Руанды раздирает политическая и этническая вражда, уже приведшая в их стране к убийству за неделю

полумиллиона людей. И сегодня в беженских лагерях и эмигрантских кругах бывших руандцев можно услышать точно такое же "держись подальше". Русскоязычная эмиграция в этом отношении отнюдь не уникальна.

То же самое можно сказать и о национализме. Поповский считает, что жестокие проявления национализма на территории бывшего Советского Союза и бывшей Югославии — отрыжка коммунизма. Но та же Руанда является печальным свидетельством того, что безумие национализма присуше всем системам, расам и народам.

Поповский пишет легко, с юмором, и только изредка в тексте проскальзывают английские слова-уродцы вроде "норсингхоума". Жаль, что он их не выполол, редактируя трехтомник, как и ссылки на то, что материал газетный. Войдя в трехтомник, очерки эти перестают быть просто газетным материалом и становятся неким свидетельством, следом нашего общего существования на песке бытия. Как всякий след на песке, он зыбок. И все же это ценный материал для будущих исследователей.

Ольга Максимова, *Канада*

Пригвожденный к стиху

Николай Шатров. Стихи. Нью-Йорк, Аркада — Arch, 1995

В Нью-Йорке вышла книга Николая Шатрова, и этим фактом были обозначены сразу два события: появление нового русскоязычного издательства "Аркада — Arch" и открытие неизвестного, состоявшегося и, увы, уже окончившего земную жизнь поэта. Издатели Феликс Гонеонский и Ян Пробштейн составили этот сборник, а Пробштейн написал и предисловие, где сообщил основные факты короткой (1929—1977) жизни московского поэта, входившего в группу независимых стихотворцев конца 50-х годов, в которой тогда выделялись имена Станислава Красовицкого и Валентина Хромова, Леонида Черткова и Андрея Сергеева. Об этом кружке уже кое-что писалось; в частности, журнал "Новое литературное обозрение" напечатал интересные воспоминания поэта-переводчика

А. Сергеева "Мансарда окнами на Запад" о временах литературной активности этой группы. Странно, однако, что о Шатрове там упомянуто лишь мельком, да и то с неприязнью. А между тем в предисловии к книге утверждается, что о его стихах "хорошо отзывались Пастернак, Сельвинский, Наровчатов, Эренбург, Арсений Тарковский..." Попал Шатров и в евтушенковскую мега-антологию "Строфы века". И вот — его первая и единственная книга. Выпуская ее, издательство предприняло, вероятно, коммерчески рискованное, но, несомненно, благородное начинание. Раскрытая на любой странице, книга поражает блеском и мастерством владения поэтической формой. "Пригвожденный к стиху", — так определил Шатров свою неотделимость от поэзии. Действительно, набор классических приемов у него очень богат, и хотя поэт не вносит в это старинное ремесло каких-либо новинок и изобретений, выразить он умеет все.

Прежде всего в его стихах отчетливо виден характер поэта, мужественный, независимый, гордый. Из его посвящений видно, что даже с такими мастерами, как Пастернак и Тарковский, он держится на равных. Не потакает он и гипотетическому читателю, которого, строго говоря, нет в момент написания стихотворения, но который обязательно будет. Этой верой (даже уверенностью) полны многие стихи Шатрова, направленные в будущее. О публикациях и речи быть не могло в 1954 году, а он уже предвидел именно эту книгу и даже писал ей напутствие:

И я скажу: "Живи и странствуй,
Ты — ставшая одной из книг!"

Эту тему с умом и тактом составители "замыкают" в самом конце книги, где она звучит уже как оправдавшееся пророчество:

Я душу бросаю на ветер,
Как голубя, что окольцован,
Поэт в двадцать первом столетьи,
Я встану и гляну в лицо вам.

Встреча с будущими читателями, однако, не вызывает у автора расслабленного умиления. Он и тут не дает им спуску:

А что, вы сто́ите огня-то —
Читатели стихов таких?!

Стихия огня вообще близка и понятна этому поэту. Сухая горячая энергия наполняет его стихи; в пламени для него танцуют саламандры, подсказывая, например, такие искрящиеся образы:

Помни, брат мой, искренность — от искры!
Мы же происходим от огня!

Все его стихи — просты, они написаны без экивоков, и потому за ними легко встает образ самого поэта — прямого, свободного и религиозно умудренного. Это тем более поразительно, что значительная часть стихов помечена концом 40-х—началом 50-х годов — временами, когда ни о какой "оттепели" еще и слуху не было и когда в самые трескучие сталинские морозы и бураны сохранить такую целостность и душевную стойкость было, наверное, равносильно подвигу.

За рубеж проклятого столетья
Мы судьбой своей занесены, —

так писал Н. Шатров в 1951 году.

Странная, нелепая судьба: жил в безвременьи, безвременно рано умер. Был тяжко покалечен в уличной катастрофе — на него наехал снегоочиститель, водитель которого заснул за рулем. Болел, зарабатывал гроши. И все-таки, наверное, бывал он счастлив: и в любовных утехах, о чем он поведал в нежных и чувственных стихах, и, главное, в стремительных словесных находках, которыми вспыхивала ткань его поэзии. Был Шатров счастливо награжден какой-то властной, требовательной верой в то, что он будет, наконец, прочитан. Вера эта сбылась, а об остальном сам поэт со спокойной мудростью рассудил так:

Кто мене даровит? Кто боле даровит?
В конце концов покажет время.

Дмитрий Бобышев,
Шампэйн, Иллинойс

И. А. Панкеев. Николай Гумилев. Биография писателя. М., "Просвещение", 1995. 160 сс.

Олег Охапкин. Возвращение Одиссея. Третья книга стихов. Вступит. статья "Шагнув из темноты" Андрея Арьева. Илл. Дмитрия Шагина. СПб., "Mitkilibris", 1994. 80 сс.; 1 л. портр., 5 л. илл.

Сталинский режим охотно "усыновил" и "натурализовал" в предвоенном СССР агрессивную, бодрую, напористую поэзию гениального "певца британского империализма" Редьярда Киплинга за неимением других достойных образцов апологии грубой и властной силы "человека с ружьем". Совсем по-иному складывалась в России судьба своих, российских, поэтов уже с петровских и чуть ли не допетровских времен. Западная цивилизация практически не знала понятия "самиздат", по крайней мере, со времен средневековой инквизиции, тогда как на Руси крамольные, "потаенные", "подметные" вирши-стихи духовного и светского содержания (вспомним распространявшийся исключительно в рукописном виде огромный "пласт" старообрядческой и сектантской поэзии и прозы) широко ходили в народе, пользуясь особым авторитетом и популярностью. Именно эта подпольная поэзия, заменившая собой в условиях четырехсотлетнего деспотизма практически все остальные формы гражданской и церковной оппозиции, постепенно стала "камертоном", с которым вольно или невольно сверялся практически любой русский поэт, желавший стать хотя бы на час "властителем дум" своего задыхающегося в рабстве народа. В соответствии с этим складывался и хрестоматийный "табель о рангах" русских поэтов, когда на очередном крутом повороте истории бунтарские вирши К. Рылеева и "псевдопейзанские" разухабистые частушки Демьяна Бедного вытесняли из школьных учебников либо в "спецхран", либо на литературоведческую "периферию" творчество "верноподданного царедворца" Гаврилы Державина и "кулацкого поэта" Сергея Есенина. Боюсь, что бравурная строчка из стихов Евгения Евтушенко — "Поэт в России — больше, чем поэт!" — навевает на нас скорее безнадежную тоску, чем гордость за свою уникальную страну.

Большевистский "эксперимент" железной метлой, надежнее, чем любая автократическая цензура в классическом понимании

этого слова, вымел из русской поэзии (так же, как и из культуры вообще) почти все живое, талантливое, связанное с ее тысячелетними духовными традициями. Вместо этого он назойливо внедрял в сознание масс более или менее складно скроенную по одному шаблону "коммунистическую псалтырь". Я глубоко чту память своего старшего друга — Николая Семеновича Тихонова, хотя бы за то, что он "перед заходом солнца" и в узком домашнем кругу, честно, может быть, даже демонстративно цинично, признавался в нежелании идти под большевистский топор или становиться "перекати-поле". За несколько месяцев до своей кончины он первым публично вызвал по московскому радио из небытия имя своего любимого учителя — Николая Степановича Гумилева (о чем помалкивают новейшие российские биографы этого ныне канонизируемого ими поэта-великомученика).

Кровавая история большевистского правления открывается двумя ее невообразимо жестокими карательными акциями: мстительной расправой с семьей низложенного царя и "расстрельным" таганцевским "делом"*. Может быть, именно аполитичность Гумилева и привлекла к нему внимание всесильного "сатрапа" недолговечного "государства" в ленинском государстве "Петроградской Коммуны" Григория Зиновьева. Как и всякий калиф на час, он был готов простить своим врагам их бессильную ненависть, но не брезгливое презрение к распоясавшимся палачам. Конечно, тут сыграла свою роль и беспринципная борьба этой "тени Ленина" (как называли Зиновьева товариши по партии) за власть с более сильными и хищными московскими конкурентами — Сталиным и Троцким, и органичная ненависть выскочки-начетчика к человеку высочайшей духовной культуры. Характерно, что к концу 30-х гг. сталинская коса террора скосила головы практически всем убийцам Николая Романова и Николая Гумилева как "врагам народа", лишив их приговоры даже эфемерного камуфляжа "революционной законности".

Не буду напоминать читателям, как сложилась посмертная судьба Николая Гумилева; позволю себе только сказать два слова о полулегальных (скорее даже, по-диссидентски, декларативно легаль-

---

* См. об этом статью Вадима Крейда "Загадка смерти Гумилева", блестяще вскрывающую механизм фабрикации "дела Таганцева" ("Стрелец", 1989, № 3, сс. 282-313).

ных!) "Гумилевских чтениях", проводившихся в среде ленинградского литературного "андерграунда" с 1976 по 1979 год поэтом Олегом Охапкиным, христианским демократом Владимиром Порешом и автором этой статьи (в них приняли участие также талантливые поэты — Виктор Кривулин и Сергей Стратановский, Владимир Ханан и Владимир Эрль, Елена Пудовкина и Тамара Буковская, а также многие другие) и завершившихся публикацией в Вене в 1984 году одноименного литературного альманаха. Отмечу также, что эти "Чтения" никак не вписывались, вероятно, к немалому огорчению КГБ, в разряд классических "антисоветских" акций, несмотря на жестокие полицейские репрессии против их организаторов под другим смехотворным предлогом ("дело" подпольного христианского журнала "Община"). Нынешние российские "гумилеведы" в московской "метрополии" явно предпочитают забыть об этом, пусть и незначительном, эпизоде в многолетней "битве за Гумилева" его почитателей-соотечественников, так же, как и о той поистине неоценимой роли, которую сыграли в ней русские литературоведы-эмигранты (Глеб Струве, Вадим Крейд и др.) в союзе с зарубежными учеными-славистами и с нью-йоркским "Новым Журналом". Думается, что одно уже это наглядно свидетельствует об определенном "отборе" кандидатов для "реабилитации и канонизации" среди жертв бесславно рухнувшего советского режима (в число которых, слава Богу, попал, наконец, и Николай Гумилев!) даже в, казалось бы, добившейся всех мыслимых свобод "постсоветской" России, диктуемом чисто сиюминутными, а следовательно, далекими от подлинно литературных задач соображениями.

Именно этот упрек я и хотел бы предъявить автору по-своему эпохальной (не будем бояться этого слова!) книжечки Ивана Алексеевича Панкеева "Николай Гумилев", напечатанной в прошлом (1995) году в серии учебных пособий для старших классов средней школы "Биография писателя" московским издательством "Просвещение" немалым для наших дней тиражом в 35 тыс. экземпляров. Даже мне, человеку, имевшему дело с этим либеральным издательством, трудно было поверить, когда я увидел ее на прилавке книжного магазина Виктора Камкина на Бродвее, как своего рода воплотившуюся в явь мечту нашего поколения о неизбежном торжестве Разума и Справедливости над слепыми силами насилия и зла. Тем ценнее, что Панкеев, конечно же, уделив достаточно места политической "реабилитации" Гумилева и даже отчасти, в духе вре-

мени, "канонизируя" своего героя как мученика "Белой идеи", обратил внимание на анализ творческого, т. е. далеко выходящего за пределы его личных радостей и бед, пути поэта. "Поэт всегда больше своей биографии. Судьба поэта — больше его самого" (с. 5), — справедливо утверждает московский литературовед, шаг за шагом прослеживая возмужание гумилевской лиры. Терпеливый и упорный зодчий с необычным для поэта-романтика надменно застывшим, ассиметричным, некрасивым лицом, строивший с малолетства свою жизнь по раз и навсегда избранному им "скаутско-киплинговскому" образцу (поэт-джентльмен, поэт-путешественник, поэт-воин) и даже, вслед за русским "учеником Фауста" — Валерием Брюсовым, пытавшийся декларативно втиснуть гармонию небесных сфер в узкие рамки таблицы логарифмов, Гумилев-поэт в реальной действительности щедро оплатил солдатским потом и рыцарственной кровью каждую свою творческую удачу. Гумилеву "всю жизнь было шестнадцать лет" (с. 16) так же, как лицейскому шалуну Александру Пушкину или мрачному задире-юнкеру Михаилу Лермонтову, однако все они — "сверстники Христа" — сумели в мимолетный миг своего рано оборвавшегося земного бытия сконцентрировать и воплотить в вечно живом поэтическом слове потаенную мудрость неизмеримых глубин человеческой души, идя от содержания к форме и от формы к содержанию "по линии наибольшего сопротивления" (с. 57).

Примечательно, что очень тонкий и тактичный литературовед советской "выучки" Иван Панкеев, остро ощущая "боговдохновленность", надмирность гумилевской музы, особенно в его последнем посмертном сборнике стихов "Огненный Столп", даже на волне "постсоветского" религиозного "ренессанса" не может расставить недвусмысленные точки над "i". Русскому интеллигенту конца XX века, лишенному светлой веры его предков, трудно понять сложную духовную эволюцию вечно юного "конкистадора" — Гумилева.

В этой связи мне бы хотелось сказать несколько слов о недавно вышедшей в Петербурге книге стихов "Возвращение Одиссея" известного в узком кругу читателей "самиздата" мастера русского "андерграунда" Олега Охапкина, этого истинного ученика и преемника "в духе" Николая Гумилева, с совершенно иной, но в чем-то внутренне сродной с его нелегкой человеческой судьбой.

Только совсем недавно, к своему пятидесятилетнему (!) юби-

лею, он получил, после десятилетий издевательств и гонений со стороны советских властей, первую, давно и сполна заслуженную им премию санкт-петербургского муниципалитета им. Державина. Органично религиозный христианин, смолоду добровольно принявший на себя все "тумаки" да "шишки" своего безбожного времени, Охапкин прожил многотрудную, нищую, не слишком богатую внешними событиями жизнь богемного поэта-изгоя, "Иванушки" из знаменитого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", в непрестанных битвах со зримым и незримым воинством Черного мастера — Воланда, неизменно оставаясь отчаянно смелым и непримиримым ко злу отшельником-пророком. Начав с того, к чему пришел в конце жизни Гумилев, этот поэт-романтик наших дней сложил и не таясь пропел полные истовой веры песни, к которым шел... и не дошел царскосельский "киплинг". Брезгливая неприязнь автора "Ключей Непрядвы" (1975-1977) к политиканству кремлевских узурпаторов вкупе с их "воинством", как к чему-то не достойному поэтического внимания (даже осуждения!) и его чуждый ксенофобии православный патриотизм (Охапкин не забывал, что "Христос вдвое старше Руси"!), не открыли перед ним проторенной советскими поэтами-"почвенниками" дороги из газовых котельных, где он начинал свою трудовую карьеру, на паркеты уютных гостиных Ленинградского Дома писателей.

Только сегодня мы можем оценить тот "радостный" (по выражению автора предисловия к книге Охапкина Андрея Арьева) и чаще всего неприметный каждодневный духовный подвиг русского поэта-христианина, стойкого в своей вере, как Томас Мор, и простодушно любящего всех Божьих тварей, как святой Франциск Ассизский. Можно по-разному оценивать естественную для современного петербургского поэта эволюцию его творчества. Оно развивалось от романтической, христианской по духу и светской по содержанию акмеистической поэзии к традициям православной храмовой службы, к церковным гимнам, акафистам и псалмам. Этого и следовало ожидать от искушенного мастера, для которого Православная Церковь, православная община всегда оставались подлинной Родиной для его раздираемой страстями (не случайно обращение к библейским сюжетам "Испытания Иова" и "Судьбы Ионы") обыденной жизни пылкой и по-детски незащищенной души.

Новое время требует новых песен, и вчерашний юнга "Летучего Голландца" и бесстрашный рыцарь-"конкистадор" небесного Эльдо-

радо смиренно выходит на церковный амвон, чтобы если и не посостязаться, то хотя бы попытаться вплести свой голос (Охапкину не впервой петь в церковном хоре!) в панегирик неизреченной мудрости Творца. Радостно ощушать, что мой старый друг и я, сегодня отделенные друг от друга, по-прежнему остаемся верными союзниками. О родной русской земле так хорошо сказал Охапкин в одном из своих "программных" стихотворений "День Пушкина":

Возможно ль — Китеж россиян
Во мгле безбожной просиял —
День Пушкина? Ужель
Земле — Неделя всех святых,
И Солнце Правды с высоты
Дарует светом золотым
Отчизну мятежей?..

Где, у кого из современных российских поэтов читатель найдет такие окрыляющие надеждой строки, если мы вспомним, что их отделяют от нас почти двадцать лет "застойного" безвременья, хаоса злополучной "перестройки" и танковых залпов по последнему бастиону ленинских "советов"? Будущее России и сегодня тонет во мгле, однако проблески Свободы, вернувшие ей Николая Гумилева и Олега Охапкина, нельзя погасить.

Иван Мартынов, *Нью-Йорк*

Christine D. Worobec. Peasant Russia — Family and Community in the Post-Emancipation Period. Northern Illinois University Press. De Kalb 1995, xiv + 257 pp.

Roy R. Robson. Old Believers in Modern Russia. Northern Illinois University Press. De Kalb 1995, xiii + 188 pp.

Dominic Lieven. Nicholas II — Emperor of all the Russias. PIMLICO (Random House). London 1994, xii + 292 pp.

События последнего десятилетия оживили никогда не исчезавший интерес к истории последнего периода императорской России и

к причинам ее конца в 1917 г. На основе выборочной и довольной узкой документальной базы советская историография преподносила свои выводы о причинах революции как окончательные. Эти объяснения сводились к фразам о нараставшей остроте классовых конфликтов и о "кризисе" в правящих кругах. "Кризис верхов", по мнению советских исследователей, объяснялся неумением правительственного аппарата справиться с трудностями войны и социальным антагонизмом. Почти никакого внимания не обращалось на характер или роль видных политических деятелей, на структурные особенности государственного аппарата. Что же касается "классовой борьбы", то она описывалась и анализировалась упрощенно, без принятия во внимание структуры основных социальных групп. Умалчивалось о структурном многообразии быстро растущих общественных групп и союзов, которые не умещались в жесткие классовые разделения.

В западной же историографии о России конца императорского периода фокусом изысканий стали именно некоторые из тех вопросов, которые советские историки не могли исследовать. Поэтому в постсоветской России в поисках более полной и верной картины прошлого возродился самый живой интерес к событиям и людям последних десятилетий царской России. Но как это почти всегда бывает, интерес широкой публики к историческим событиям (или периодам) представляет благодатную почву для низкокачественных популяризаций и мифотворчества. Мне поэтому кажется полезным обратить внимание русского читателя на работы западных историков, ставящих себе целью описать и осмыслить полузабытые явления дореволюционной России. Не скованные официальными догмами, иностранные исследователи были в более выгодном положении. Пользоваться архивами для них было легче, чем для многих русских ученых. Вместе с тем иностранцы могли пользоваться палитрой, на которой был шире представлен спектр концептуальных и методологических понятий.

За последнее десятилетие западные историки (преимущественно американцы) сосредоточились не столько на слабостях императорского режима и общества, сколько на тех факторах, которые в продолжение предреволюционной эпохи обеспечивали стабильность государственных и общественных структур. Вдохновленные результатами, достигнутыми исторической антропологией (или этнографией) в изучении социальной организации, быта и культуры народов

Запада в Средние века и раннего модерна, зарубежные историки России обратились к изучению разных групп русского народа, которые не определялись чисто классовыми и сословными признаками. Но как раз эти группы населения вследствие реформ Александра II вышли на путь индустриализации и модернизации.

Эти исследования поставили вопрос об альтернативных путях развития. Советские догмы о "жесткой закономерности" исторического процесса, разумеется, исключали мысль об альтернативных путях и тем самым ограничивали исторический анализ и понимание прошлого, что видно на примере трактовки Думского периода или политики Столыпина. Но если допустить, что события 1917-го и следующих лет не были неизбежными, то открывается сложная картина русской действительности, которую необходимо охарактеризовать, выделяя динамику взаимоотношений между составляющими элементами. Рецензируемые книги являют собой пример подобного подхода.

О положении крестьянства после отмены крепостного права написана целая библиотека. Внимание многих исследователей обращалось на экономическое состояние, а советских историков — на конфликты с властями и соседями-помещиками. Но еше до 1905 г. и до столыпинских реформ этнографические особенности крестьянского уклада выявлялись земствами. Огромный материал, собранный земскими исследователями, был опубликован до революции. До сравнительно недавнего времени эта документация не была использована историками крестьянства. Профессор Воробец поставила себе задачей переместить фокус исследования с экономического положения крестьян на конкретные условия жизни деревенских общин центральной России. Применяя социо-психологический анализ и концепции, выработанные историками феминизма, К. Воробец освещает бытовое и юридическо-административное положение крестьянской женщины. На основании документации, в основном собранной дореволюционными земскими исследователями, автор рисует жизнь и деятельность крестьянок в рамках патриархальной семьи, управления и деревенской экономики. Картина, как известно из произведений русских писателей, — мрачная: бедность, культурная отсталость, эксплуатация, жестокое обращение со стороны мужчин. Но при этом профессор Воробец дает представление о медленном (слишком медленном) изменении к лучшему. Угнетенное

положение крестьянской женщины "компенсировалось" ее влиянием и ролью в семье и деревенском обществе. Таким образом мы получаем возможность оттенить общеизвестную картину крестьянского обнищания и можем оценить развитие новых форм быта, появившихся в деревне вследствие общей модернизации страны. Насыщенная фактами и наблюдениями, книга оставляет у читателя сильное впечатление о русской деревенской действительности.

О старообрядчестве тоже писалось много: главным образом о возникновении раскола в XVII в. Во второй половине XIX в. появились историко-этнографические описания старообрядческих общин с более или менее ярко выраженной народническо-революционной точки зрения. Но отсутствуют подробные исследования о том, как старообрядцы приспособливались к модернизации страны. Правда, часто отмечалась предпринимательская деятельность староверов и их роль в развитии промышленности, торговли и меценатства. Интересная работа профессора Робсона во многом восполняет этот пробел.

Книга Робсона — история старообрядчества после провозглашения указа о веротерпимости (17 апреля 1905 г.). Но автора занимают не столько политико-административные аспекты, сколько динамика официально признанного старообрядчества в новых условиях в быстро меняющейся стране. При этом автор выясняет, как этот процесс отразился на деятельности староверческих общин, на формах ритуала, церковной архитектуры, на участии в культурной и гражданско-общественной жизни. Книга насыщена интереснейшими данными, которые неожиданным образом освещают жизнь многочисленной составной части русского народа (около 20%) и способствуют пониманию ее взглядов на революцию. Книга вводит нас в самую гущу старообрядчества, получившего право на открытое участие в экономической, культурной и общественной жизни.

Выводы автора неожиданны и ведут к пересмотру трафаретного представления о расколе как сугубо консервативном (чтоб не сказать закоснелом), чисто церковном явлении, стоявшем в стороне от всего, что происходило вокруг. Получив свободу действия, наравне с другими христианскими вероисповеданиями, старообрядцы включились в процесс модернизации. Они расширили рамки своей общественной деятельности, легко и успешно переключились на наиболее современные формы экономической и культурной жизни. Так,

например, их новые церкви, кустарное производство, школы, научные и филантропические учреждения были устроены на вполне современных началах. Естественно напрашивается вывод, что не будь событий 1917 года, старообрядческие общины (по крайней мере, в городах) оказались бы чуть ли не в авангарде формирования истинно гражданского общества и плюралистической общественно-культурной жизни в России.

Ссылка на 1917 г. неизбежно ведет к вопросу "кто виноват?" Это вопрос, который вновь страстно обсуждается. При этом личность и действия последнего императора стоят в центре внимания. Несомненно, зверское убийство императора и его семьи влияет на суждения историков. Возникают как новые мифы, так и старые — взамен советских. Сегодняшняя переоценка царствования Николая II не выявила ни одного существенно нового факта. Подробности убийства царской семьи в Екатеринбурге давно известны. Что же касается закулисной стороны правительственной деятельности (подготовка законодательства, конфликты между ведомствами и бюрократическими личностями, споры о политической линии и т. п.), то они тоже выявлены на основе опубликованной и архивной документации и вошли в научный оборот, свидетельством чему являются работы американских, английских, немецких и некоторых советских ученых.

Ввиду всего сказанного, дóлжно приветствовать появление биографии Николая II, написанной Ливеном — профессором Лондонской Школы экономики и политологии, автором нескольких ценных исследований о дореволюционном государственном аппарате и его личном составе. В своей книге профессор Ливен сопоставляет личные черты императора с "политической культурой" правящей среды (т. е. высшей бюрократии и двора). Относясь с большой (некоторые скажут — чрезмерной) симпатией к личным качествам императора, он убедительно показывает, как они находились в противоречии с инструментами власти.

Ливен говорит о нескольких основных элементах, помогающих нам правильно оценить трагическое положение империи. Автор подчеркивает растущую профессионализацию государственного аппарата. Правительственные органы хорошо знали проблемы страны; несмотря на неизбежно разнящиеся пути к их решению — они могли предложить (и часто это делали) перспективные реформы. Таким образом, проекты, выработанные чиновниками финансового, сель-

скохозяйственного, судебного и военного ведомств, давали конкретную базу для проведения мер, которые способствовали бы дальнейшему экономическому и социальному развитию страны. Но их действия и предложения наталкивались на непонимание, критику и ярую оппозицию со стороны непрофессиональных сановников и придворных, которые не имели ни нужных знаний, ни практических навыков. Эти круги малообразованных и малоопытных "аристократов и придворных" видели в предложениях бюрократии только попытки посягнуть на общественно-экономическое положение и образ жизни Двора.

К сожалению, сам император, в соответствии со своим воспитанием и образом жизни, доверял исключительно дворцовой знати. Николай II недоверчиво относился к таким способным практикам и убежденным монархистам и патриотам, какими были Витте, Столыпин, Кривошеин и др. Назначая их на ответственные посты, император оставался при своих предубеждениях и через непродолжительное время отказывал им в своей поддержке. Несмотря на врожденный ум, Николай II не хотел видеть сложности и остроты проблем и не понимал, что традиционное самодержавие должно приспособиться к новым условиям, создавшимся в результате стремительных изменений во всех сферах жизни империи. Не отклоняя безусловно социальных и экономических реформ, Николай II оказывался не способным понять, что они требуют и преобразований самого государственного строя. Принужденный согласиться на выборы в Государственную Думу, император не мог — и даже не хотел — ужиться с ней. Свою аргументацию Ливен иллюстрирует яркими примерами, почерпнутыми из официальных и из частных (во многих случаях неопубликованных) документов. Его книга, ясно и увлекательно написанная, дает богатую пищу для понимания и оценки правления последнего российского самодержца.

Все три рецензируемые книги поучительны в плане информации и методологических концепций; эти книги ставят задачи по разработке основных вопросов истории, не только непосредственно дореволюционного, но также и советского прошлого.

Марк Раев, *Нью-Йорк*

Wolfgang Kasack. Die Russische Schriftsteller-Emigration im XX Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte den Autoren und ihren Werken. München, Verlag Otto Sagner. 1996, 355 S.

"Вообразите буйвола, у которого на месте рогов выросло другое придаточное образование кожи, а именно две смехотворных мозоли. Вот это самое существо с огромной головой, некогда оснащенной грозным вооружением, от которого теперь остались только мозоли, — это и есть человек, живущий в изгнании. Если он бывший король, то говорят о короне, которая была у него когда-то, — а люди вокруг думают: небось не корона, а шляпа. В конце концов он и сам начинает сомневаться. И даже не уверен, осталась ли у него вообще голова на плечах. Печальная ситуация и вдобавок комическая, отчего она становится печальней вдвойне..." Так писал в начале сороковых годов, накануне смерти, Роберт Музиль одному из немногих оставшихся друзей, пастору Роберту Лежёну.

Под этим признанием подписался бы кое-кто и среди наших соотечественников, тех, кого судьба забросила на чужбину. Но в отличие от немецкой и австрийской литературной эмиграции 30—40-х годов, о которой накоплен богатейший материал, заслуживающих внимания книг об исходе писателей из бывшего Советского Союза не так уж много.

Вот книга, которая принадлежит перу знатока нашей изгнанной словесности, — к сожалению, вышедшая не в России и не на русском языке.

Заслуженный профессор и многолетний руководитель Института славистики в Кёльне Вольфганг Казак, сын Германа Казака, чей роман "Город за рекой" был одной из сенсаций послевоенной немецкой литературы, юношей оказавшийся в русском плену, выживший и вернувшийся с намерением посвятить себя языку и культуре вчерашнего врага, — ныне самый известный немецкий славист: мы можем без колебаний назвать его старшиной цеха. Достаточно упомянуть его уникальный "Словарь русской литературы XX века", издававшийся по-русски и по-немецки, или его обзоры переводов русской литературы в Германии, регулярно публикуемые в течение многих лет в журнале "Osteuropa"; достаточно сказать, что среди ныне живущих российских литераторов и критиков по обе стороны границы нет ни одного, кто не знал бы его имени. Со множеством писателей он знаком лично, множество судеб прослежено

им, скольким представителям пишущей братии он помог словом и делом, сколько людей пользовались его гостеприимством!

Новая книга В. Казака — 62-й том основанной им четверть века тому назад серии "Труды и тексты по славистике", не притязает на роль систематического свода или учебного руководства; перед нами собрание статей, которые автор в разные годы публиковал в западных, а в последнее время и российских журналах. Сборник состоит из двух разделов: первый посвящен общим вопросам русского литературного Зарубежья (здесь имеется и несколько чрезвычайно информативных обзоров), второй содержит статьи об отдельных писателях. Книга обладает внутренней логикой и цельностью, статьи выглядят как главы единого труда; в своей совокупности они разворачивают перед читателем широкую панораму. Непринужденный стиль, хороший немецкий язык, ясность и простота изложения оправдывают выраженное в предисловии намерение автора предложить книгу более или менее широкой аудитории. Позволим себе заметить, что и специалист найдет здесь много нового.

Три поколения беглецов: послереволюционный исход, эмиграция, связанная со второй мировой войной, и эмиграция 70-х — 80-х годов; центры русского изгнания и заграничные литературные журналы; русский Берлин; русский Париж; Зарубежье и метрополия, писатель-беженец и страна, где он нашел прибежище; судьбы отдельных авторов и анализ их книг; известные, малоизвестные и вовсе неизвестные имена; общий взгляд на исход писателей из России XX века и перспективы на будущее... Краткое перечисление тем и аспектов обсуждаемой книги может дать представление о ее многостороннем содержании. Все они, однако, упираются в центральную проблему: следует ли нам рассматривать художественную литературу русского рассеяния как "вторую русскую литературу", как автономный остров или... или никакого острова и никакого материка не существует, не имеет значения, где живет и работает писатель — "дома" или еще где-нибудь, существует единая десятивековая литература русского языка?

Для Вольфганга Казака вопрос этот имеет принципиальное значение. Много лет он отстаивал тезис о русской литературе unie et indivisible. Сказывается и профессиональный подход: историк литературы не может не помнить о том, что Овидий и за тридевять земель от Рима не перестал быть латинским поэтом; что флорентинец Данте и в изгнании остался сыном своего города; что две трети жизни,

проведенные на чужбине, не помешали Джойсу стать английским классиком; что, наконец, Бунин, Ходасевич, Степун, Бердяев, Алданов, Набоков представляют нерасчленимую русскую культуру с таким же, если не большим, правом, как и их соотечественники, не сумевшие или не пожелавшие уехать.

Настали времена, когда режим, изгнавший писателей, рухнул, когда можно — по крайней мере, теоретически — вернуться. И что же? Оказалось, что слишком многие из уехавших не находят с оставшимися общего языка: русские писатели, они вместе с тем и не совсем русские. Воздух других стран, жизнь в свободном мире изменили облик литературного Зарубежья настолько, что даже тот, кто декларирует свою неизменную верность отечеству, подчас воспринимается там как чужестранец. Крах Советского Союза поставил вопрос о дальнейшей "целесообразности" литературной эмиграции. Но одновременно ожил, казалось бы, уже снятый с повестки дня вопрос о двух литературах.

В книгу вошли работы автора, подводящие итог его исследованиям о ситуации русских писателей-эмигрантов после ликвидации коммунистического строя; сюда относится, в частности, работа под названием "Конец эмиграции?" — о результатах анкеты, которую В. Казак разослал в конце 1993 года писателям, живущим в США, Германии и других странах. Большинство опрошенных полагают, что с крушением внешних барьеров рано или поздно исчезнет и внутренний водораздел. Но отношение к их произведениям на покинутой родине, по их же собственному свидетельству, не внушает в этом смысле большого оптимизма. Видимо, следует принять во внимание два обстоятельства. Первое связано со спецификой государства, планомерно истреблявшего или изгонявшего всех неугодных ему литераторов; в результате образовались в самом деле две литературы: та, которая существовала с одобрения тайной полиции, и та, которая этого одобрения не удостоилась. Второе состоит в том, что мы живем и в истории, и в нашем собственном времени. В исторической перспективе русская литература едина. Конкретно же все мы обитаем на двух берегах, и проклятье нашей судьбы — в том, что обе литературы ущербны. Ибо расщепление не проходит даром ни для тех, кто бежал, ни для тех, кто остался.

Борис Хазанов,
Мюнхен

"Встречи" — альманах-ежегодник (вып. 1-19). Ред. Валентина Синкевич. (Вып. 1-8 вышли под названием "Перекрестки".) Encounters, Philadelphia.

В 1996 году появится 20-й выпуск этого ежегодного альманаха зарубежной поэзии. Русские поэты, друзья русской поэзии и филологи-слависты во всем мире должны быть благодарны Валентине Синкевич. С несколькими советниками и иногда временными помощниками она много сделала для сохранения той части русской поэзии, подавление или "замалчивание" которой стало постепенно слабеть в Советском Союзе лет десять лет тому назад и лишь в последнее время было полностью ликвидировано. Да и западная славистика обращала внимание на эту поэзию только в редких случаях.

В первом выпуске 1977 года мы прежде всего встречаем поэтов и художников второй эмиграции, той, которая покинула Советский Союз во время Второй мировой войны. К ней принадлежит и сама Валентина Синкевич. Она родилась в Киеве в 1926 году и выросла в маленьком провинциальном городке Остер. В 1942 году, в шестнадцатилетнем возрасте, Синкевич была отправлена на принудительные работы в Германию. После окончания войны ей удалось избежать выдачи советским органам. Как большинство русских, добровольно или недобровольно живших в то время в Германии, она переселилась в США, где долгие годы работала в библиотеке. Ее любовь к поэзии возникла еще в детстве, но собственные стихи десятилетиями оставались неопубликованными. Первый сборник, вышедший в 1973 г., был отмечен И. Одоевцевой и Ю. Терапиано. С 1983 г. она стала ответственным редактором "Встреч".

В первом выпуске "Перекрестков" (1977) представлено 12 поэтов, два художника и стихи трех иностранных поэтов в переводе. Все русские авторы — из второй эмиграции или выходцы из Прибалтики; каждый из них попал в Германию во время войны. Альманах открывается стихотворением Дмитрия Кленовского, одного из самых значительных поэтов второй эмиграции, умершего в Баварии в декабре 1976 г. За таким выбором стоит высокое этическое и эстетическое чутье редактора, заметное и в последующих выпусках. Из других авторов мы встречаем — ныне уже покойных — Лидию Алексееву, Ольгу Анстей, Ивана Елагина, Бориса Нарциссова и

Бориса Филиппова, то есть лучших поэтов, живших в те годы в Америке. И также еще недавно были опубликованы стихи Игоря Чиннова (1909-1996), чей путь из Риги через Германию и Францию привел его в Америку. Первоначальный размер альманаха значительно увеличился: в 1977 г. — 63 стр., а в 1994 и 1995 гг. — 160 стр. Но структура осталась прежней: в Содержании указываются названия трех или четырех стихотворений каждого автора, расположение авторов дано в тематическом порядке. Каждому поэту предоставляется не больше четырех страниц. Обычно альманах открывается стихами поэта, которому отдается предпочтение в данном номере. В издании за 1995 год — это Михаил Крепс, умерший в Бостоне в 1994 году в возрасте 54 лет. Он был долголетним членом редакционной коллегии "Встреч". Каждый выпуск завершается краткими биобиблиографическими данными об авторах. И в каждом номере опубликовано 7-9 репродукций работ русских художников.

Последний выпуск — "Встречи 1995" — содержит подборки стихов 46 поэтов, принадлежащих к четырем волнам эмиграции. Из первой опубликован малоизвестный Даниил Соложев (1908-1994), который регулярно печатался во "Встречах" как поэт и художник с 1990 г. (во "Встречах 1995" есть репродукция его рисунка). Одностраничная биография Соложева представляет несомненную документальную ценность. В конце антологии введен небольшой раздел "Из зарубежного поэтического наследия", представляюший зарубежных авторов прошлого. В 1995 году это шесть поэтов, которые, после бегства в начале 20-х годов, остались на Балканах: Юрий Бек-Софиев, Илья Голенищев-Кутузов, Игорь Гребенщиков, Нина Гриневич, Лидия Девель (Алексеева) и Алексей Дураков. Подборки их стихов и биографические о них данные составила Ирена Лукшич, профессор Загребского ун-та, которая с 1988 г. регулярно выступает в печати как знаток русской зарубежной литературы. Окончание ее публикации поэтов этой группы появится во "Встречах 1996". Из авторов второй волны, часто встречающихся на страницах антологии, в выпуске за 1995 год включены Вячеслав Завалишин (1915-1995), более известный как литературовед (на стр. 19 дана его биография) и Олег Ильинский (1932), кроме них — Владимир Шаталов (1917), с самого начала член редакционной коллегии, автор прекрасной обложки "Встреч", выполненной им 14 лет тому назад.

Большинство поэтов первой и многие из поэтов второй волны уже умерли. Но все же в течение этого времени, авторами альманаха стали поэты из обеих групп, например, в 1982 г. — Ирина Бушман (1921) из Мюнхена и Екатерина Таубер (1903-1987) из Мужена (Mougins).

Третья эмиграция, кульминационный пункт которой приходится на 70-е годы, началась, когда альманах впервые вышел в свет. Вскоре ведущие поэты этой эмиграции были включены в списки авторов "Встреч". В 1995 г. они уже составили почти половину всей антологии (23). С 1979 г. в альманахе постоянно публикуется Лия Владимирова из Израиля, в 1986-87 гг. мы находим Бориса Шапиро, двуязычного поэта и теоретического физика, эмигрировавшего в Тюбинген. Михаил Крепс, так же, как Вадим Крейд и Лев Лосев, принадлежал к тем эмигрантам, которые в США второй раз закончили университет и совмещают преподавание и исследовательскую деятельность профессоров-славистов с поэтическим творчеством. В. Крейд, представленный во "Встречах 1995" восемью стихотворениями, стал одним из самых активных исследователей и хранителей русской эмигрантской литературы.

В начале перестройки и крушения СССР возникла четвертая волна эмиграции. Эта волна уже ощутимо включена в альманах 1995 года. Она представлена четырьмя авторами, среди них Регина Дериева, принадлежащая к русским эмигрантам в Израиле. Ее поэзию нужно отнести к сугубо христианской лирике: она создает поэтические переложения Новозаветных текстов и пишет философские стихи, основанные на христианской вере. В альманахе есть ее же стихи о природе.

Постсоветское воссоединение русской литературы привело к тому, что в альманах попадают некоторые поэты из самой России. В исключительных случаях это бывало и раньше, но авторы редко публиковались под настоящей фамилией, как, например, в 1979 г. Олег Охапкин, один из важнейших представителей второй культуры Ленинграда, из тех, которые работали в котельных истопниками и существовали на подобный этому заработок. И, наконец, мы встречаем русских, родившихся на Западе, таких как Елена Матвеева (1945), которую из Берлина (ее месторождение) в пятилетнем возрасте перевезли в США и которая удивительным образом сохранила свой русский язык. Или — с 1983 года регулярно публикующийся во

"Встречах" историк Александр Рязановский (Филадельфия), родившийся в 1928 г. в Харбине, бывшем тогда русским центром на Дальнем Востоке.

В общем — 19 выпусков альманаха (1977-1995) включили 167 поэтов эмиграции. Из первой — 40 поэтов, из них 14 под рубрикой "Из зарубежного поэтического наследия", то есть умерших поэтов; из второй — 21, из третьей — 89, из четвертой — 4. В 1991 г. был опубликован Указатель имен (1977-1990), где мы встречаем часто печатающуюся в альманахе Рину Левинзон (Израиль), Николая Моршена (США), а среди однократно опубликованных — Владимира Войновича, Анри Волохонского, Александра Галича, Георгия Иванова, Юрия Колкера, Ирину Одоевцеву, — эти имена известны и "тут" и "там". Во "Встречах" дебютировало 12 поэтов. Чтобы иметь представление о высокой степени информативного материала в альманахе, будет интересно обратить внимание на то, что только четвертая часть представленных в альманахе поэтов включены в мой "Лексикон русской литературы 20 века", содержащий 747 русских прозаиков, поэтов и драматургов. В своей антологии "Берега" (Филадельфия, 1992) Валентина Синкевич собрала стихотворения 40 поэтов второй эмиграции, а Вадим Крейд включил в свою антологию "Вернуться в Россию стихами... 200 поэтов эмиграции" (Москва, 1995) поэтов первой и второй волны с добавлением биографических о них данных.

Как правило, стихотворения во "Встречах" должны быть первой публикацией и в ряде случаев они уже потом включались в сборники того или иного поэта. Некоторые публикации в рубрике "Наследия", как, например, юношеские стихи Ольги Анстей, напечатаны только во "Встречах". По содержанию многие стихотворения можно отнести к постоянным размышлениям человека о своем месте в жизни, о смерти и о существовании после смерти, о природе, о Боге — близость, жалоба, сомнение, доверие — о любви, одиночестве, о тишине, о страдании и о радости. В. Синкевич осторожно относится к стихотворениям с ностальгическими мотивами. Однако, часто встречающаяся в эмигрантской литературе тема тоски по родине, полностью оправдана в стихотворении Евгении Димер ("Встречи 1992"), посвященном Галичу. В этом стихотворении Димер говорит о невозможности вернуться в свой родной город. Оно было написано, когда физически возвращение стало возможным, но изменения в самом

городе, как и везде в России, были слишком велики. Она переживает настоящее возвращение в воспоминаниях: в них она видит все, таким, каким оно было когда-то, то есть то, что носит в себе каждый эмигрант. Оттуда мысли ее приводят к родственникам, ставшим жертвами ГУЛАГа или войны. Ее стихи олицетворяют типичное мышление и настроение русских эмигрантов нашего века.

Нужно принять во внимание, что "Встречи" существуют без меценатов; с одной стороны это можно объяснить энтузиазмом и работоспособностью Валентины Синкевич, а с другой — наличием обширного информативного материала и высоким уровнем отобранных стихотворений. Надеемся, что эта антология просуществует долгие годы. Надеемся также, что она найдет место на полках библиотек во всем мире.

Вольфганг Казак, *г. Мух, Германия*

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВОВ

На путях изгнания. А. Н. Донсков вспоминает. Сост. А. А. Донсков (внук). Legas. Ottawa, 1992 .

Месяц, Вадим. *Ветер с конфетной фабрики.* "Былина". М., 1993.

Петровская-Халили, Тамара. *Рассказы о русских людях. В Эстонии. По дороге оттуда. В Америке.* Н-Й, 1994.

Петровская-Халили, Тамара. *Рассказы о старом и новом мире.* Н-Й, 1995.

Снежин, Виталий. *Моя ненаглядная.* Проза. "Абрис". М., 1995.

Шраер, Максим. *Американский романс.* Стихи. Русслит. М., 1994.

Lemkhin, Michael. *Missing Frames.* Photographs. Intr. by Olga Andreyev-Carlisle. Hermitage Publishers. Tenafly, NJ, 1995.

Socialist Realism without Shores. SAQ, Vol.94 (3). Spec.Iss. Eds.: T. Lahusen and E. Dobrenko. Duke Univ.Press. Durham, NC, 1995.

Курилова, Таина. *Поводырь мой – любовь.* Стихи. "Джангар". Элиста, 1995.

Кудлай, Алексей. *Каталог иконописи.* "Фонд". М., 1995.

Chef, Genia. *Neo-Mythology and Regressive Projects.* Stuart. NY.

Зубарева, Вера. *Ледяная игла.* Стихи. Effect Publishing, Inc. NY, 1993.

Описание документов XIV-XVII вв. в копийных книгах... (Каталог Российской Национальной Библиотеки). С-Пб., 1994.

Рукописные книги собрания придворной певческой капеллы. (Каталог Российской Национальной Библиотеки), С-Пб., 1994.

Горчаков, Генрих. О *Марине Цветаевой глазами современника.* Antiquary. Orange, CT, 1993.

Hilton, Alison. *Russian FolkArt.* Indiana Univ. Press. Bloomington & Indianapolis, 1995.

Ильинская, Анна. *Матушки земли русской.* Духовные очерки... ЛитУч. 4. М., 1994.

Тальберг, Николай. *Неизвестная Россия* (1825-1917). Очерки истории Императорской России... ЛитУч. М., 1995.

Терновский, Е. *Кудесник.* Роман. Klincksieck. Paris, 1996.

J. Thomas Shaw. Collected Works, Vol. I. *Pushkin. Poet and Man of Letters and His Prose.* Charles Schlacks, Jr., Publisher, 1995.

E. Ternovsky. *Pouchkine et la tribu Gontcharoff* Klincksieck. Paris. 1992.

Страна Синей Птицы (Русские в Бельгии). Под общей редакцией проф. Э. Вагеманса. Наука, М., 1995.

Болдырев, Петр. *Уроки России. Дневник российского сепаратиста.* (Сб. статей). Hermitage Publishers. Tenalfy, NJ, 1993.

Агнивцев, Н. Я. *Стихотворения.* Сан-Франциско, 1980.

The NEW REVIEW (NOVYI ZHURNAL) is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly in the free world. It requires the support of loyal friends:

Patron	– $1,000
Benefactor	– $ 500
Sponsor	– $ 250
Fellow	– $ 100
Friend	– $ 50

The Internal Revenue Service has determined, in a letter of March 29, 1990, that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a "public charity" pursuant to the provisions of the Internal Revenue code.

Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks may be made to The NEW REVIEW.

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 842
New York, NY 10012

РЕДАКЦИЯ
РАСПОЛАГАЕТ

номерами "Нового Журнала" прошлых лет издания.

Цена — от 15 до 10 долларов.

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА НА "НОВЫЙ ЖУРНАЛ"
— ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДРУЗЕЙ
И РОДСТВЕННИКОВ В С. Н. Г.

Стоимость подарочной подписки,
включая пересылку — $ 40.00

Новый Журнал
THE NEW REVIEW

Условия подписки:

Подписная цена на 1996 год (за 4 книги) для университетов и организаций — $60.00 (пересылка в США — $7.00, заграницу — $14.00)

Подписная цена в год за 4 книги для отдельных лиц — $40.00 (пересылка в США — $7.00, заграницу — $14.00)

Цена отдельного номера — $12.50 (пересылка в США — $1.70, заграницу — $3.00)

Плата от заграничных подписчиков принимается ТОЛЬКО в международных чеках.

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 611 BROADWAY, #842
NEW YORK, N.Y. 10012

Телефон и факс редакции (212) 353-1478

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и средам от 10 до 12 час. дня.

Наш представитель в Москве:
Галина Ивановна Завидовская
Тел.: (095) 468-4457.